

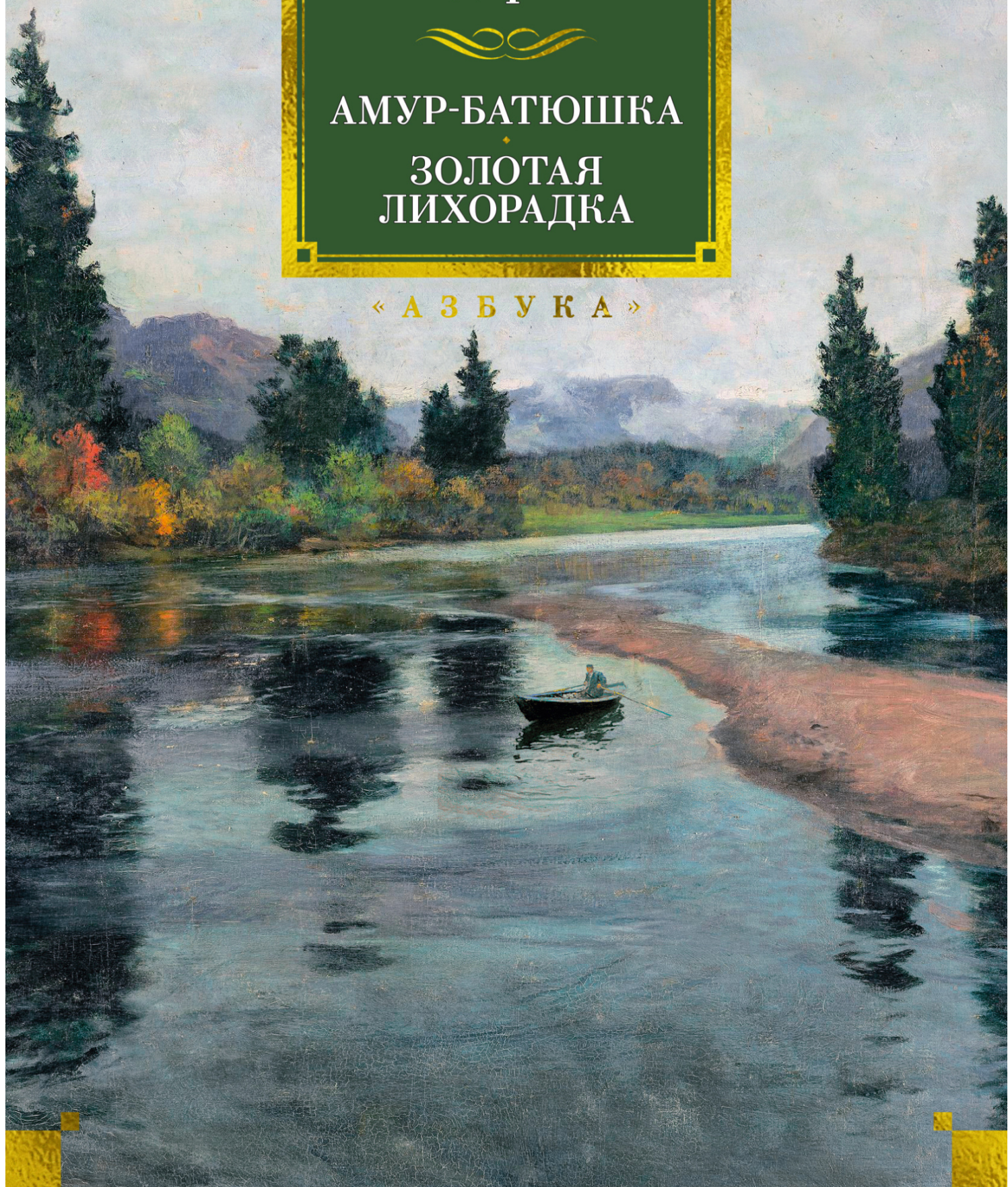
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА *Р* БОЛЬШИЕ КНИГИ

Николай
Задорнов



АМУР-БАТЮШКА
ЗЛОТАЯ
ЛИХОРАДКА

« А З Б У К А »



Русская литература. Большие книги

Николай Задорнов

Амур-батюшка. Золотая лихорадка

«Азбука-Аттикус»

1946, 1969

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Задорнов Н. П.

Амур-батюшка. Золотая лихорадка / Н. П. Задорнов — «Азбука-Аттикус», 1946, 1969 — (Русская литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-21988-5

Николай Павлович Задорнов (1909–1992) – известный русский писатель, автор нескольких романов, повествующих об истории освоения Сибири и Дальнего Востока русскими первопроходцами. Особую любовь читателей снискали дилогия «Амур-батюшка» и ее продолжение «Золотая лихорадка». В последние десятилетия XIX века на многочисленных притоках Амура открыты богатые золотые россыпи. Гонимые нуждой и лишениями переселенцы из Центральной России целыми деревнями идут в этот необжитой суровый край, где хорошая земля, зверя и рыбы великое множество, а воды реки Амур несут крупницы драгоценного металла. То здесь, то там в глубине приамурских лесов возникают республики старателей – крохотные государства в государстве, со своими законами и правителями, которые не боятся порой вступить в открытую борьбу с царскими властями...

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-21988-5

© Задорнов Н. П., 1946, 1969
© Азбука-Аттикус, 1946, 1969

Содержание

Амур-бадюшка	6
От автора	6
Книга первая	11
Глава первая	11
Глава вторая	13
Глава третья	16
Глава четвертая	18
Глава пятая	24
Глава шестая	27
Глава седьмая	32
Глава восьмая	37
Глава девятая	42
Глава десятая	48
Глава одиннадцатая	50
Глава двенадцатая	53
Глава тринадцатая	59
Глава четырнадцатая	63
Глава пятнадцатая	67
Глава шестнадцатая	74
Глава семнадцатая	81
Глава восемнадцатая	88
Глава девятнадцатая	95
Глава двадцатая	100
Глава двадцать первая	106
Глава двадцать вторая	108
Глава двадцать третья	109
Глава двадцать четвертая	113
Глава двадцать пятая	120
Глава двадцать шестая	123
Глава двадцать седьмая	126
Глава двадцать восьмая	130
Глава двадцать девятая	134
Глава тридцатая	139
Глава тридцать первая	143
Глава тридцать вторая	146
Глава тридцать третья	149
Глава тридцать четвертая	150
Глава тридцать пятая	153
Глава тридцать шестая	156
Конец ознакомительного фрагмента.	158

Николай Задорнов

Амур-батюшка. Золотая лихорадка



© Н. П. Задорнов (наследники), 2022

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022

Издательство АЗБУКА®

Амур-батюшка

От автора

Осенью 1937 года мы с женой приехали в Комсомольск-на-Амуре в конце навигации, с последним пароходом. В 37-м году обоим нам было по 27 лет. Ночь была морозная, нас привезли с пристани на грузовике и поместили в неоштукатуренной, но прекрасной по тем временам комнате, в только что построенном двухэтажном доме из бревен. Утром оказалось, что вся улица из таких новых домов, а за ними начиналась тайга. Наша улица была лучшая в городе, и при высоком синем небе и осенней желтизне ее дома из красной лиственницы были хороши. По улице не было проезда, она вся была загромождена корневищами больших деревьев. Ходить можно было только по узкоколейке. Ночами приходили эшелоны груженных платформ и солдаты строительной части с грохотом сваливали бревна для построек. На других улицах стояли прозаические бараки, типа удлиненных мазанок с деревянными тротуарами среди растоптанной грязи. Дальше, на фоне дальних гор, но довольно близко от нас, на нашем же берегу Амура, высились доки кораблестроительного завода. Два раза в день я проходил по этим тротуарам в молодежный клуб, где, открывая свой первый сезон, начинал работать первый профессиональный театр Комсомольска-на-Амуре. Я заведовал в театре литературной частью и был режиссером-лаборантом. Мы ставили пьесы о Дальнем Востоке не потому, что наш театр был дальневосточным. Тогда Дальний Восток и Комсомольск-на-Амуре занимали умы всей страны. В те годы во всех театрах столицы и других городов шли пьесы о Дальнем Востоке и о границе. О Комсомольске писали книги. На Дальний Восток приезжали лучшие журналисты и писатели. Время было тревожное, войны ждали с востока более, чем с запада. Все это придавало воодушевление всем работавшим в том краю.

На необжитой территории, среди необозримых лесов строился новый промышленный центр. Пришли строить большим коллективом, который непрерывно пополнялся. За подвигами комсомольцев следила вся страна. Со временем в распоряжение строителей были даны современные суда, машины. К новому городу уже прокладывалась из Хабаровска железная дорога. Тайга еще жила своей жизнью, она еще не ушла, хотя, конечно, и доживала свой век. Но мы, до поры, этого не чувствовали.

Сам я не был охотником. Уже потом, однажды ночуя в колхозе у нанайцев, я слышал разговор про себя в конторе за перегородкой: «А Задорнов охотник?» – спрашивал русский. «Конечно охотник!» – отвечал нанайец. «Почему же он на охоту без ружья ходит?» – «А он, понимаешь, карандашом стреляет!» Все это было верно, я обычно ходил только с карандашом.

Так вот, по этому способу пошли мы охотиться в тайгу с одним из молодых актеров. Идти далеко не пришлось. Лес хорош, и про природу можно сказать, что она могущественна. Она была так богата, что казалась неистребимой. Днями и ночами по узкоколейкам, выходявшим на будущие магистрали города, везли и везли бревна лиственницы и кедра. В тайге рубили и рубили деревья.

Тайга казалась нетронутой, словно бралась какая-то малая часть ее богатств. Дальневосточные речки чисты и прозрачны, как всегда в горах. Опала листва, и всюду виден краснотал. Его красные прутья на косогорах на фоне синего неба. Красное солнце заходит в эту красную чашу... Видели белок, следы лисы. Товарищ мой рассказывал, что до сих пор поблизости от города находят последние медвежьи берлоги. В ту же зиму в последний раз охотники видели под Комсомольском следы тигра. Зверь приходил к новостройкам и ушел по льду за Амур.

Где мы ходили в тот первый раз с другом Сашей? Вблизи Косогорного хребта, где теперь построен завод Амурсталь? Года через два я пошел на лыжах за город и увидел там море пенек.

Все мы историю начинали с первого дня Комсомольска, когда началось строительство. А на берегу Амура оставались пахотные земли, стояли двадцать шесть домов с застекленными террасами, в пять – семь окон, довольно просторные, под крышами из оцинкованного гофрированного железа. Конечно, это были остатки старого селения. Я начал расспрашивать, кто тут жил и когда приехали сюда эти люди. Мне рассказали, что в этих домах жили русские крестьяне, потомки первых переселенцев, пришедших на Дальний Восток из России.

Для строителей и контор нужны были помещения. Жителей расселили по окрестным селам, некоторые из них, как, например, Ткачевы, ушли в нанайское стойбище за реку. Через год молодой Максим Ткачев, говоривший по-нанайски с детства, стал председателем Эканьского колхоза. Один из потомков Кузнецова пришел обратно в город, завербовавшись на стройку, и для начала выкопал себе в обрыве крутого берега Амура землянку, сложил в ней печь и жил с семьей, как его предок – первопроходец. Я бывал в этой семье. С потомком Барбанова я познакомился в Хабаровске в 1942 году. Он был профессором математики и преподавал в университете.

Я подумал: «А как же начали жить те несколько крестьянских семейств, которые попали на это место, не имея ничего? Никем не поддержанные, не приободренные, явились они на новое место с семьями. Почему они пришли? Зачем? Отчего ушли со старых мест?»

Я представил себе, как среди этой торжественной, девственной природы начинала жить кучка людей, пришедших из Центральной России.

Я разыскал старожилов и расспросил их. Я узнал, что их предки шли пешком и на лошадях через всю Сибирь в продолжение двух-трех лет, желая уйти на «вольные земли» от старой жизни. Они спускались на плотках из Забайкалья по всему огромному Амуру, тогда еще не исследованному и не обставленному створами и знаками.

Мне представилась картина, как эти люди с семьями плывут на плотках, как выходят впервые на берег...

Невольно пришло в голову, что об этом надо написать книгу.

Старая литература много писала о несчастной доле переселенцев. Мне же случалось встречать и до того и впоследствии многих бывших переселенцев, сумевших, несмотря на действительно тяжелые условия, выжить на новых местах. Сибирь и Дальний Восток с их девственной, требующей борьбы природой воспитали в этих людях особенную энергию, умение осваиваться с новыми условиями, волю и многие другие качества. Я подумал: зачем обеднять нашу прошлую жизнь, делать ее нарочито серой, видеть русский народ лишь в нищете? Я думал, что эти люди – первые переселенцы – должны были прожить очень интересную жизнь. Они представлялись мне героями.

В жизни народа были не только подъяремность и солдатчина, но и свои романтические стороны. Освоение Дальнего Востока – одна из них.

Меня привлекал исторический роман такого рода – без известных исторических лиц, о русских крестьянах, которые сделали свое дело в истории. Мне всегда казалось, что в наше время должен особенно развиться роман с героями – рядовыми людьми. Ведь великими полководцами, знаменитыми генералами и деятелями интересовались и в прежнее время. Мне представлялось, что в наше время, когда лучшие романы о современности изображают жизнь глубочайших народных масс, исторический роман также должен показывать нам прошлую жизнь народа и его роль в истории страны.

В те годы при местной газете «Сталинский Комсомольск» существовало литературное объединение. Мы решили выпустить сборник о строителях Комсомольска. Товарищи, от кото-

рых я не скрывал своего интереса к прошлому этих мест, предложили мне написать очерк об истории села Пермского – предка новорожденного города.

Мною всегда владела страсть к путешествиям. Может быть, оттого, что отец был ветеринарным врачом-чумником и всегда рассказывал о поездках, о встречах; может быть, оттого, что я с детства читался приключенческой литературы.

Мне как на роду было написано посмотреть тайгу не отходя далеко от дома и познакомиться со здешними людьми. Я вырос на Дальнем Востоке. Кисти виноградника не были для меня в диковину, как и лианы в тайге. Меня трогало в Комсомольске сожительство человека и природы. Сама жизнь подсказывала тему. Я должен был заглянуть в прошлое, чтобы рассказать о нем молодым товарищам.

Как профессиональный охотник, я стал, фигурально выражаясь, кругами ходить по тайге, забирая все дальше и делая поездки все длительнее. Ходил и пешком, и на лодках, и на катерах, сам от себя, от редакции городской газеты, чтобы писать очерки, научился править парусом в нанайской лодке, греб я всегда хорошо; бывая на горных речках, учился грести двулопастным веселком в берестяной лодке, не мог только набраться достаточно терпения и долго толкаться шестом в нанайских и удэгейских лодках, подымаясь против звенящего камнями течения. В соседних селах я нашел потомков первопроходцев, в том числе и жителей села Пермского, стоявшего на берегу Амура, откуда начиналась гигантская площадь леса и охотничьих угодий, избранных в начале тридцатых годов под строительную площадку.

То, что рассказывали мне старожилы про давние времена, про свои старинные обычаи, про почти уже забытые приемы охоты, про здешние бывшие нравы, про умение сжиться с природой, не губя ее, – все это было для меня открытием целого мира.

Многому учили меня нанайцы и удэгейцы. Я вслушивался в их сказки, их речь, учился у них не только писать, но и жить. Я отправился на реку Горюнь, в места самые глухие в ту пору, желая представить жизнь среди девственной природы. Тогда на Горюне не было никаких строек. Река мчала свои быстрые прозрачные воды среди дремучих, от века не рубленых лесов, между скалами и огромными завалами мертвых деревьев. Мы поднимались против течения на четырех лодках, толкаясь шестами. За целый день проходили «на шестах» не более десяти километров. Тучи мошки и комаров непрерывно вились вокруг нас. Разражались почти тропические грозы.

По дороге было всего одно стойбище, вернее – деревня, из нескольких бревенчатых домиков.

Дальнейший путь по Горюню был не менее интересен. С нами происходили разные приключения, пока мы не добрались до одного из древнейших нанайских стойбищ, расположенных вблизи озера Эворон.

Нас, пишущих о Сибири и Дальнем Востоке, часто упрекают за обилие описаний обычаев, бытовой обстановки, пейзажей; над нами подтрунивают, что мы не можем обойтись без упоминания о тиграх и медведях и, конечно же, без изображения охоты. Но ничего не поделаешь, природа края, особенности жизни людей сами так и просились в книгу. Таков уж был этот край.

Суровая жизнь дальневосточников и в прошлом, при всех ее теневых сторонах, была полна своеобразной романтики, обусловленной необычностью этих мест. А тот, кто знает жизнь современных комсомольчан, вряд ли поставит ее вне связи с окружающей природой. Кстати, я полагаю, что почти каждый рабочий и инженер в Комсомольске тоже рыбак или охотник.

Когда я вернулся в Комсомольск после лета, проведенного в тайге, я не только написал очерки для газеты, но и почувствовал себя местным жителем в большей степени, чем до сих пор, пока я ходил только по улицам города и его учреждениям.

Я знал высказывания В. И. Ленина о переселенцах. Читал книги путешественников – исследователей Дальнего Востока, газеты и журналы XIX века. Перечитал Успенского. Да и все наши классики интересовались Сибирью. Чехов гордился всю жизнь тем, что написал книгу «Остров Сахалин». Позже я узнал, что Лев Толстой хотел написать роман о переселенцах на Амур.

По собранным мною материалам и по новым своим впечатлениям я и написал зимой 1939/40 года первую книгу романа «Амур-батюшка». (Вторая книга романа была окончена в 1946 году.) Название это подсказал мне рыбак, после хорошего осеннего улова сказавший: «Кормит нас Амур-батюшка». Было это в 1938 году на так называемой Шарахандинской протоке около озера Мылки, там, где в 1975 году построен главный мост БАМа через Амур.

Одновременно писал я повесть «Мангму» о жизни охотничьих племен среди этих лесов и вод до появления здесь второй волны русских землепроходцев. Первые землепроходцы пришли сюда в XVII столетии. Память о них сохранилась в нанайских сказках и в многократно опубликованных отчетах казачьих старшин-открывателей. Я был убежден, что тем прочнее будет здание, которое мы строим, чем основательней заложен под ним фундамент. История давала нам для этого все. Нельзя забывать прошлое, как нельзя вычеркнуть из жизни литературу, музыку, народную песню. Нельзя изучать Маркса, не имея представления об эпохе, которая его сформировала.

Так я думаю сегодня о том времени, когда написал роман, который не мог считать историческим, так как сам видел живыми тех людей и ту природу, которых изображал.

Тогда еще не было писателей из малых народов края, хотя я понимал, что со временем у этих народов появятся свои мастера прозы и поэзии, которые вызовут интерес в мире. Но, подрастая уже в новое время, они не успеют увидеть в жизни своих дедов то, что довелось мне. Ключи к изображению их былого мира попали ко мне раньше, я еще наблюдал отголоски тяжести и гнета, которые оставались на старшем поколении.

Громадный материал, полученный мной в лесах и на реках от людей природы, сам по себе выстраивался композиционно. Я был подготовлен театром, работой в редакциях и чтением литературы к тому, чтобы понять, как все это красочно, ярко и своеобразно и как сложно было жить человеку тайги в прошлом.

«Амур-батюшка» и «Мангму» были написаны. Я почувствовал, что не смею остановиться. Надо идти дальше, делать следующий «круг» по жизни, объяснить, как решались важнейшие вопросы всего нашего государства на дальневосточных берегах океана не только пахотными крестьянами, превратившими ту страну в Россию, но и открывшими им путь моряками, исследователями и учеными, рисковавшими ежедневно своей жизнью и карьерой ради будущего.

Я должен был написать роман о Невельском. Я уже работал разъездным корреспондентом и побывал на Дальнем Востоке почти всюду, где прошел Невельской в молодые годы. Но этого было мало. Невельской не матрос и не амурский крестьянин, а петербуржец до мозга костей и ученый. Мне нужны были новые знания.

После войны с Японией, когда мне как корреспонденту Хабаровского краевого отделения ТАСС пришлось быть на фронте, где я также получил много нужных мне впечатлений и о японцах, и о Маньчжурии, и о жизни китайского народа, А. Фадеев и Н. Тихонов, руководившие тогда Союзом писателей СССР и знавшие о моих намерениях, направили меня в 1946 году в Ригу. Мне нужно было бы поселиться в Ленинграде, но после блокады город был разрушен, квартир не было.

Из Риги я ездил в Ленинград. Здесь я не только работал в архивах, но и обошел весь город, ходил по морям, в том числе и на парусных шхунах по Балтике и на Тихом океане. Я опять становился своим в новой среде, теперь среди людей моря. Выработался метод работы, я старался бывать там, где происходит действие моих книг, по возможности видеть потомков

героев, вживаться в их среду. Двадцать пять лет я проработал над романами о Невельском, написал «Первое открытие» («К океану»), «Капитан Невельской», «Война за океан».

Но, переехав в Ригу с Дальнего Востока, я сохранил и в памяти, и в записках множество сведений и картин жизни таежных племен в далеких краях. Тут-то, на берегу Балтики, погружаясь в воспоминания и, может быть, скучая по былому, я написал повесть «Маркешкино ружье», которая вместе с «Мангму» составила роман «Далекий край».

Закончив романы о Невельском, я опять обратился к героям «Амура-бабушки». Я написал его продолжение – роман «Золотая лихорадка» – о тех же крестьянах, уже перебивавшихся за долгую жизнь на новых местах и превратившихся в смелых таежников. Я часто приезжал в те годы на Дальний Восток.

Потом опять по принятому мной способу я плавал по морям, пожил в Японии и в течение десяти лет написал романы о русских моряках и дипломатах, которые вместе с адмиралом Путятиным открыли в прошлом веке новую эру в наших отношениях со Страной восходящего солнца. Это были романы «Цунами», «Симода», «Хэда».

Теперь я пишу роман или, вернее, романы об основании города и порта Владивостока. Первая книга этого цикла, «Гонконг», напечатана. Тема эта важная для истории нашего народа и государства, требует от меня новой большой работы.

Я сохраняю убеждение, что исторический роман может быть современен, если он помогает людям думать о своей судьбе, о великом опыте человечества.

Сентябрь 1986 г.

Н. Задорнов

Книга первая

Глава первая

От сибирских переходцев Егор Кузнецов давно наслышался о вольной сибирской жизни. Всегда, сколько он себя ни помнил, через Урал на Каму выходили бродяжки. Это был народ, измученный долгими скитаниями, оборванный и на вид звероватый, но с мужиками тихий и даже покорный.

В былое время, когда бродяжки были редки, отец Егора в ненастные ночи, случалось, пускал их в избу.

– Ох, Кондрат, Кондрат, – дивились на него соседи, – как ты не боишься? Люди они неведомые, далеко ли до греха...

– Бог милостив, – отвечал всегда Кондрат, – хлеб-соль не попустит согрешить.

Бродяжки рассказывали гостеприимным хозяевам, как в Сибири живут крестьяне, какие там угодья, земли, богатые рыбой реки, сколько зверей водится в дремучих сибирских лесах. Среди бродяг попадались бойкие рассказчики, говорившие как по книгам. Наговаривали они и быль и небылицы, и хорошее и плохое. Все же по рассказам их выходило, что хоть сами они и ушли почему-то из Сибири, но сторона там богатая, земли много, а жить на ней некому.

Да и не одни бродяжки толковали о матушке-Сибири. Сельцо, где жили Кузнецовы, расположено было на самом берегу Камы, а по ней в те времена шел путь в Сибирь. Егор с детских лет привык жить новостями о Сибири, любил послушать проезжих сибиряков и всегда любопытствовал, что туда везут на баржах или по льду, что оттуда, какова там жизнь, каковы люди. Мысль о том, что хорошо бы когда-нибудь и самому убежать в Сибирь, еще смолodu укоренилась в голове Егора. На то, чтобы уйти с родины, были и у него разные причины. Но до поры желание это было как бы спрятано где-то в потайной кладовой про запас; и лишь когда у Егора случались неудачи или нелады с односельчанами, он извлекал его из тайника и утешался тем, что когда-нибудь оставит здешнюю незадачливую жизнь, соберется с духом, перевалит в Сибирь и станет жить там по-своему, а не как укажут люди.

И женился Егор на свободной сибирячке. Неподалеку от сельца были заводы. Крестьяне ходили туда на работы. Егору тоже доводилось жить на куренях¹, на углесидных кучах² и работать на сплавах. Одну зиму пришлось ему прожить на соседнем заводе. Там встретил он славную, красивую девушку, дочь извежога, присланного на завод с азиатской стороны Урала. Егор и Наталья полюбили друг друга. На другой год Егор уломал отца заслать сватов, и в промежовенье, перед великим постом, свадьбу сыграли.

Между тем за последние годы движение в Сибирь оживилось. Началось это еще до манифеста³, после того как в народе прошел слух, что открыли реку Амур⁴, которая течет богатым краем, что там хорошая земля, зверя и рыбы великое множество, а населения нет и что туда скоро станут вызывать народ на жительство.

– Сперва-то вызовут охотников, а не сыщется охотников, пошлют невольников, – говорил по этому поводу дед Кондрат.

¹ *Курень* (от кури`ться) – место выжиг в лесу угля.

² *Углесидная куча* – место выжиг древесного угля для железоделательных заводов на Урале.

³ ...*до манифеста* – имеется в виду манифест 19 февраля 1861 г. об отмене крепостного права.

⁴ ...*открыли реку Амур* – речь идет об открытии экспедицией Г. И. Невельского в 1849 г. устья Амура, о последовавшем вслед за этим начале судоходства на Амуре и заселении Приамурья переселенцами.

Старик с годами стал сдавать, хотя мог еще целый день промолотить в мороз без шапки, но уж головой в доме стал Егор.

После манифеста в Сибирь повалило множество народу, туда повезли пушки, товары и машины, гнали солдат и арестантов, ехали купцы, попы, чиновники, выкочевывали вольные переселенцы и переселенцы по жребии, скакали курьеры.

Вскоре в народе, как и предсказывал дед, стали выкликать охотников заселять новые земли на Амуре. По деревням ездили чиновники и объясняли крестьянам, что тем, кто пойдут туда, переселенцам, предоставляются льготы. С них снимали все старые недоимки, а на новых местах наделяли землей, кто сколько сможет обработать, обещали не брать налогов и освобождали всех их вместе с детьми от рекрутской повинности.

На старом месте жить Егору становилось тесно и трудно. Жизнь менялась, село разрослось, народу стало больше, а земли не хватало. Торгашество разъедало мужиков. Кабаки вырастали по камским селам, как грибы после дождя. У богатых зимами стояли полные амбары хлеба, а беднота протаптывала в снегах черные тропы, бегая с лукошками по соседям.

Егор год от году все больше не ладил с деревенскими воротилами, забиравшими мало-помалу в свои руки все село. За поперечный нрав богатеи давно собирались постегать его. Однажды в воскресенье у мирской избы шло «ученье»: миром драли крестьян за разные провинности. В те времена так случалось, что ни в чем не повинного человека секли время от времени лозами перед всем народом единственно для того, чтобы и ему было неповадно, чтобы и его уравнивать со всем драным и передраным деревенским людом. Обычай этот долго не переводился на Руси.

Егор шел мимо мирской избы. Он был малый крепкий и крутой, но мужики по наущению стариков-богатеев к нему все же подступили: им было не в диковину, что ребята и поздоровей его ложились на брюхо и задирали рубаху. Как только один из мужиков, не глядя Егору в глаза, сказал, что велят старики, Кузнецов весь затрясся, лицо его перекошилось. Сжав кулаки, он кинулся на мужиков и прикрикнул на них так, что они отступились, и уж никто более не трогал его с тех пор.

Кузнецовы, так же как и все жители сельца, были до манифеста государственными крестьянами⁵. Помещика они и раньше не знали и жили посвободней крепостных. Егор всегда отличал себя от подневольных помещичьих крестьян и гордился этим. К тому же он был еще молод, дерзок на язык и крепок на руку и при случае мог постоять за себя.

Если бы деревенским воротилам удалось его унижить, отстегать на людях, они, пожалуй, и перестали бы сердиться на него и дали бы ему от общества кой-какие поправки. Но Егор в обиду себя не давал, и они держали его в строгости. Он многое терпел за свою непокорность.

Егор жил небогато. Да и не мог он разбогатеть. Он работал в своем хозяйстве прилежно, но особенного интереса, пристрастия к этой работе не чувствовал. Жадностью и корыстью он не отличался. Жизнь его кругом стесняла, и его силе негде было разгуляться.

– Ты, Егор Кондратьич, с прохладцей живешь, – как-то раз сказал ему сельский учитель.

– Это жизнь какая! – отвечал Егор. – Она набок идет, никак не уживусь с кулаками, будь они неладны!

– Тебе надо в Сибирь выселяться!

– Пошто же это мне тут-то не жить? – насторожился было Егор, не зная, как понять такую речь.

– Ты бы там горы своротил, а тут они тебе не дают дороги. Вся твоя сила тут прокиснет. А там жизнь вольнее.

⁵ *Государственные крестьяне* – особое сословие крепостной России, оформленное указами Петра I из оставшегося незакрепощенным сельского населения. Эти крестьяне жили на казенных землях, вносили в казну оброк, подати и отбывали натуральные повинности. Считались лично свободными.

Егор ничего не ответил, но слова эти запомнил. Он и сам полагал, что не весь свет населен вредными людьми и что где-нибудь да живет ладный народ. Такой страной представлялась ему Сибирь.

Когда стали выкликать охотников на Амур, дело решилось само собой, словно Кузнецовы только этого и ждали. К тому же не за горами было время, когда по рекрутской очереди младшему брату Егора, Федюшке, предстояло идти в солдаты. На Амуре же никакой рекрутчины не было.

Семейство Егора к тому времени состояло из отца, матери, брата Федюшки и жены Натальи с тремя детьми: Петькой, Васькой и девчонкой Настей. Наталья тоже желала избавиться в будущем своих сыновей от солдатчины и стояла за переселение. Бабка Дарья, еще моложавая и бойкая женщина, поддавалась уговорам сына быстрее старика. Она хорошо понимала своего Егора, и если сначала не соглашалась переселяться, то делала это не от души, а более для того, чтобы испытать, не отступится ли сын от своего замысла. Егор стоял крепко на своем, и мать согласилась. С трудом уломали деда Кондрата.

Егор записался в переселенцы.

Семья оживилась и стала дружно собираться в далекий путь. Тут-то и оказалось, что у Егора уже многое обдумано и многое заранее подготовлено для дороги, а когда он обо всем этом думал, он и сам не мог бы сказать.

Осенью Кузнецовы сняли урожай, намолотили муки на дорогу, набрали семян из дожиночных колосьев, с тем чтобы посеять их на заветном амурском клине, справили лошаденкам сбрую, продали избу, скот и хозяйство, расплатились с долгами.

Отслужили напутственный молебен, бабы поплакали-поревели, и в добрый час, простившись с родной деревней, Кузнецовы двинулись в далекий путь.

Глава вторая

В Перми из уральских переселенцев, съехавшихся туда из разных деревень, была составлена партия. Назначили партионного старосту, и вскоре крестьяне двинулись Сибирским трактом за Урал.

Великий путь от Камы в Забайкалье шли они около двух лет. Первоначально высшие чиновники, распоряжавшиеся переселенцами, рассчитывали, что они смогут передвигаться зимами и быстро достигнуть Читы, откуда должно было начаться их плавание по рекам. Но в сибирские морозы ехать с семьями по степям и тайге оказалось невозможным, и крестьяне останавливались в богатых деревнях, нанимались к сибирякам в работники.

Эх, Сибирь, Сибирь!.. Еще и теперь, как вспомнят старики свое переселение, есть им о чем порассказать... Велик путь сибирский – столбовая дорога. Пошагаешь по ней, покуда достигнешь синих гор байкальских, насмотришься людского горя, наготы и босоты, и привольной жизни на богатых заимках, и степных просторов, и диких темных лесов. Попотчует тебя кто чем может: кто – тумакон по шее, а пьяный встречный озорник из томских ямщиков – бичом, богатый чалдон – сибирскими пельменями, подадут тебе под окном пшеничный калач и лепешки с черемухой. Приласкают и посмеются над тобой, натерпишься ты холоду и голоду, поплачешь под березой над свежим могильным холмом, повалишься на телеге в разных болезнях, припалит тебя сибирским морозцем, польет дождем, посушит ветром. Увидишь ты и каторгу, и волю, и горе, и радость, и простой народ, и господ в кандалах, этапных чиновников, скупых казначеев. А более всего нагладишься кривды, и много мимо тебя пройдет разных людей – и плохих и хороших.

Под Томском у кулаков-«гужеедов» переселенцы покупали знаменитых сибирских коней. Хороши томские лошади: высоки, могучи, грудасты, идут шагом, а телега бежит. Старых, изъезженных, избитых коняг продавали лошадникам. На томских поехали живей. Осенью на Ени-

сее, у перевозов, во время шуги скопилось много переселенцев. Начались болезни – народ мер повально. Приезжали доктора, чиновники, полиция. Переселенцев остановили на зимовку. Впоследствии енисейских старожилов за то, что они помогали переселенцам хоронить умерших, прозвали «гробовозами».

За Енисеем стала стеной великая тайга. Как вступили в нее переселенцы, так уж во всю жизнь не видали ей конца, сколько бы ни ходили. Велика эта тайга. Зайди-ка в нее, в самую чашу, сядь в сырые мхи да одумайся, где ты, и что за лес вокруг тебя, и что ты такое против всего этого. И такая тебя возьмет лихота, что и не рад станешь. Уж лучше ехать и не думать. Такова-то сибирская матушка-тайга.

На исходе второй зимы, когда уже начались оттепели и морской лед трещал так же гулко, как гремит гром в июльскую грозу, переселенцы, перевалив по льду Байкал, вступили в забайкальские горы. Грозно, как облака, уходили они вдаль голубыми снежными «белками». Новая страна – великая, дикая, неведомая – стояла перед толпой оборванных, усталых крестьян.

Начались деревни староверческие, улусы некрещеных и деревни крещеных бурят, казачьи заимки и богатые крестьянские села, растянувшиеся в узкую улицу на долгие версты по тесным и хмурым горным долинам.

Снег стоял, зацвел бледно-розовый багульник, в тайге посвистывали бурундуки. Наступила забайкальская весна. Но переселенцам не радоваться хотелось, а плакать безудержно и безутешно. Больно вспоминались свои покинутые пашни и родная весна, совсем непохожая на здешнюю. Тут дикие камни, обросшие мхами и лишайниками, каменистые крутогоры с высочайшими «ветродуйными» рогатыми кедрачами, холодный ветер и казавшиеся хитрыми темноты люди. А по долинам и по дорогам – пески и сосны. Повсюду стада скота. Кое-где – пашни.

Жизнь тут была какая-то чужая, непохожая на сибирскую даже. Русские люди лицами походили более на азиатцев. Суровые, скрытные и неразговорчивые, они жили в неприветливых домах. Их избы сложены были из толстейших бревен, тяжелые ставни запирались железными болтами. Обнесенные высокими бревенчатыми частоколами или городьбой из жердей, их заимки выглядели казенными укреплениями, а не крестьянскими домами.

По-русски гостеприимные и разговорчивые ссыльнопоселенцы, которых на родине мужики боялись бы, как бывших каторжников, тут были для переселенцев самыми желанными людьми. Они жили вперемежку с коренными сибиряками, и называли их гуранами – дикими козлами. Старожилы сами называли себя так в насмешку над своей дикой жизнью.

С русскими дружили и кумовались буряты. Этих скуластых, внешне как бы безразличных ко всему наездников, вихрем носившихся по горным долинам на своих низкорослых гнедых лошаденках, переселенцы встречали повсюду.

Крещеных бурят русские называли «братскими».

Отдельным племенем жили красивые, рослые и светловолосые староверы. Здесь их называли «семейскими».

У людей этих: у казаков, братских, семейских и ссыльнопоселенцев – были разные обычаи и свое особенное хозяйство, отличное от соседей по устройству и по способам его ведения, хотя и много общего было у всех. Много чего присмотрели переселенцы по дороге такого, что впоследствии должно было, как они полагали, пригодиться им на новоселье.

В конце мая партия прибыла в Читу. Там уже скопилось к тому времени большое количество переселенцев, направлявшихся на Амур и на Уссури. Это были крестьяне Орловской, Тамбовской, Пермской, Вятской и Воронежской губерний. Часть их шла на переселение по доброй воле, часть – по жребью. Были тут и сектанты, и раскольники, и разный другой люд, почему-то не ужившийся на старых местах и стремившийся забраться подальше в тайгу в поисках плодородных земель и вольной жизни.

Под Читой, на Хитром острове, раскинулось огромное плотбище. С верховьев Читинки и Ингоды каторжные читинской колонии сплавливали лес, а переселенцы, объединившись по две-три семьи, строили себе паромы.

Егор сговорился ладить плот с камским земляком Федором Барабановым, с которым шел всю долгую дорогу. Мельком знал он Федора на старых местах. Барабановы жили в одной из соседних деревень на Каме. Федор был в семье пятым сыном и ушел в Сибирь потому, что не ладил с братьями. Он знал, что от отца после раздела много не получит, а на малом не мирился. Был он мужик хитроватый, «рисковый» и по-своему смелый. Он не побоялся пойти на Амур, втайне намереваясь разбогатеть там во что бы то ни стало, но всю дорогу охал, жаловался на свою судьбу и всего опасался: чиновников, докторов, бродяг, конокрадов, разбойников, холодов, болезней, голода, плохих дорог, но, несмотря на свои страхи, всегда лез на рожон первым. Был он порядочный «торгован», как называли его переселенцы, и всю дорогу барышничал, не без выгоды сменяв шесть штук лошадей на пути от Томска до Читы.

Егор и Федор как бы дополняли друг друга. Егор был крепче и тверже Федора, а тот был похитрей и на язык ловчее и мог из всякого затруднения придумать выход. Так, пособляя друг другу, мужики благополучно осилили многие помехи и печали.

Жена Барабанова, низкорослая силачка Агафья, выносливая и терпеливая, была во всех делах советчицей и помощницей своего мужа, но нередко и помыкала им, если он плоховал. Агафья бралась за любую мужскую работу и делала ее не хуже мужиков. На Ингоде на плотбище, ворочая бревна, она немного отставала от Егора, а Федора, случалось, и опережала.

Плоты, или паромы, строили по-сибирски, укладывая широкие плахи на длинные – «арты» – долбленные толстые кедровые стволы. Переселенцам присылали на помощь солдат и каторжников, чтобы долбить «арты» и плотить.

В начале июня суда были готовы и нагружены. Переселенцы двинулись вниз со вторым сплавом. Первый ушел еще в мае следом за льдами.

Поплыли скалистые берега сначала Ингоды, потом Шилки, мрачные теснины, хвойные леса. До Усть-Стрелки миновали семь маленьких почтовых станций – «семь смертных грехов».

«Экая тоска, экая скучища на этой Шилке зимой!» – подумал Егор, услышав такое прозвище здешних станций.

На вторую неделю пути выплыли на Амур. За Усть-Стрелкой солдаты-сплавщики, направлявшиеся в Хабаровку, указали китайскую землю. Разницы не было: и тут и там все было одинаково, она ничем не отличалась от своей.

По реке шло движение, как на большой дороге. Сплавлились вниз купеческие баркасы, баржи с солдатами, с казенными грузами и со скотом; на плотах плыли казаки из Забайкалья и везли целиком свои старые бревенчатые избы; попадались китайские парусные сампунки⁶, полные товаров.

Ближе к Благовещенску стали проплывать пароходы. На возвышенностях – рёлках – виднелись распаханная и засеянная казаками земля. На правом впережку с «таежками», как назывались тут перелески, попадались китайские деревни.

Немало было разговоров про китайцев. Егор ходил в деревню смотреть, как они живут. В душе немало удивился тому, что увидел: уж очень аккуратны были китайские пашни, хоть и малы; и все росло – овощи, хлеб. Кругом тайга и луга. Деревня обведена стеной из самана.

На устье Зеи, в Благовещенске, переселенцы получили «порции»: сухари, соль, побывали на многолюдном базаре и в солдатской церквушке подле строящегося собора.

Перед крестьянами открывалась еще одна новая страна. Тайга, чем ниже спускались по реке, становилась веселей, кудрявились орешники, радовали глаз дубняки, липовые рощи; на лугах росли сочные буйные травы, а на зеленых косогорах, и на русской и на китайской сторо-

⁶ Сампунка – китайское речное судно с соломенным парусом.

нах реки, цвели красные и желтые саранки и пушистые белые марьяны корни. Маньчжуры подплывали к каравану на лодках, торговали овощами и дичью, несли какую-то тарбарщину, хватали русские монеты, но кредиток не брали.

– Эх, взяли меня, как с гнезда, и унесли!.. Чего только я тут не нагляжусь! – невесело и растерянно говорил дед Кондрат, проплывая расположенный неподалеку от Благовещенска маньчжурский городок с бойким базаром на берегу, с мачтовыми лодками у пристани, с золочеными крышами кумирни и с глинобитной крепостью.

Вскоре китайские деревни исчезли. На обеих сторонах реки стояла сплошная грозная тайга, и с каждым днем все выше вздымались скалы. Кое-где в распадках приютились казачьи посты – несколько свежерубленых избенок – да огороды. Амур, зажатый в каменной теснине, шел местами как между стен. Река зашумела, повлекла плоты быстрей.

Глава третья

В Благовещенске вместо солдат-сплавщиков на паромы заступили лоцманы-казаки из недавно переселенных на Амур забайкальцев. С этими плыть стало веселей. Они все тут знали и обо всем охотно рассказывали.

– Мои деды на этом Амуре жили, – рассказывал низкорослый кривоногий казак Маркел. – Я-то родился на Шилке, в станице Усть-Стрелка, но род-то от старых жителей. Ведь в прежнее время тут русских много жило. Этой реке и название – Амур-бабушка. Волга – Руси матушка, а Амур-то – бабушка! Были тут и городки, и заимки. Пашни пахали. А потом с маньчжуром сражались, и руцкие ушли – земля захлохла, стала Азия и Азия. А нынче вот опять топоры застучали. Лес валят, корчуют. Красота!..

– Почему же деды-то уходили с Амуре? – спросил Егор.

Маркел не сразу ответил. У него было что рассказать российским переселенцам, и поэтому он не торопился. Казак оглядел мужиков и начал тонким голосом:

– Это было давно. Моего деда дед ли, прадед ли тут жил. Тут было всего: и хлеба росли, и люди жили. Китаец тогда за стеной жил. У них коренное государство, ну, вроде Расея ихняя, стеной отгорожена, и начальство строго следило, чтобы за ворота никто не выселялся. А китайцы, конечно, не слушают. Это я знаю, потому сам сидел в Китае в плену и стену видел. Здоровая такая стена, вот с эту кручу, – кивнул Маркел на каменный обрыв, быстро проплывающий над плотами. – Проложена прямо по сопочкам, по степи, где придется. Но вот. – Маркел кивнул на правую сторону. – В те поры – это давно было – Миколай Миколаич Муравьев говорил: двести лет тому назад маньчжурец пошел на Русь. Аж до Амуре достиг! Выше Благовещенска был большой город Албазин. Отец-то все нам показывал дедушкину пашню – водил на Амур, когда мы в Забайкалье жили. А уж какая пашня! На ней в два обхвата березы выросли. Когда я с отцом ходил, он показывал те места, где был Албазин. А потом отец помер, а у меня знакомых стало много на Амуре из ороchon⁷. Я сам часто сюда ездил, ружья возил и охотился, так уж хорошо это место запомнил, где Албазин стоял. А теперь и на тех пашнях тайга, а где так гарь или который лес ветром повалило. А когда-то стоял город, хлеб рос, был скот разведен. Люди жили мирно. Маньчжур и давай воевать. Обложил Албазин. Сперва не мог взять. Но нам помощи нет настоящей – от Москвы-то, говорят, мол, как ее подашь, далеко, мол, через хребты дорога. Стали сдавать крепость, велели народу выйти в Забайкалье, замирились. Обида, конечно... Говорят, шибко плакали старики. Албазинскую-то божью мать слышали? – вдруг с живостью спросил Маркел. – Чудотворную-то икону?

– Казанскую, что ли? – переспросил Федор.

⁷ *Ороchonы* (от *эвенкийск.* «орон» – «олень») – дореволюционное название ряда групп оленных эвенков, живших к востоку от озера Байкал.

– Какой Казанскую! – с пренебрежением ответил казак. – В Албазине была чудотворная Албазинская. У нас известно. Икону старики на руках вынесли.

Маркешка рассказывал, какая разница между китайцами и маньчжурами и как их различать.

– Как же Амур-то обратно взяли? – спросил Федор.

– Мы как сюда пришли с Муравьевым – и из ружья ни разу не выстрелили. Тогда уж все мирно обошлось. Геннадий-то Иванович Невельской на корабле зашел с моря и устье реки занял. А Муравьев был губернатор в Иркутске, собой рыжеватенький такой, верткий, как хорек, но с солдатами обходительный. Я уж потом сколько раз с ним встречался. Всегда за ручку здоровался. Это уж обязательно! В пятьдесят четвертом году он в первый раз спустился с нами с Забайкалья на судах и проплыл сквозь весь Амур. Мы имя руководствовали, фарвахтер показывали. Кто не потрафлял ему – таку вздрючку давал, бывало, горячих всыплют. Проплыли мы, и с тех пор Расея сюда двинулась. Теперь народ так и льется, как вода. Китайцы не хотели сначала Муравьева пускать, а потом рассудили, что, мол, соседи, жить, говорят, надо мирно, и не стали препятствовать. Старый договор порвали, написали новый. Миколай Миколаич Муравьев подписал, китайцы кистями расписались, выпили хорошенько. И китайцы довольны, а то они боялись, что англичане в Амур зайдут. Так нам Муравьев Миколай Миколаич сказывал; мы ведь и потом у него были лоцманами. Как раз в тот год, как он договор подписывал в Айгуне, я тоже был на сплаве, лоцманил. Он говорил, будто для китайцев старался.

– Ну ладно, а как же тогда ты в плен попал к китайцам, если с китайцами дружно жили?

– Ну, это дело мое! – недовольно ответил Маркешка и, немного помолчав, добавил: – Это было давно.

Другой сплавщик, пожилой, безбородый и желтолицый, Иннокентий, или, как его все звали, Кешка, засмеялся:

– Маркел ходил охотиться на Амур. Его поймали. Год держали в яме, а потом через весь Китай и всю Монголию вывезли в клетке на верблюде и в Кяхте выдали.

Маркел угрюмо молчал.

– Он зимой ходил на дедушкину землю охотиться на белок и соболей да напоролся на льду на китайского генерала, на начальника Айгуна.

Такое объяснение понятно мужикам; русский генерал или китайский могли при случае поступить, конечно, как им вздумается: нашел, видимо, в чем-то нарушение.

– Маркешка оружейник хороший. Ружья сам умеет делать, – продолжал Иннокентий. – Прежде на Амуре русские ружья знали. Он ездил, менял...

– Ведь ружья занятие доходное? – удивился Федор, обращаясь к лоцману. – Дула-то где брал? На новом-то месте ружья нужны!

– Я просил у начальства позволения открыть оружейный завод в Благовещенске, – отвечал Маркешка.

– Ну и что же?

– Капитала нет! Сказали: «И не суйся». Еще, говорят, не хватало, чтобы забайкальцы стали свои системы придумывать! Однако, твари, ружье мое не отдали, и видать было, что понравилось. Сказали, в Николаевске есть оружейная при арсенале, чинят там старые кремневки, фитильные, штуцера – всякую такую чертовщину, туда, мол, нанимайся. А на черта мне это дело сдалось?

Егор с большим любопытством приглядывался к Маркешке. Бледный и смирный казак этот, как видно, был выдумщиком и смельчаком.

– Он ведь из Хабаровых! – продолжал на соседнем плоту Иннокентий. – Ерофей-то Хабаров в древнее время был богатырь, голова на Амуре. Албазин-то который построил. Хабаров, паря, знаменитый человек! Маркешка-то его же рода, от братьев его, что ли, они произошли.

Муравьев, когда в первый раз Маркешку увидел, сказал: «Какой же ты богатырь, Хабаров, а такой маленький да кривоногий!»

Все засмеялись.

* * *

Через неделю караван подходил к деревне Хабаровке.

– Твоим именем, что ль, названа? – с насмешкой спросил Федор у Маркешки.

– Нет, это Ерофеевым! – с потаенной обидой ответил казак.

Маркешка простился со своими товарищами и с переселенцами. От Хабаровки он должен был вести часть переселенцев вверх по Уссури, а оттуда по тайге тропами провести во Владивосток военный отряд.

– А семья где у тебя? Или ты холост? – спрашивал Егор.

– Ребят семеро, да жена, да две старухи живут на Верхнем Амуре, – отвечал Маркешка.

– Далеко же ты на заработки ходишь!

Глава четвертая

В Хабаровке от переселенческого каравана отстали буксирный пароход, баржа с семейными солдатами, паромы с казенным скотом, взятым для продажи новоселам, торговый баркас кяхтинского купца и плоты с переселенцами, назначенными селиться на Уссури. Дальше вниз по Амуру поплыли паромы переселенцев, которым предстояло основать новые селения между Хабаровкой и Мариинским, и лодка чиновника, распорядившегося сплавом и водворением крестьян на новых местах.

Под Хабаровкой река заворачивала на север. Из-за островов пала Уссури, и Амур стал широк и величествен. С низовьев подули ветры. Целыми днями по реке ходили пенистые волны, заплескиваясь на паромы и заливая долбленные «арты». Сплав осторожно спускался подле берегов, лишь изредка переваливая реку и отстаиваясь в заливах, когда подымалась буря.

Местность изменилась. Еще под Пашковой начались крутые горы. За Хабаровкой исчезли казачьи посты. Оба берега стали пустынные и дикие. По правому тянулись однообразные увалы, то покрытые дремучей вековой тайгой, то обгорелые, то голые и каменистые, то поросшие орешником и молодым кудрявым лесом. Левый берег был где-то далеко; хребты его, курившиеся туманами, лишь изредка проступали из ненастья, синевя в отдалении над тальниковыми рощами островов.

Иногда на берегах виднелись гольдские⁸ селения. Глинобитные фанзы с деревянными трубами и амбарчики на высоких свайках лепились где-нибудь по косогору близ проток в озера. Переселенцев гольды побаивались и не приближались к ним, да и сами крестьяне сторонились местных жителей, не зная еще, что это за народ, хотя казаки уверяли, что люди мирные и добрые. Убогий вид гольдских жилищ никого на плотях не радовал.

Реже попадались селения русских. Крестьяне, пришедшие на Амур этим же летом, жили в шалашах и землянках и день-деньской рубили тайгу. У староселов, пришедших два-три года тому назад, кое-где уж строились избы; лес отступил от них дальше, на расчищенных от леса солонепеках были разведены и обнесены частоколом обширные огороды; хозяева разводили скот, сеяли хлеба, коноплю, гречиху, овес.

День ото дня сплав уменьшался. За Хабаровкой отстали воронежские крестьяне. Вскоре высадились на берег орловцы. В одной из старосельческих деревенок отстали и вятские.

⁸ Гольды – так до революции называли нанайцев.

Дальше должны были плыть четыре семьи пермских переселенцев; их назначили селиться ниже всех – на озеро Додьгу⁹.

Плоты их отваливали от старосельческой деревеньки хмурым ветреным утром. Над рекой низко и быстро шли лохматые облака.

Река слегка волновалась. Ветру, казалось, наскучило бесноваться, он ослабевал и более уж не завивал белых барашков на гребнях волн. Река стихала, она катилась тихо и мерно – мутная, набухшая, бескрайняя, как море, уходившая в безбрежную даль, сокрытую туманами и дождями.

Мимо берега, переворачиваясь с боку на бок, проносились огромные голые лесины, коряги, карчи, щепы – остатки деревьев, разбитых неведь где, вынесенные горными речками в половодье.

Повсюду плыли комья усыхающей белой пены, накипевшей в непогоду; и от множества подобных предметов ширь реки становилась еще явственней, глубже и грозней.

Ветер не хотел стихнуть совсем и временами налетал с силой, рассыпаясь по воде, разводя мелкую зыбь и обдавая сырой прохладой собравшуюся у плотов толпу. Народ кутался кто во что мог, мужики и бабы ежились, а босые ребятишки приплясывали, как ямщики на морозе, или стояли на одной ноге, отогревая другую под штаниной, либо сидели на корточках, накрывшись зипунами.

Трудно было предсказать, как разойдется погода. Вдруг на миг-другой сквозь расползшееся облачко проглядывало солнце и, словно для того, чтобы подразнить иззябших за ночь переселенцев, пробежало по ним веселыми лучами; подставив под солнце голую руку, сразу можно было ощутить, как оно жарко палит, несмотря на ранний час. То вдруг облака темнели, ветер налетал откуда-то со стороны другого берега и приносил с собой частые брызги далеких ливней.

На берегу, подле плотов, собралась порядочная толпа. Староселы и остающиеся переселенцы вышли проводить отплывающих. Однако уральцы некоторое время никак не могли решиться, стоит ли плыть дальше в такой день. Некоторые говорили: коли быть непогоде, то не лучше ли переждать ее в деревне, чем отстаиваться где-нибудь на диком берегу? Казаки, сопровождавшие плоты, стояли за то, чтобы плыть, и говорили, что выгоднее хоть сколько-нибудь пройти дальше, пока позволяет погода, чем стоять на месте.

– На этот Амур и в ясный-то день надежды нет. Все тихо, покойно, а сядешь в лодку, доедешь до середины – ой забушует, и не знаешь, как обратно доберешься. Чего зря погоды дожидать.

На берег вышел чиновник, ночевавший в избе у старосты. Это был плотный, скуластый сибиряк с жесткой складкой у губ и живыми серыми глазами. Сплав подчинялся ему по всем правилам воинской дисциплины. Оглядев руку и потолковав со стариками, он приказал казакам отваливать и отправился на свою лодку.

На берегу засуетились и забежали озабоченные мужики с шестами в руках. Заголосили бабы. Тем горше было расставание, что вятские были последними российскими спутниками уральцев. Дальнейший путь предстояло совершать им одним.

Старики на прощанье перецеловались, все кланялись друг другу в пояс и желали благополучия на новоселье. Наконец отплывавшие разместились на пароме, с лодки чиновника слышалась команда лоцмана, уральцы взяли за шесты, лязгнули ими о каменистое дно, и плоты тронулись. Черная толпа провожающих, махая платками и шапками, расплылась по косогорам берега.

– От мыса-то тут коса пошла, ты гляди в оба! – кричал чернявый старосел-вятч казачьему лоцману, шагая по берегу вровень с головной лодкой.

⁹ Озеро Додьга – озеро Силинское. Упомянутая дальше река Додьга – река Силинка.

Казак стал отводить лодку от берега. На паромах откладывали шесты и брались за гребни.

– Ну, Христос с вами, детки, – крестил проплывавшие паромы седой как лунь дед из оставшихся вятских новоселов. – Ищите себе земельку да окореняйтесь. И дай вам бог, дай бог! – бормотал старик, и слезы катились по его темным морщинам.

Егору Кузнецову с переднего парома стало хорошо видно всю деревню. С вечера – приставали к берегу в сумерках – он не разглядел ее хорошенько. Теперь вся она была перед ним как на ладони. И как бы для того, чтобы повеселить Егора, в облаках образовалась пройма, сквозь нее заголубело небо, поток ярких радужных лучей брызнул на невысокие холмы и зазеленил на их склонах поля и огороды.

Видно стало, что деревенька ладная. Свежерубленные розоватые избенки ютились по склонам. Ближе к реке виднелись слепые бревенчатые амбарушки, построенные на свайках, но свайки эти были гораздо короче и толще, чем у гольдов. Видимо, у вятских было что в амбары складывать. Подле домов ни деревца, ни куста, словно тут испокон веков стояла безлесая и от этого на вид безрадостная сибирская деревня. Лес поблизости мужики вырубали, как злого врага. И в самом деле, от леса тут жить надо подальше – из него мошка тучами. Ближние увалы были скрыты низкими облаками, и казалось, что кругом деревни сплошные поля и огороды. Родной вид их радовал Егора и укреплял в нем надежду на новую жизнь.

– Вот же окоренились люди-то, – как бы отвечая сам себе, вымолвил он.

– Вестимо, – отозвался с другой гребни темнобородый Барабанов и кивнул на деревянные кресты на прибрежном холме. – Сколько корней-то пущено!

Дед Кондрат снял шапку и перекрестился.

Солнце скрылось, и небо плотно затянуло серыми облаками. Вода заплескалась о паромы, ветер обдавал гребцов брызгами разбитых волн.

Сплав теперь состоял всего из трех плотов. Впереди шла крытая лодка чиновника. Двое забайкальцев в халатах и в мохнатых папахах сидели на веслах. На корме правил лоцман сплава – шилкинский казак Петрован, переселившийся недавно из Забайкалья на Средний Амур. Ветер трепал его неподпоясанную широкую красную рубаху и хлопал ею, как парусом. Изредка над пустынной взволнованной рекой звучал его предупреждающий оклик.

Версты три-четыре все плыли молча, сосредоточенно работая веслами и ощупывая дно шестами, как слепые на чужой дороге. Миновав остров и отмели, караван выплыл на быстрину. Деревня скрылась за мысом. Казаки перестали грести, и лодку понесло течением. Мужики на своих тяжелых плотах, чтобы не отставать от нее, слегка налегали на огромные, тесанные из цельных бревен весла. Одна за другой навстречу плотам выплывали из тумана угрюмые широкие сопки. Волны, всплескивая, ударялись об их каменные крутые подножия.

– А что, Кешка, – обратился Федор к казаку-кормицику, – давно, что ль, эти вятские тут населились?

– Чего-то я не помню, который год они пришли, – глухо отозвался Кешка, низкорослый казак в ичигах¹⁰ и грязной ситцевой рубахе. Бледно-желтое лицо его было безбородым, как у скопца, и скуластым, как у монгола. Ему было лет под сорок, но он выглядел гораздо моложе. Только мешки под шустрыми темными глазами старили его. – Тут, однако, еще до них заселение было, гольды жили на буграх, – продолжал он. – Им немного тут корчевать пришлось: настоящей-то тайги не было.

– Чего же эти гольды отсюда ушли?

– Кто же их знает! Чего-то вздумалось им, они и ушли. А которые вымерли. В старое время, однако, зараза была завезена. Тут кругом одни гольды – теперь, однако, верст на полтора, кроме их, нет ни души. До самой вашей Додыги поплывем – русского человека на берегу

¹⁰ Ичиги – род легкой обуви на мягкой подошве.

не увидим. Только солдаты кое-где живут на ста́нках¹¹. А чтобы поселение – этого тут нету. За Додьгой, как сказывал я, живет один русский с гольдами.

– Это как ты называл-то его? – перебил казака Федор. – Чего-то я запомнил...

– Бердышов он, Иван Карпыч. Да он сам по себе на Амур пришел, от начальства независимо. Да и он, однако, уже на додьгинскую релку перекочевал. А дальше опять верст семьдесят нет никого. Селили тут каких-то расейских – орловских ли, воронежских ли, да они перешли на Уссури. Чего им тут? Калугу он еще и не поймает, охотник с него никакой, зверя увидит – бежит. Сохатый ему ни к чему. Клюквы, брусники осенью бы набрать, луку дикого насолить – того не понимают. Цинга на них навалилась. Озимые у них затопило, на другой год хлеб с лебедой пекли, толкли гнилушки, с мукой мешали, ослабли – тайгу чистить не могли. Видишь, не все здесь выживают.

Мужики гребли так старательно, что плот поравнялся с лодкой. Из-за настила стали видны головы казаков, сидевших за укрытием и куривших трубки. Петрован вылез на крышу и уселся лицом к плоту.

– Староселы-то с новеньких теперь сдерут за приселение! – весело крикнул он, кивнув головой в том направлении, где осталась деревенька, в которой высадились вятские. – Тайгу-то обживать, она, матушка, даст пить!.. Недаром, поди, старались...

– То же и на Додье, если Бердышов построился, придется маленько ему потрафить, – заговорил Кешка, обращаясь к мужикам. – Деньжонками ли, помочью ли – тут уж такой закон.

– Где же их напасешься, денег-то? – возразил Федор.

– Кто обжил тайгу, тому уж плати, – поддразнивал Петрован. – Никуда, паря, не денешься. Рублей по пяти, по десяти ли теперь с хозяйства отдашь староселу.

– У нас дома, в Расее, промеж себя о таких деньгах и разговору не бывало, – вымолвил Егор.

– Зверовать наладишься, так деньги воротишь, – возразил Кешка. – Тут и соболь, и лиса, и рысь, выдра – всякий зверь есть; только знай бегай шибче по тайге-то, она прокормит.

– Хлебом одним разве проживешь тут? От гольдов или от Бердышова, уж от кого-нибудь перенимать придется. А меха китайцы скупают! – силился перекрычать плеск волн Петрован. – Бердышов-то тут старый житель; он уж давно сюда пришел. Он теперь, поди, как хозяин на этой Додье вас встретит, – продолжал он подшучивать над Федором.

– Иван Карпыч не передаст свое охотничество, – серьезно возразил Кешка. – Скорей всего, что от гольдов перенимать придется.

Егор, как человек, решившийся на переселение по убеждению и от души желавший найти для своей жизни новое праведное место, не обращал внимания на рассказы казаков. Он верил, что и тут жить можно и что хлеб вырастет. За годы пути Егор ни разу не посетовал на себя, что снялся со старого места. Он надеялся на свои силы и староселов не боялся.

– На лису-то мы и дома промышляли да на белку, – весело заговорил Федюшка. – Даст бог, и соболя поймает. Про соболя и у нас слышно – на Урале-то.

– Тут кругом охотники ходят, соболюют. Туда вон подальше, в хребтах, уж шибко ладный промысел!

Быстрина несла плоты к крутому обрыву. Из курчавых орешников, росших по склону, торчал горелый сухостой. Выше шел оголенный увал, на склоне его валялись черные поваленные деревья.

– Эй, Петрован, а никак ветер меняется! – оживленно крикнул Кешка. – Кабы верховой-то подул, мы бы, пожалуй что, под парусами завтра дошли.

– И впрямь сверху потянуло, – отозвался Петрован.

¹¹ Ста́нок (сибир.) – станция, небольшое селение, где проезжающим давали «подводу», то есть зимой – сани, а летом – лодку с переменной на другом станке.

Но не успел он договорить, как ветер с новой силой ринулся навстречу и запенил плещущуюся в беспорядке воду. Петрован слез с крыши, взял правило у молодого казака. Забайкальцы сели на места, и легкая лодка снова быстро пошла вперед.

Ветер полоскал удалявшуюся красную рубаху лоцмана. Хотелось Федору спросить у Кешки, как же все-таки им придется рассчитывать с Бердышовым и много ли, в самом деле, по здешним обычаям следует ему с каждого новосела, но смолчал, чтобы казак лишний раз не посмеялся. «Нет, наверно, зря они балясничают. Быть не может, чтобы Бердышов запросил по десяти рублей», – утешил он себя.

Егора тоже заботила предстоящая встреча на Додыге со староселом. Сторублевая ссуда, выданная ему, частью уже разошлась, а частью распределена была до последнего рубля.

Берега затянулись туманной мутой, с плотов, кроме волн и мглы, ничего не стало видно. Следовало бы пристать и отстояться где-нибудь в заливе, покуда хоть немного не разъяснит, но пристать было некуда. Под скалами вода кипела на камнях, приближаться туда опасно, казаки повели караван через реку. Разговоры стихли, все усердно заработали веслами.

Полил дождь, ветер утих, и волны стали спокойней. Где-то проглянуло солнце, лучистые столбы его света пали откуда-то сбоку, сквозь косой дождь, и вокруг плотов во множестве загорелись разноцветные радуги, перемещавшиеся при всяком порыве ветра. Серебрились, ударяясь о воду, дождевые капли, и казалось, что на реку сыплется множество мелких серебряных монет; весело плескались голубовато-зеленые прозрачные волны, насквозь просвеченные лучами. Повсюду, куда хватает глаз, сквозь многоцветный, изнутри светившийся ливень виднелись яркие просторы вод. Куда девалась их муть, их глинистая желтизна, нанесенная в Амур из китайских рек!

Вдруг пала густая тень, и в тот же миг все снова приняло вид мерклый и серый. Остались лишь косые потоки ливня и мутная река, кипящая водоворотами.

– Братцы, наляжем!.. – тонко покрикивал Кешка.

Мужики дружно вскидывали в воздух полоторасаженные весла. Поскидав мокрые армяки, Егор и Федор работали в одних почерневших от ливня рубахах; с их зимних шапок и с бород текли струи, на изможденных лицах пот слился с водой, глаза полны были решимости: реку во что бы то ни стало нужно было переплыть как можно скорее.

– Бабы, не удайся мужикам! – покрикивала мокроволосая разгоревшаяся Наталья, воровавшая на пару с силачкой Барабанихой запасную гребь.

Шумела вода, взрезанная торцом крайнего бревна, и полоса ее, гладкая, как стальной клинок, с плеском откидывалась напрочь. Где-то в стороне, неподалеку от плотов, вынырнул малый островок и проплыл мимо, как кудрявая романовская шапка, кинутая в воду. Приближались к отмелям. Федюшку поставили с шестом на носу парома. Промеряя глубину, он каждый раз оборачивал мокрое, скуластое, веснушчатое лицо и покрикивал весело:

– Пра-аходит!..

Вскоре плоты вошли в протоку между островов. Дождь окончился. В спину гребцам, навстречу каравану, подул холодный сырой ветер. Опять пошли волны. Пришлось налегать на шесты. Караван продвигался вдоль берега, укрываясь от ветра под самые островные тальники.

Вдруг откуда-то издалека до слуха плывущих донеслись голоса, тянувшие что-то вроде песни. Время от времени эти дружные расплывчатые звуки перекрывались чьей-то визгливой и пронзительной скороговоркой. Все стали озираться по сторонам. Караван шел протокой меж высоких голенастых тальниковых лесов. Слева мимо паромов проплывал островок, открывая желтую песчаную отмель, тянувшуюся вдоль берега. На косе бесились волны, с грохотом выбегая на нее во весь рост и завивая косматые водяные вихри. За широкой протокой, на матером берегу кучка людей тянула бечевой большую черную лодку с косым парусом. На носу ее стоял человек без шапки и, повизгивая, что-то кричал.

– Переваливать Амур хотят, – пояснил казак. – Это гольды тянут в Китай торговца с мехами. Э-эй, джангуй!¹² – заорал он. – Твоя майма¹³ откуда куда ходи?

С маймы донеслись слабые отклики. Кешка насторожился, приложил к уху ладонь.

– Однако, это китаец-то знакомый, – сказал он. – Тут их трое братьев неподалеку от Додьги торгуют, в той деревне, где, я сказывал, у гольдов Бердышов жил.

Кешка что-то прокричал китайцам не по-русски и, вслушавшись в их ответ, наконец уверенно сказал:

– Младший брат в Сан-Син¹⁴ пошел за товаром.

– Лавка, что ль, у них?

– В юртах же торгуют. Места тут глухие, а охота хорошая, они у гольдов меха берут. Эти три брата – богатые купцы, силу тут имеют в тайге. Они еще у Муравьева выпросили позволение торговать здесь. При Муравьеве, однако, только один их отец тут торговал. Все инородцы здешние у них в кабале. Зимой они кругом по тайге нартой ходят. Тут у них все в долгу: и оро-чоны и гольды. Гольдов крепко держат. Чуть что – палкой его. А гольд торговца увидит – на коленки перед ним. Этот китаец последние-то годы стал и с русскими торговать. Верстах в семидесяти пониже того места, где вас селят, на устье Горюна, есть деревенька переселенческая – Тамбовка, туда они муку возят и мало-мало толмачат уж по-нашему – научились. А дальше начнутся русские деревни, так они и туда ездят. А теперь, говорят, сюда из Маньчжурии потянулись другие торгаши. Как же! Имя с русскими выгодно торговать. Тут теперь сколько народу! Раньше им эдак-то торговать не давали. Маньчжурские нойоны – те сами не дураки были об этом деле; чтобы не без соболей с Амура вернуться, уж шибко заботились. А теперь, при русских, торговцам раздолье.

У Федора глаза сузились, он так и впился взором в рассказчика.

– Мы первые-то разы тут проходили, маньчжур нойон-то еще ездил по гольдам, собирал с них албан, дань по-нашему, с головы по соболю, да еще выторговывал сколько. Однако, полную майму мехов увозил. А русские тут и прежде до Муравьева бывали, беглые селились, на охоту ходили.

С реки рванул сильный ветер. Паром покачнуло. Мутная волна вдруг поднялась перед тупым носом парома, с шумом обрушилась на настил и разбежалась по нему ручьями. Грузы и продукты переселенцев были подняты на подставки и закрыты широкими берестяными полотнищами. Вода их не коснулась, но ручьи забежали в балаган, устроенный посреди плота. Завизжали ребятишки и, покинув свои убежища, полезли в мешки. Бабка Дарья, Наталья и Агафья стали перебирать подмоченное добро.

Снова запенился водяной гребень, и волна обкатила переднюю часть парома. Кешка изо всей силы навалился на кормовое весло, направляя паром следом за лодкой в узкую и тихую протоку, открывавшуюся в тальниках.

Иногда было видно, как волна, далеко не достигнув берега, вдруг сшибалась с другой; слившись, они вздымались крутым водяным бугром и, на миг превышая седым венцом иные волны, победно всплескивали к небу гроздья брызг и тотчас же распадались.

Плоты пристали к берегу.

– Бушует наш Амур-батюшка, – вымолвил Кешка, оставляя прави́ло и озирая реку.

– Не дай бог, замешкались бы мы на середке, была бы беда! – отозвался Федор.

¹² *Джангуй* – хозяин (*искаж. китайск.*).

¹³ *Майма* – торговое речное судно.

¹⁴ *Сан-Син*, или *Илань* – один из крупных городов в Маньчжурии, на реке Сунгари.

Глава пятая

Ветер ослаб лишь в сумерках, когда плыть дальше было поздно, и переселенцы стали располагаться на ночлег. В берег вбили колья. К ним подтянули плоты.

Казаки раскинули барину палатку, а сами расположились подле нее, у костра. Обычно они не ставили себе палатки. В хорошую погоду ночевали на лодке, где устроен был навес от дождя. Там у барина оборудована довольно просторная каютка. Сам чиновник предпочитал ночевать на берегу в палатке, где устанавливалась легкая походная койка, укрытая полом-накомарником.

На этот раз погода была столь переменчива, что и казаки, посидев немного у своего костра, не поленились разбить себе палатку.

Под берегом на широкой отмели устраивались переселенцы.

Мужики разбрелись по лугам острова в поисках наносника для костров. Егор на бугре нашел гниловатую сухую осину, срубил ее и, развалив, по частям перетаскал к огню. Дым от гнилушек отгонял комаров, появившихся сразу, как только стал стихать ветер.

Когда стемнело, к стану подошли казаки и принесли с собой бутылку ханшина. Они ухаживали пьянствовать к переселенцам: с глаз долой от барина, который за попойки бранил их жестоко.

Егор не пил. Барабанов пригубил «для прилику». Кешка с Петрованом распили бутылку и порядочно захмелели.

Кешка стал рассказывать про Ивана Бердышова. Казак не впервые сопровождал переселенцев и любил похвастаться перед ними знанием здешних мест, жизни и людей. Слушать его собрались крестьяне от других костров. Пришли братья Бормотовы – Пахом и Тереха, низкорослый Тимофей Силин со своей женой Феклой. У балагана Кузнецовых развели большой огонь. Ветер колебал его пламя, обдавал всех сидевших подле едким густым дымом. На палках, воткнутых в землю, сушились одежда и обувь. Дед Кондрат, стоя над пламенем, поворачивал к нему то изнанкой, то верхом свой промокший насквозь армяк. Федор латал протершиеся ичиги. Егор делал шесты – очищал лыко с тальниковых жердей. Ребятишки в шалаше грызли сухари.

– Давно еще, – говорил Кешка, потягивая ганзу¹⁵, – когда Амур этот отыскали, Иван-то Бердышов у купца Степанова ходил на баркасе. Сплавлились они до Николаевска, по дороге с гольдами торговали, делали меновую. Как-то раз заехал он в Бельго. Стойбище это ниже Додьги верст на пятнадцать-двадцать. Вот торгош, которого мы сегодня встретили, он отшель же. Там у них самое гнездо торгошей... Ну а тогда-то, хоть и не шибко это давно было, но все же население там было поменьше, хотя китаец этот уж и тогда торговал. Тамока и встретил Бердышов одну гольдячку. Она была у этих гольдов шаманкой.

– Как же это так? – заговорил Тимоха Силин. – Разве девка бывает шаманкой?

– Как же, бывает, – небрежно ответил Кешка. – Еще как славно шаманят!

– Мы до Байкала видели этих шаманок и у бурят и у тунгусов, – заметил Тимошка, у которого подступало желание высказать все, что он сам знал о шаманстве. – Там более грешат этим старики. Верно, слышал я, что где-то была и старуха-шаманка, но не девка же.

– Шаманство это как на кого нападет. Кто попался на это дело, тот и шаман, – туманно объяснял Кешка. – Хоть девка, хоть парень – все равно. Ведь это редкость, кто шаманить-то может по-настоящему, – со строгостью вымолвил он, и заметно было, что Кешка сам с уважением относится к шаманству. – Ну а она, эта Анга, так ее гольды зовут, была первой

¹⁵ Ганза – медная монгольская или китайская курительная трубка.

шаманкой, хоть молодая и бойкая, а, сказывают, как зальется, замолится – гольдам-то уж любо, загляденье... Иван на русский лад Анной стал ее называть.

Ну, была она шаманкой – девка молодая, мужа нет, жениха нет, гольдов этих она чего-то не принимала. Сама была роду отличного от остальных гольдов. Отец ее, в первые годы, как отыскивали Амур, помогал плоты проводить, плавал на солдатских баржах, бывал в Николаевске, там научился говорить по-нашему. Он раньше чисто толмачил – не знаю, может, теперь стал забывать, – с ними это бывает, с гольдами: выучится по-нашему, а старик станет, все позабудет, так, мало-мало толмачит, с перескоком. Его сам Муравьев знал. Дед у нее тоже, сказывают, был знаменитый промеж гольдов, он и шаманство знал, и удалец был. Его потом убили: деревня на деревню гольды между собой дрались и застрелили его. Это давным-давно было.

Ну вот, значит, встретил Иван ее и встретил. Она, паря, шибко хороша собой была, да и сейчас еще на нее заглядишься... Иван познакомился с ней. Отец да она жили вдвоем, приняли его, угощали. Они, гольды-то, хлебосольные: как к ним заедешь, так они уж и не знают, чем бы попотчевать. Иван, паря, не будь плох, давай было с ней баловать, известное дело – мужик и мужик. Беда! – усмехнулся Кешка. – Молодой, кровь играт... Ну, она себя соблюдала, никак ему не далась. Она гордая была, ее там все слушали, все равно как мы попа... Ничего у него не вышло, и поплыл он своей дорогой. Ну, проводила она его и пригорюнилась. Запал он ей в голову. Плачет, шаманство свое забывает, бубен этот в руки не берет. А у Ивана-то, не сказывал я, – вспомнил Кешка, – осталась зазноба дома. Ведь вот какая лихота: у него зазноба, а он баловать вздумал... Сам-то он родом с Шилки, из мужиков, от нас неподалеку, где мы раньше, до переселения, жили, там их деревня. Сватался он к Токмакову. Шибко этот торгован у нас, по деревням, по Аргуни и Шилке славился. Дочка у него была Анюша, паря, не девка – облепила. Парнем-то Иван все ухлестывал за ней. А послал сватать, старик ему и сказывает: мол, так и так – отваливай... Иван-то после того, конечно, на Амур ушел, чтобы разбогатеть. «То ли, – говорит, – живу не бывать, то ли вернусь с деньгами и склоню старика». Свиделся он тайком с Анюшей перед отъездом, попрощался с ней и с первыми купцами уплыл в Николаевск. Своего товару прихватил, мелочь разную.

Ну, плывет, плывет... Где его хозяин пошлет на расторжку с гольдами, он и себе мехов наменяет. Он и в Бельго попал случайно. Купец послал его куда-то на лодке, а начался шторм, сумрак спустился, была высокая вода, его и потащило, да и вынесло на бельговскую косу. Утром он огляделся – гольды к нему приступают... Вот теперь я правильно рассказываю, – оговорился Кешка, – а то бы непонятно было, чуть не пропустил я главного-то. Гольды позвали его к себе, ну, тамока он и Анну встретил, и все так и пошло. Ну вот. Ничего у него с ней не вышло, а как приплыл баркас, Иван ушел на этом баркасе вниз по реке. Так дальше ехал, опять торговал, помаленьку набирал меха. В Николаевск привез целый мешок соболей, сбыл по сходной цене – он тогда с американцами выгодно сторговался, – набрал себе товару и сам, от купца отдельно, пошел по осени обратно. Как встал Амур, купил он себе нарту и пошел нартой на собаках. И вышла ему удача: по дороге опять наменял у гольдов меха. Ну, паря, все бы ничего, да за Горюном напали на него беглые солдаты – тогда их тут много из Николаевска удуло, – напали они на него и маленько не убили. Конечно, все меха отняли...

Замерзал он израненный. Наехали на него гольды, отвезли к себе в Бельго. Там его шаманка признала, взяла к себе. Они с отцом ходили за ним, лечили его своим средством. Ну вот, оздоровел он и грустит, взяла его тоска. Амурская тоска – это такая зараза, беда. Как возьмет – ни о чем думать не станешь, полезет тебе всякая блажь в башку, ну, морок – он и есть морок. Нищий он, нагой, Иван-то, куда пойдет? Дожил он до весны у гольдов. Лед пошел – плывут забайкальские земляки. Вышел он на берег. «Ну, Иван, – сказывают, – Анюша долго жить приказала. Ждала тебя, ждала – не дождалась». Анюша-то ушла из дому темной ночью на Шилку – да и в прорубь. Не захотела богатого казака... Сказывают, как Ванча наш услышал это, так и заплакал. Шаманка-то его жалеет, гладит по лицу, а у него по скулам текут слезыньки.

Эх, Амур, Амур! Сколько через него беды!.. – вздохнул Кешка. – Иван-то и остался у гольдов, стал жить с шаманкой, как с женой, она свое шаманство кинула. Стали они зверя вместе промышлять. Жил он, как гольд, своих русских сторонился. Потом архирей приезжал, окрестил Ангу, велел им кочевать на Додыгу. Говорил Бердышову: «Отделяйся, живи сам по себе, заводь скот, хозяйство, а то огольдячишься. А мы тебе еще русских крестьян привезем, церковь на Додыге построим». Ну, однако, он уже теперь перекочевал, Ванча-то...

– Эх, паря, и баба у него, адали¹⁶ малина, хоть и гольдячка, а красивая, – заключил Петрован рассказ Кешки. – Игривая, язва! Как взглянешь – зачумишься, – покосился он посоловевшими глазами на темно-русую и миловидную Наталью Кузнецову. – Купец Серебров какие деньги давал Ивану, чтобы привел ее на баркас.

– Не взял Иван, – заметил Кешка.

– Тут какую переселеночку дешевле сторговать можно, – продолжал Петрован.

Наталья поднялась и отошла от костра к шалашу. Крестьяне слушали Петрована молча и с явным неудовольствием.

– Баб-то нет на Амуре, не хватает. Привезут баржу с арестантками – так их солдаты разбирают, – продолжал казак. – А уж переселеночки-то другое дело... У нас на Шилке ли, на Среднем ли Амуре есть деревни, богатеют через баб, отстраиваются... Тракт-то идет зимний, господа едут, купцы...

– Я у вас в Забайкалье свадьбы видел, – заговорил Тимошка Силин, – так казаки калым за девок берут.

– Как же, это что казаки, что крестьяны – первая статья, – ответил Кешка. – У кого девок много, тот и богат. Замуж выдавать – с жениха калым.

– Это только разговор! – сказал Егор, не веривший, чтобы весь народ был такой. Ему казалось, что казаки хвалятся зря.

– Другой-то муж после с нее весь калым выверстает, – усмехнулся Петрован. – К купцу ее сведет на проезжую... Вот тебе и вся недолга!

– Жену-то! – воскликнула Наталья.

– А кого же? Что ж на нее глядеть, – пьяно усмехнулся Петрован.

– Будет врать-то! – сказал ему Кешка.

– Такого-то окаянного мужика топором зарубить! – с чувством сказала Наталья.

– Пошто ты его рубить будешь? Он не кедра тебе. Или на Кару¹⁷ захотела? Там тебя надзиратель не спросит, хочешь ты али нет спать с ним... – с обидой в голосе проговорил Петрован. – А муж-то для тебя же старается...

Петрован умолк, но в глаза никому не глядел.

Все молчали.

– Попутный потянул, однако, завтра будем на Додыге, – поднялся Кешка. – Пойти к себе, – зевнул он, – спать уж пора.

Вдали белели палатки, ветер доносил оттуда запах жареного мяса.

Казаки, распрощавшись с переселенцами, удалялись в отблесках костра.

– Накачал его в лодке-то, на земле не стоит, – кивнул Тереха Бормотов на захмелевшего, шатавшегося Петрована.

– Ну и Петрован!.. – вымолвила Наталья.

– Кешка-то поумней и поласковей его, – отозвался дед. – Вовремя его увел, а то твой-то чуть было не осерчал.

– Кабы не барин, я бы ему наляпал по бесстыжей-то роже, – сказал Егор, – знал бы, какие тут переселеночки...

¹⁶ Адали – как, словно (забайкальский говор).

¹⁷ Кара – Карийская каторжная тюрьма.

День я му-учусь, ночь страда-аю и споко-о-ою не найду-у, —

вдруг тонко и пронзительно запел где-то в темноте Кешка.

– Вот барин-то услышит, он те даст!.. – поднимаясь, добродушно вымолвил Кондрат и, сняв с сука просохший армяк, стал надевать его, осматриваясь, как в обновке.

Я не подлый, я не мерзкий, а раз-уд-далый ма-аладец! —

еще тоньше Кешки подхватил Петрован.

– Тянут, как китайцы, – улынувшись, покачала головой Наталья, выглядывая из-под полога, где она укладывала ребятшек.

Перемокли, передрогли от амурцкого дождя-я-я, —

вкладывая в песню и тоску и жалость, вместе нестройно проголосили казаки.

Отыш-шите мне милую, расскажите страсть ма-ю...

– Ну и жиганы!.. – засмеялся дед, хлопая себя ладонью по ляжкам.

Егор уж не сердился. «Жизнь их собачья! – подумал он. – На Каме тоже зимой тракт. До продажи жен там не доходили, но из-за денег много было греха, и разврат кое-где заводится от городской жизни, – люди идут на все, лишь бы нажиться. А тут, видно, нрав людской еще жестче».

Егор подумал, что старосел на Додыге – птица одного полета с этими казаками, надо будет с ним ухо держать востро. Тут он вспомнил оружейника Маркела Хабарова, который остался на устье Уссури. У того были другие разговоры и рассказы про другое...

Глава шестая

На другой день погода установилась. С утра дул попутный ветер, и плоты шли под парусами. К полудню ветер стих, но казаки ручались, что если навалиться на гребни, то к вечеру караван достигнет Додыги.

Был жаркий, гнетущий день. Солнце нещадно палило гребцов, обжигая до пузырей их лица и руки. Зной перебелил плахи на плотях и так нагрел их, что они жгли голые ноги.

Жар навис над водой, не давая подняться прохлады. Река как бы обессилела и, подавленная, затихла. По ней, не мутя глади, плыли навстречу каравану травянистые густо-зеленые луга-острова. Высокий и строгий колосистый вейник¹⁸, как рослая зеленая рожь, стоял над низкими глинистыми обрывами, и воды ясно, до единого колоса, отражали его прохладную тень.

Было непривычно тихо. Казалось, жар горячими волнами набегал на лица гребцов, словно в неподвижном воздухе бушевала невидимая буря. Еще жарче стало, когда казаки подвели караван под утесистый берег. Зной, отражаясь от нагретых скал, томил людей двойной силой.

– Экое пекло! – жаловался, обливаясь потом, сидевший у огромного весла, почерневший от жары Барабанов. – Сгоришь живьем...

– Нырни в воду – полегчает! – шутил Кешка.

С травянистых островов на плоты налетело множество гнуса. Зудели комары, носились черные мушки, поблескивавшие слепни как бы неподвижно висели над плотами, намечая себе жертвы. Колючие усатые жучки больно ударялись с разлета в лица гребцов, гнус изъедал босые

¹⁸ Вейник – растение семейства злаковых, сходное с тростником.

ноги, впивался в старые расчески. Мошка роями вилась около коротких, севших от стирок порток.

Время от времени Егор, бросив весло, хлопал себя ладонью по голым потным ногам, оставляя багрово-грязные потеки.

Мошки кругом было великое множество. В жару она стояла над плотами черной пылью, а к вечеру над протоками меж лугов слеталась зеленым туманом, на который глядеть было тошно. В зной она не жалила так жестоко, как слепни, но зато набивалась в уши, в рот, в глаза. Едва же подымалась вечерняя сырость, как мошка с жадностью изъедала на людях всякое неприкрытое место.

Чтобы спастись от гнуса, обматывали лица и головы тряпьем и платками. Дети укрывались под обширными пологам. На всех плотках дымились костры-дымокуры, сложенные из гнилушек. Слабая синь расстилалась над рекой от каравана.

Греби рвали воду, шесты лязгали о гальку, сопка за сопкой уплывали назад, дикие ржавые утесы становились все круче и выше, нагоняя тоску на мужиков. Вдруг течение с силой подхватило плоты. Каменный берег, выдавшийся далеко в реку и как бы заступивший путь в новую страну, быстро поплыл вправо, и взору переселенцев представилась обширная, как морской залив, речная излучина.

Река достигла тут ширины, еще не виданной переселенцами. Байкал они переходили по льду, а зимой он выглядит заснеженной степью. Сибирские реки в тех местах, где их переплывали переселенцы, ни в какое сравнение с Амуром не шли и еще под Хабаровкой померкли в их памяти.

Далеко-далеко, за прохладным простором ярко-синей плещущейся воды, над зелеными горбовинами левобережья, как замершие волны, стояли голубые хребты.

Легкий ветер засвежил запаленных гребцов, погнал комарье и мошку от их красных лиц. Из-под пологов на ветерок выползли ребятишки. На носу головной лодки показался барин.

– Во-он додгинская-то релка обозначилась, видать ее! – оборачиваясь к плотам, крикнул Петрован с лодки, указывая на холмы.

У кого из переселенцев в этот миг не дрогнуло и не забилося чаще сердце? Вот и конец пути! Близка новая жизнь, и новая судьба так близка, что даже страшно стало, словно эта неизвестная судьба сама по себе жила на Додге и поджидала переселенцев. До этого мига будущее все еще было где-то, а где – неведомо. Без малого два года шли люди и верили в будущее, представляя его счастливым, но далеким-далеким, до того самого мига, когда Петрован нашел Додгу за поймой и махнул на нее своим красным рукавом.

Все стали вглядываться в додгинскую релку, словно старались увидеть там что-то особенное. Но ничего, кроме леса, там не было видно.

Странно как-то стало Егору, что привычная дорога оканчивалась. Ему представилось, что завтра уж некуда будет ехать, и что-то жаль стало дорожной жизни.

Всю дорогу Егор так верил, что на заветной новой земле его ожидает что-то отменно хорошее, что сейчас даже растерялся. Вера в будущее провела Егора и через черную Барабу, и через забайкальские хребты. Он мог бы еще долгие годы брести, голодный и оборванный, ожидая, что когда-нибудь найдет ладную землицу и привольную жизнь.

И вот, завидя додгинскую лесистую релку, он понял, что теперь надеяться больше не на что, кроме как на самого себя. Сама эта Додга показалась ему на миг чем то совсем ненужным, чем-то напрасно нарушающим мерный ход его трудовой дорожной жизни.

– Переваливай! – вдруг неожиданно резко и громко крикнул Кешка.

Все налегли на весла. Течение и греби повлекли плоты через реку.

– Бабы, пособляй! – Наталья подбежала к запасным веслам, в голосе ее чувствовалось веселое пробуждение от дорожной тоски.

– Веселей, бабы, мужики, подъезжаем! – покрикивал Петрован.

Грозный каменный берег сдвигался вправо. Над его утесами глянула курчавая зелень склонов, а за ней, в отдалении, как сизая туча, всплыл лесистый гребень хребта.

Навстречу плыла поемная луговая сторона. Ветер доносил оттуда вечерние запахи травы и цветов. Дикie утки вздымались над островами и, тревожно хлопая крыльями, проносились над караваном.

– Эвон дымок-то... Что это? – воскликнул Федюшка. – Никак, люди живут?

За тальниками на пойме что-то курилось. Все вопрошающе взглянули на Кешку.

– Там озеро Мылки, – заговорил казак. – При озере на высоких релках гольды живут, а тут кругом место не годится никуда: болото и болото. Как прибудет Амур, все эти луга затопляет, пароходу до тех самых гор ходить можно, только колеса береги, за талины не задевай... Да вас-то тут не станут селить: ваше место вон, подальше: там релка высокая, на ней тайга и тайга, – поспешил он успокоить мужиков, видя, что они стали растерянно озиаться по сторонам. – Есть там и бугровые острова, на них пахать можно, никакая вода туда не достигнет.

Солнце клонилось к закату. Жара спадала. Горы теряли свои обычные очертания и расплывались синевы. Река ожила, она вся была в подвижных пятнистых бликах, похожих на рыбью чешую, и от игры их казалась набухшей; свет, отражаясь, переполнил ее, и казалось, что бухнет, прибывает вода. Над займищем появились перистые облака. Закат золотил их, ласкал и кудрявил, и они походили на пенистые волны, забегающие на песчаную черту приплеска в ясный полдень при свежем ветре.

Плоты приближались к поемному берегу. Белобрюхие кулики, попискивая, вылетали из мокрых травянистых зарослей и с криками кружились над плотами.

Барин стрелял влет утку. Дробь хлестнула по утиным крыльям и, булькая, рассыпалась по воде. Птица несколько мгновений продолжала лететь и вдруг пала на крыло и камнем рухнула в воду. Тотчас же Федюшка разделся, закрутил на смуглой шее веревочку с медным нателным крестиком и бултыхнулся за уткой. Барин платил ребятам за добытую из воды дичь, и они в оба смотрели, когда он станет палить. Парнишка вскоре подплыл обратно и выбросил на плот пестрого селезня.

На занесенных илом островах виднелись толпы высоких голенастых тальников. В их вершинах, зацепившись рассошинами и корнями за обломленные сучья, висели сухие бескорые деревья.

– Тятя, а как же туда лесины попали? – спрашивал Барабанова сын его, темнолицый и коренастый, похожий на мать подросток Санка.

– Это вода такая здоровая была, наноснику натащила, будто кто швырял лесинами в тальники, – ответил за Федора кормовой.

Все посмотрели на вершины прибрежного леса.

– Неужто вода такая высокая бывает? – удивился Барабанов.

– А то как же... Бывает, паря! Тут, на низу, страсть какая вода подымается, – подтвердил Кешка. – Этих талин-то и не видать, как разойдется он, бабушка. Вода спадет – ты и местности не узнаешь. Где был остров, другой раз ничего не станет – смоем начисто, унесет хоть с лесом вместе, а где ничего не было – илу навалит, коряги нанесет, наноснику натащит, поверх еще илу – гляди, и новый остров готов. На другой год на нем уж лозняк пойдет, трава – остров корнями укрепляться станет. А то, бывает, в тот же год натащит деревьев живых, кустов, они на этом острове корни пустят, примутся. Начальство приедет, топографов привезет, глядит по карте. Что, мол, такое? Съемщики пьяные были, ленились, как же сымали остров, а он не там! Сымут карту сами, хвалятся: дескать, теперь верно. На другой год пароходы пойдут, так-сяк, опять не там остров! Потом привыкли... Теперь знают.

На белом прибрежном песке под тальником ходил выводок куличат. К ним прилетел большой кулик и стал кланяться, тыча долгим носом в песок. Пока барин в него целился, кулик улетел.

В тальниковом лесу открылась протока, ровная и прямая, как просека, залитая водой. В отдалении она расширялась.

– Вот и вход в озеро, – заметил Кешка, кивнув головой в ту сторону, – в самые Мылки. А вон луга на мысу. Гляди, сено стоит. Это об вас начальство позаботилось. Солдаты жили – накосили.

Минуя устье протоки, караван обогнул последние тальники на мысу и приблизился к увалу. Впереди стал виден высокий холм, падавший в реку крутыми желтыми обрывами.

– Вот она, додгинская релочка, – сказал Кешка. – А там подальше, за бугром, прошла протока в Додгинское озеро. Это релка меж двух озер: сверху – Додга, снизу – Мылки. Там как голова, – показал казак на холм, – а сюда, пониже, как хвост протянулся.

Плоты тихо плыли вдоль обрыва. Опутанный множеством корней, этот обрыв походил на переломанный или растрескавшийся от времени плетень у земляного вала старой крепости. Переселенцы, волнуясь, но сосредоточенно и молча осматривали место, выдавая свои чувства лишь нетерпеливыми толчками. Было тихо. Только шесты лязгали об дно, вороша звонкую гальку.

Над прибрежным лесом на вершине сухой ели хрипло ворковал дикий голубь.

– Тимошка, – вдруг воскликнул Петрован, нарушая всеобщее молчание, – это, однако, с тобой здешние птицы здороваются! Давай, мол, знакомиться.

Силин задрал голову, но не нашел нужным возразить казаку.

Дикий голубь вспорхнул и улетел. Над лесом парил коршун. Последние лучи солнца облили его оперение алым светом. Сгорбившись и вытянув лапы, он повис в воздухе подле вершины той же ели, с которой только что улетел голубь, и мягко опустился на бескорый розовый сук, складывая крылья.

Все невольно посмотрели вверх. Взрослые как бы безразлично, а мальчишки со злом.

– Гляди, ребята! Курят утащит, – сказал им дед.

Куры у переселенцев были с собой на плотках в решетчатых ящиках.

На носу лодки барин что-то говорил, обращаясь к казакам и указывая на берег.

– Привалива-ай! – раскатилась по реке команда Петрована.

Дружно опустили шесты. В последний раз зазвенела по дну галька, плоты зашуршали о песок. Гнус слетался к каравану. Знакомый зеленоватый туман загустел над бережком.

– Ну, в добрый час, господи, благослови, – пробормотал Егор и с колом под мышкой перешагнул с плота на мокрую косу.

От его босых ступней на песке оставались пальчатые следы. Вода, пузырясь, сочилась в них. Под обрывом Егор стал вбивать в землю кол. Тем временем Кешка, сойдя с парома, разглядел неподалеку свежие медвежьи следы. Мужики столпились и стали их рассматривать, как будто это для них было сейчас важным делом. Оттиски звериных лап смахивали на отпечатки человеческих ног.

– Ступня, пальцы, адали Егор прошел, – пошутил Кешка. – Недавно же тут зверь был. Еще воды до краев в след не натекло. Косолапый где-то неподалеку гуляет, однако, в малинниках лакомится или до своей ягоды добрался, – певуче и любовно говорил Кешка про медведя, как про закадычного друга. – Со сладкого-то ему пить захотелось, он к реке и выходил.

– Слышь, Иннокентий, ты уж сруководствуй, пособи сыскать здешнего человека – Бердышова-то, – озабоченно проговорил помрачневший Федор.

– Иван-то Карпыч был бы дома, он бы уж обязательно вышел на берег, – ответил казак, разгибаясь. – Да и мишка бы тут не ходил. Ну да уж ладно, я схожу разузнаю. Барин до него тоже шибко антирес имеет.

Казак сходил на плот, взял ружье и пошел по отмелям под обрывом.

– Ну что, Кондратыч, приехали, – обратился Барабанов к Егору, и голос его осекся.

Кузнецов глянул на Федора: глаза того жалко сузились, словно он собирался заплакать.

Егору тоже было не по себе. «Пристали к пескам, а наверх не взойти, – подумал он. – Тайга да комары».

– Полезем наверх, поглядим, – хмурясь, сказал он Федору.

– Что же делать-то? – растерянно отозвался тот. – Видать, нам больше ничего не остается.

Он усмехнулся горько и зло, глядя куда-то как бы сквозь Егора.

– Пойдем, брат, – для ободрения Кузнецов ткнул его кулаком под бок. – Лесину хоть срубим, а то пристали, где дров нету.

Действительно, плавникового леса поблизости было мало. Весь наносник остался выше. На ночь следовало запастись дровами.

Егор и Федор обулись в кожаные бродни и, цепляясь за корни и кустарники, полезли вверх по глинистому рыхлому обрыву и с треском стали продираться по тайге. Следом за ними взобрались остальные мужики и парни.

На реке с заходом солнца посвежело, но в чаще стояла влажная духота, пропитанная лесной прелью. Было сумрачно. Под мхами хлопала вода. Осины, лиственницы и березы росли близко друг к другу. Старая ель, обхвата в четыре толщиной, сверху обломленная и расщепленная, словно с нее тесали лучину, внизу, у толстых обнаженных корней, зияла черными дуплами. Пенек, гнилой и желтый, изъеденный муравьями, был разворочен медведем. Какая-то большая птица испуганно шарахнулась с ветвей и, шумно хлопая крыльями, улетела в лес, задевая за густую листву. Из буйной поросли папоротников и колючих кустарников вздымались корни буревала с налипшим на них слоем мочковатого перегноя. Роилась мошка, вздымаясь из раздвигаемых трав.

Егор полез через валежины и, вынув из-за пояса топор, подошел к тонкой сухостойной елке – прямой и бескорой, как столб. Он обтопал траву вокруг и стал рубить дерево. К нему, прыгая через буревал, подбежал Илюшка Бормотов, Пахомов сынишка. Это был неутомимый, бойкий парень, чуть постарше Федюшки Кузнецова. Он мог день-деньской ворочать гребни, толкаться шестом, а вечером на стану его доставало затевать борьбу, плавать через протоки, ловить птиц. По утрам, поднимаясь раньше других, он шатался по тайге, свистел по-бурундучьи и, подманивая к себе зверьков, бил их. Где и когда приглядел он это, было неведомо.

Проплывая по Среднему Амуру, Илюшка сдружился с солдатами-сплавщиками. Народ это был как на подбор, головорезы. Иногда они собирались по несколько человек, добывать себе харчи – попросту говоря, обворовывать огороды в прибрежных китайских деревнях или у казаков – и брали с собой разведчиком Илюшку.

Однажды, еще в Забайкалье, Илья украл у бурят барана из стада. Отец его избил и барана вернул. За Хабаровкой Илья угнал у гольдов лодку. Как ни строг был Пахом, но за эту кражу он страдал сына не от сердца, потому что лодка была тут нужна до зарезу. Пахом, хотя и не умел ездить в лодке, понимал, что без нее на Амуре как без коня. Он не стал на этот раз драть сына, хотя для порядка все же немного попугал его.

Парень был смугл, под густыми темными бровями глубоко сидели глаза, скулы торчали, как скобы, – все это придавало его лицу выражение жестокости, весь он был какой-то темный и колючий. Неразговорчивый с детства, он был охотник до всякого дела. Воровал он, заведомо зная, что отец его приберет, и делал это не от нужды, а от избытка сил и из удалства, не ведая еще, какие иные забавы, кроме драк и озорства, заведены для мужиков на белом свете.

Подбежав к Егору, Илюшка стал подсоблять ему и быстро заработал топором. Вскоре раздался треск, и елка повалилась. Егор, Илюшка и Федор живо развалили сухое дерево на части и стали сбрасывать его под обрыв.

Пока мужики были в лесу, на реку спустилась вечерняя синь. На другом берегу не стало видно ни леса, ни утесов, ни горелых полысей на горах. Сопки расплылись и приняли неясные очертания. Облака, плоские и длинные, подобно косам и островам, раскинулись по небу, как по бескрайней и печальной озерной стране. Не было никакой возможности различить, где тут

река и где небо, где настоящие острова и где облака. Казалось, что весь видимый мир – это Амур, широко разлившийся и затихший в трепетном сиянии тысячами протоков, рукавов, озер и болотистых берегов.

Мужики молча покурили, сидя на поваленном бурей дереве, грустно подивились на чудесную реку и полезли вниз.

– Место высокое, – вымолвил Егор, сойдя с кручи.

Это было все, что он мог сказать в утешение себе и Федору.

– Дай бог!.. – глухо отозвался Барабанов.

Егор раньше времени не захотел загадывать. Будущее представлялось ему сплошной вереницей забот, подступивших с приездом на Додьгу вплотную. Сейчас же голод и усталость так давали себя знать, как, кажется, ни разу еще за все два года пути, и думать ни о чем Егору не хотелось. Он подошел к костру. Вокруг пламени толпился народ. Вернулся Кешка. Он сидел на корточках подле самого огня, окуная голову в дым, чтобы не заедали комары, тянул ганзу и что-то рассказывал мужикам.

– Сыскал я Иваново зимовье, – заговорил он, заметив Егора и обращаясь к нему. – Построился он неподалеку отсюда, в распадке. Избу поставил с полом и с полатями, печку сбил. Никого там нет, только висит юкола на стропилах, а сам-то он в тайге, видно.

– Кабы его покликать, – просил Тереха Бормотов, Илюшкин дядя, осьмивершковый детина с бородой-лопатой во всю грудь.

– Не услышит, хоть стреляй. Он где-нибудь сохатого промышляет. Может, тайгу чистить начнете, застучите топорами, он учует – выйдет.

Казак недолго посидел с мужиками. Кто-то окликнул его, и Кешка ушел по направлению к палатке.

Егор кое-как пожевал солдатских сухарей и вяленой рыбы. Глаза его слипались, и он завалился под полог подле ребятишек. Наталья что-то говорила ему, всхлипывая. Но веки у Егора отяжелели, руки, ноги отнялись от усталости, и он не стал ее слушать. «Пришлось бы сегодня проплыть дальше, силушки бы не стало поднять весло», – подумал он, засыпая.

Близко в лесу прозвенела полночица. Под стук ее Наталье чудился зеленый луг на займище над Камой и табун коней, позванивающих где-то в отдалении боталами.

Глава седьмая

Рассвет. Заря горит, и все небо в тончайших нежно-розовых и палевых перистых облаках. Сквозь них видно ясное небо. Прохладно. Из-под тальников тянется серебряная от росы трава.

Звонко кукует кукушка. Кудачет курица на плоту в бабкином курятнике. Река курится туманом. Лес в волнистом тумане, словно колдуны окутали его седыми бородами. Дальние сопки порозовели. Из-за хребта глянуло солнце и полило лучи через лес и реку на желтую отмель, освещая стан переселенцев, как грудю наносника, выброшенного рекой за ночь.

Долговязый парень в казачьих штанах пробежал по стану, созывая переселенцев на осмотр местности. Крестьяне полезли из-под мокрых пологов. Женщины раздували в тепле огнищ угли. Ребятишки натаскали хвороста. Весело затрещали костры, повалил дым.

Бойко на весь лес заливается кукушка. Звонко и чисто раздается ее кукование в холодной и торжественной тишине утра.

«Долго ли проживем на этом месте?» – загадывает Наталья, стоя на камне и умываясь прозрачной утренней водой. Птица чуть было не смолкла, словно поперхнулась, но тут же, встрепенувшись, закуковала чаще и веселей, словно дерзко подшутила над Натальей и сразу же поспешила ее утешить.

«Не знай, как понять: видно, что первый год тяжело будет, а дальше проживем, что ли... – неуверенно истолковала Наталья кукушкину ворожбу. – Господи, да так ли? – вдруг со страхом

подумала она, подымаясь и вытирая лицо. – Где жить-то станем?» Она оглядела темный лес и реку, несущуюся из тумана.

А кукушка все куковала.

Мужики, вооружившись топорами, собирались к палатке барина. Петр Кузьмич Барсуков был молодой сибиряк, года три тому назад окончивший университет в столице и уже успевший там порядочно поотвыкнуть от своей суровой родины. Недавно его перевели из Иркутска в Николаевск на устье Амура, в распоряжение губернатора Приморской области.

В это утро Барсуков испытывал такое чувство, как будто его отпускали из неволи. Наконец-то он водворит на место последнюю партию переселенцев и сможет подняться в Хабаровку, а оттуда отправиться в Николаевск. Скитания по реке надоели ему.

Несмотря на привычку к путешествиям по тайге и по рекам, тоска, особенно за последние дни, давала себя знать. Эта была та странная, внезапно охватывающая человека тоска, которой подвержены почти все, преимущественно молодые, путешественники по тайге. Он знал случаи, когда точно в таком состоянии, какое было сейчас у него, приезжие из российских губерний, военные и чиновники, спивались, либо теряли рассудок, либо кончали жизнь самоубийством. Никакие красоты природы, никакое изобилие дичи, до которой обычно Петр Кузьмич был большой охотник, не могли более развлечь его. Пока шли дожди, он еще кое-как терпел эту тоску и одиночество, но, когда началась жара, от которой стгорала кожа, трескались губы и, казалось, таял мозг, терпения его не стало. На ум то и дело приходила семья и все домашнее. Он побуждал себя изучать неведомую и интересную жизнь на Амуре, расспрашивал бывалых казаков, постреливал из ружья, рисовал в альбом и писал дневник, но делал это все единственно потому, что знал – так надо делать, чтобы окончательно не раскиснуть. Но ему очевидно было, что наездился он в это лето досыта и пора возвращаться в Николаевск.

Однако, прежде чем плыть домой, он должен был побывать в Хабаровке, чтобы встретиться с другими чиновниками и выполнить кой-какие формальности. Только по окончании всех этих дел он мог плыть пароходом на устье.

Одна мысль долбила его мозг: поскорей водворить переселенцев – и домой. «Но как подумаешь, – размышлял он, – сколько еще придется отмахать вверх на шестах, а потом снова вниз, то жутко становится. Да еще неизвестно, когда будут в Хабаровке пароходы».

Ночь Барсуков спал плохо. Детишки, которых он этой весной перевез вместе с женой из Иркутска, не выходили у него из головы. С думами о доме поднялся он, как только чуть забрезжил рассвет, и, едва глянуло солнце, велел казаку идти на стан, будить переселенцев и созывать их к палатке.

– С добрым утром, мужики! – встретил их чиновник.

– Благодарствуем, батюшка! И тебе веселый денек! – кланялись мужики, ломая шапки и обнажая длинноволосые головы.

Барсуков предложил подняться на высокий лесистый бугор, видневшийся в версте от стана, и осмотреть местность. Река, широкая напротив отмели, где стояли плоты, резко, крутым клином сужалась к бугру, который выступал в воду мысом. Бугор был высок, с него, верно, хорошо видны окрестности.

– Что ж, пройтись можно, – согласились мужики.

Толпа, давая ракушки, бодро двинулась по отмелям следом за Кешкой, взявшимся провоничать, обходила заливчики, которые то сужались, то расширялись, образуя чередующиеся песчаные косы.

– Вот где рыбачить-то, красота! – проговорил Кешка, перебрывая заливы в своих высоких ичигах. – На косах-то неводить без задёва.

Недалеко от бугра, там, где за тальниками торчали кочки и буйно росла осока, открылся распадок между релкой и бугром. Пологие склоны его были порублены. Меж пеньков видне-

лась бревенчатая, крытая корой избенка. За ней торчал крытый жердями и берестой свайный амбарчик. Поодаль густо, сплошной чащей, росли березы и лиственницы.

– Иваново зимовье, – сказал Петрован. – Зайдем, что ль, ваше благородие?

– Пожалуй, зайдем, – согласился Петр Кузьмич.

– Айда, мужики! – повеселел Федор. – Поглядим, как тут люди живут.

Петрован открыл ставень, отвалил кол, и толпа полезла в дверь.

В избе было сыро и темно. В единственное оконце Бердышов вместо стекла вставил пузырь в крепком решетнике, чтобы зверь не залез в избу, когда ставень открыт. Обширная небеленая печь занимала добрую половину избы. Под потолком налажены были полати. У стены тянулись нары, устланные шкурами. По стенам висела одежда и кожаная обувь, на полках виднелась туземная расписная утварь из бересты и луба. Со стропил свешивались связки сушеной рыбы и звериные шкуры.

Мужики молча оглядывали жилье.

– Оставляет добычу, не боится, – заметил Барабанов.

– Кто в тайге тронет! – отозвался Иннокентий. – Но соболей-то не оставит, хорошую шкуру, конечно, прячет.

– А где прячет-то? – с живостью спросил Федор.

– Где!.. – передразнил его казак. – Мало ли где, это уж он знает.

– Топор, пилу имеет, а настоящего старания нет, – заключил Егор, осмотрев избу.

Барин вскоре вышел наружу. За ним выбрались из избы и мужики, почитавшие неудобным торчать там без хозяина.

– Жаль, что Бердышов в отлучке, – сказал чиновник, обращаясь к переселенцам. – Он был бы полезен для вашего брата. Он и сам давно поговаривал, чтобы сюда населили русских.

– Уживемся ли с ним? – спрашивали мужики.

– Да нет вам никакого смысла с ним ссориться, да и не из-за чего.

– Мы-то конечно, да как он... – отозвались крестьяне, помня рассказы казаков о том, что по здешнему обычаю староселу за приселение надо заплатить или отработать на него.

– Я же говорю, ему давно хочется жить со своими. Делить вам тут нечего будет. Тайга велика, на всех хватит. Да и он как будто ладный мужик.

Казаки снова подперли дверь колом и закрыли ставень, барин сделал какие-то пометки в записной книжке, и толпа стала подыматься. Разводя руками густой зеленый орешник и молодую поросль кленов, разрубая топорами какие-то цепкие колючие кустарники, перевитые ползучими растениями, мужики кое-как взобрались на бугор.

Вершина бугра была обширна, поросла молодым лесом, кое-где виднелись старые сломы от выгоревших и поваленных ветрами деревьев.

Барин поднялся на гряду гниющего, трухлявого буревого, укрепившись, стал осматривать окрестность в подзорную трубу. Мужики тоже полезли на валежины. Перед ними открылся обширный вид. Могучая река, изгибаясь, разлилась по долине. Один из широких и прямых рукавов ее тек со стороны к главному руслу, пробивая брешь в поемном берегу, и вдали сливался с небом.

– Эх и река! – удивился Тимошка. – Вон там и берега не видать.

– Наискось верст двадцать будет, – подтвердил Кешка. – А на низу еще шире бывает.

– Эвон и леса залила. А протоки-то, острова-то, как лоскутья нарезаны...

Прямо, напротив бугра, за рекой на утесах стоял частый еловый лес. На этой стороне реки внизу, на песках, дымились костры стана и, как букашки у кучи мусора, копошились люди меж плотов и балаганов. Вдоль реки от холма тянулась додгинская релка, куда, собственно, и поселяли крестьян. По релке рос густой смешанный лес. Ближе к падям и заливам курчавилось чернолесье, высились ясени и тополя, дальше шел красный лес, взмахивали к небу огромными

ветвями редкие кедры. Близ стана и до самого распада с бердышевской избой релка поросла березой, осиною, елью и высокими лиственницами.

– Вон и Мылки видать, – сказал Петрован, показывая на обширное озеро, залившееся в тайгу верстах в трех выше стана.

– Я давно собираюсь заглянуть в эти Мылки, – проговорил Петр Кузьмич, направляя трубу на дальние холмы. – Говорят, там была усадьба и жил маньчжурский нойон.

– Никак нет, ваше благородие! В Мылках, на нашей памяти, одни только гольды жили. Маньчжурцы эвон где, на той стороне жили – вернее сказать, иногда наезжали, останавливались напротив этой Мылки, вон, глядите-ка, между гор вроде заливчик и тальники. Это горло в озеро, озеро называется Пиван, вернее сказать, так называется остров и протока за ним, а озеро гольды как-то по-другому называют. На этом Пиване, неподалеку от устья, была городьба, у них была усадьба. Маньчжурцы приплывали сюда и собирали ясак с гольдов. Это я видел, как они плавают на больших лодках. Каждый год ярмарку открывали, торговали с гольдами, гиляками¹⁹, которых, бывало, догола оберут, обыграют в карты. Тут всякого жулья наезжало. Хватало всего! Как первые-то разы мы с Николай Николаевичем проходили, все это видели. А потом Амур к нам вернулся, маньчжурцы все собрались и пошли домой. Однако решили, что не продержатся; только кто по деревням торговал, те еще остались и сейчас торгуют. Правда, говорят, что один нойон до сих пор сюда ездит тайком и все еще обирает гольдов, но он уж на Пиване не останавливается, а прячется по деревням. А там фанзы и городьба от них остались, и теперь еще колья забиты; если плыть мимо, так с реки видно.

– Не думаю я, чтобы нойоны сюда ездили, – задумчиво возразил барин. – Пограничная полиция знала бы.

– Откуда ей знать! Разве тут усмотришь? Я вам верно говорю.

Барин снова что-то записал в свою книжку.

– Ну а что же теперь на этом Пиване? – обратился он к казакам, слезая с гнилого ствола.

– Теперь-то уж все кинули то место, никто там не живет, разве гольды когда-нибудь на озеро рыбачить наезжают. Да неужто вы ни разу не были ни в Мылках, ни на Пиване? Да разве не вы назначали места для переселенцев?

– Нет. Это еще до меня были другие чиновники.

– Мылкинские-то одно время на реку с озера выселялись, да как пароходы стали ходить, они чего-то испугались и ушли к себе на озерца. Гольды-то, ведь они так понимают, что в этом пароходу черт сидит и колеса вертит. Дальше-то вон идут озера, они туда и перешли. Озерцо за озерцом так и тянутся, как бусинки, да протоки, почитай, верст на двадцать-тридцать, до самых хребтов. Там рыбы этой!.. Как вода спадет на лугах, как пересохнут протоки – собирай ее руками. А где не возьмешь – лужа высохнет, рыба гниет грудями, птиц налетит тьма. Их пугнешь – аж небо как овчиной накроет. Вон луга-то мокрые блестят промеж лозняков, тут и озерца; гольды там при них и привились, как пчелки.

– Вода да болота, – качали мужики бородами, оглядывая окрестности.

– Кабы, ваше благородие, на Бурее-то нас населили. Вот уж там земелька! – уныло пробурчал Федор.

– Земельку-то, ее, матушку, и везде по`том польешь, покуда расчистишь, – возразил Петрован. – Или, думаешь, на Бурее пашни тебе приготовлены, дожидаются? Тоже лес рубить надо, а где луга, так и вода заходит. На островах-то и тут хоть нынче пахать можно. Вон, гляди, бугровой остров тянется, пошто ему пропадать? Делай плот, станови на него коня да соху и сплавайся туда. Балаган наладишь, да и вали попахивай! Прошлый год высокая вода была, а теперь года два можно не сомневаться: не затопит этот остров; а что кругом мокро, так то сверху кажется.

¹⁹ Гиляки – так до революции называли нивхов.

– А гляди теперь в эту сторону, – вмешался в разговор Кешка, – туда пошли зверятники, там и лось ходит, и кабан, лиса, рысь, соболь, паря, и тигра бывает – хватает всего! Рысь тут харающая, голубая, пятнистая. Всех народов зверь есть.

– Тигру шибко не бойся, она русского не трогает, – подхватил Петрован. – Ты встретишь ее, сам не трогай, и она, если не голодная, уйдет, как человека с ружьем увидит.

– С гольдами завести кумовство – тут князьями зажить можно, – вдруг заговорил долговязый казак Дементий, по прозванию Каланча.

– Кабы торгованов сюда населить, они бы раздули кадило, – согласился Петрован. – Тут бы зацаревали...

Кешка провел мужиков по кустарникам к западному склону бугра. Из-за елей блесло озеро. Бурная горная река падала в него из долины. Шум ее на перекатах слышен был явственно, словно там бурлили мельничные колеса.

Озеро протокой соединялось с рекой. За Додьгой и далее во все стороны тянулись леса, исчезающие во мгlistой синеве и туманах.

– Вон и самая Додьга пала в озеро. Рыбы там по осени, когда красная пойдет, полно, как у рыбака в корчаге. Лодкам мешают ходить. Городи эту Додьгу и хватай рыбу, кто чем сумеет.

Барин велел казакам провести себя по зарослям вниз, к озеру. Переселенцы последовали за ним. У подножия бугра рос пышный лиственный лес. Ветвистые тополя, толстые, как башни, громадные белокорые ильмы, осины, ясени сплелись густой листвой в сплошной шатровый навес.

Кешка, остановившись в высоких папоротниках подле какого-то стройного дерева с перистой светло-зеленой листвой, вынул нож из кожаных ножен и стал легко резать серебристую морщинистую кору.

– Поди-ка, Кондратьич, – подозвал он Егора. – Глянь, однако, такого дерева нет у вас на Руси.

– Не знаю, что за дерево. Пожалуй, что и верно, такое-то не растет у нас. Кора мякенькая, как бархат, – погладил Егор ладонью ствол.

Мужики столпились вокруг и не могли понять, что это за дерево.

– Э-э, братцы, да ведь это пробка! – заметил Егор, колупнув кору ногтем.

– Это шибко хорошее дерево, – подтвердил казак, снимая срезанный пласт коры и обнажая слой желто-зеленой маслянистой заболони.

– С этой коры первейшие балберы²⁰ на невода и на сетки ладят. Гольды это дерево берегут, зря не рубят. И вам тут жить – его знать надо.

Подошел барин. Кешка показал ему срезанную кору.

– Вот, ваше благородие, интересовались вы пробкой здешней.

– Так и тут есть бархатное дерево?

– Так точно, оно самое.

Барин отошел в сторонку, где сквозь поредевший навес листвы в темную сырость леса падали солнечные лучи. При свете их он разглядел кусок пробковой коры.

– Да-а, действительно самая настоящая пробка, – вымолвил он. – Что вы скажете? А? Южная растительность на этом Амуре, – обратился он к мужикам.

– Вот то-то и есть!.. – соглашались мужики и вздыхали тяжело, словно в этой самой южной растительности и была для них какая-то загвоздка.

²⁰ Балберы – поплавки.

Глава восьмая

– Дал бы ты нам, батюшка, денек-другой на раздумье, – говорил Федор, сидя на траве у палатки чиновника. Мужики одобрительно поддакивали ему. – Нам ведь тут жизнь жить, надо бы осмотреться ладом.

– Да какое тут может быть раздумье? Очевидно же, что место не затопляется. Земля, ведь сами же вы смотрели, на четыре пальца чернозем, лучше все равно кругом нигде нет. Леса годны для построек, кедр и лиственница, чего же еще надо?

– Это конечно, – соглашался Тереха, яростно мочалая бороду. – Видно, что округ нет получше местности, но все же дал бы ты нам срок, нам ведь тут неспособно селиться. Вот говорили: на Амуре земли много. А где она, земля-то?

– Хм-хм... – недовольно буркнул барин и сморщился, покусывая короткий ус.

– Зря колеса везли, – вздохнул Федор.

– Разве такой лес осилишь? Тебе-то, барин, чем скорей нас водворить, тем лучше, а нам-то как? – с жаром продолжал Тереха. – К пескам пристали, а наверх-то и не взойти.

– Сколько труда в этот лес убьешь, а как земля-то не станет родить? – рассуждал Пахом. – Вон она, сырая. Тут, поди, сгниет все.

– Леса и те погнили. Строиться-то как из гнилья?

– Опять же, знать бы, когда коней доставят.

– По-сибирски, может, тут и ладно... кто ничего не видал.

– Без скотины тут околеешь, – посыпалось со всех сторон на барина.

– Да вы что, подлецы?! – вдруг заорал Барсуков на поспешно повскакавших с травы переселенцев. – Пора тайгу чистить, а вы в затылках скребете. Что вы думаете, глупее вас люди были, когда это место выбирали, слепые, что ли, они были? Чтобы мне сегодня же представить решение! Надо успеть до осени расчистить место под огороды, пары поднять, а вы что? Смотрите вы у меня!

Окрик барина подействовал. Теперь нечего думать и гадать, как бы не упустить хороших угодий. Барин решительно приказывал селиться на релке, и мужики вновь, как и на родине, как бывало и по дороге, безропотно подчинились привычной силе гнета. Противостоять начальству они не могли, но зато, покоряясь ему, становились перед самими собой неповинными на тот случай, если бы место оказалось выбранным неудачно.

– Ладно, барин, раз велишь, чего же, – осмелился наконец седой Кондрат и выступил из толпы. – А ежели мы тут оголодаем, кто за нас Богу ответит?

– Ленишься не будете, ничего с вами не станет, дедушка. Тут богатейший край, как это можно оголодать в нем? Это все дурацкие разговоры, наслушались их по дороге. Да ведь вам никто не запрещает занимать подходящие угодья, если они где-нибудь есть поблизости, – продолжал Барсуков значительно дружелюбнее.

Видя, что мужики идут на попятную, Петр Кузьмич смягчился. Ему неловко стало, что из личного желания поскорее вернуться домой он вспылал и так на них напустился.

– Но сейчас-то надо же где-нибудь селиться, сено тут заготовлено, – говорил он. – Найдете место лучше, затесывайте лес, и уж будет известно, что оно занято. Потом заимки там заведете...

Много чего могли бы мужики возразить Барсукову. Вместо богатых, плодородных земель, промучившись без малого два года в пути, они увидели перед собой горы, дикий заболоченный берег, полугнилой, заваленный буреломом лес и необозримую пустынную реку. Но не было охоты высказывать барину всех обид – их было много, и к тому же каждый понимал, что от пререканий толку не будет. Оставался единственный выход: браться за тяжелый и долготный труд, чистить лес на релке и окореняться там, где высадились.

– Дивный народ, ваше благородие! – посмеялся Петрован, когда переселенцы разошлись от палатки. – Никакого понятия не имеют, чего сами хотят. Нищета, а тоже корысть-то их обуяла на земельку.

– Ничего, обживутся, тогда все поймут, чего им надо, чего не надо, – возразил Кешка, снимая березовой палкой вскипевший чайник. – Им пока что неохота такую-то тайгу чистить. А как примутся, их и не остановишь. Они сюда шли и, поди, не знай чего ожидали. Будет время – и окоренятся. Осмелеют еще и поперечничать начнут, – пошутил он. – Говоруны станут.

Пахом Бормотов, возвратясь на стан, выместил свою досаду на девке Авдотье, напустившись на нее ни за что ни про что. Федор охал и вздыхал, жалуясь Егору на свою долю, хотя в душе он не особенно отчаивался.

Спокойнее всех смотрел на будущее Егор Кузнецов. Хорошенько отоспавшись за ночь, он поднялся на прохладной заре с ясной головой, полный сил, здоровья и готовности к делу. Вчерашней вялости, когда ему даже думать об этой Додье не хотелось, как и не бывало. В это утро, присмотревшись к додгинской релке и к ее окрестностям, он решил, что жить тут можно.

Сопки, гнилые деревья, топкая земля и буревал не скрыли от него богатства здешнего леса. Деревья, годные для построек и для любых поделок, росли тут в изобилии. Иных пород Егор и вовсе не знал, но уверен был, что со временем и они окажутся к чему-нибудь годны, вроде как то пробковое дерево, мимо которого мужики прошли бы, не будь с ними казаков. Это не лес, а богатство было перед ним, еще неведомое. Земля, родившая буйные травы, черное лесье, ягодники и плодovou дичь, не могла, как ему казалось, не родить хлеба. А чистить эту землю под пашню у него – он знал – хватит силы и решимости.

Нет, не боялся Егор будущего в те дни, когда тощий и голодный, с впалыми щеками, выдавшимися скулами и надглазницами, в ссевшихся портках и в посконной рубаше, с топором за лыковой опояской стоял он на песчаной додгинской кошке²¹ против дремучего, от века не рубленного леса. Тайга не пугала и не давила его, словно он от природы готов был бороться с ней.

– Ну ладно, это ведь зря мы перед барином дуру пороли, – с обычной своей прямоотой говорил он мужикам, собравшимся у его балагана. – Теперь надо работать. Конечно, надо же, чтобы начальство за место поручилось. Раз он маленько поорал на нас, барин-то, значит уж поручился, и теперь нам жить тут... Да и то сказать, место тут как место, как везде тайга и тайга. Робить надо. Поплачем да потрудимся, бог даст, земелька-то оплатит за пот да за слезы. Верно казаки бают: или нас пашни ожидают приготовлены? А по правде сказать, ведь это не край, а раздолье, тут хоть вздохнешь. Никого нету. Всякий себе голова...

– Раздолье!.. – горько усмехнулся дед. – Эх-хе-хе, Егорушка, родимец! – с сожалением и мягкостью вымолвил он. – Земля эта век впусте лежала, почему-то не жили на ней люди, ты на нее большую надежду не клади.

– Как она хлеба не родит, придется нам на другое место кочевать, – заговорил Тимошка Силин. – На Уссури ли, еще ли куда.

– Не приведи господь! – вздохнул Пахом.

– Об Уссури теперь какие разговоры, – недовольно возразил Федор. – Ты бы, Тимошка, еще Барабинские бы степи вспомнил.

– Надо же кому-нибудь и тут населяться, – стоял на своем Егор, – не пустовать и тут месту.

– А ты, Кондратьич, при барине вроде как бы соглашался с нами? А? – спросил Тимошка.

Кузнецов, казалось, не слышал его слов. Конечно, перед барином и он был со всеми заодно. Чтобы Барсуков не думал, что место может нравиться, и он делал вид, будто поддержи-

²¹ Кошка – песчаная или галечная коса, вытянутая параллельно берегу.

вает общество. А то скажут, мол, облагодетельствовали, решат за это мужикам какой-нибудь ущерб нанести, содрать чего-нибудь, недодать, противлений не примут. Решат: мол, лес, чаща – это пустяки, мужик все сдюжит. Так представлял себе Егор рассуждения чиновника.

Всего этого он не стал объяснять мужикам. Они и так его понимали. Вскоре переселенцы разошлись, качая головами и сетуя на амурские непорядки. Теперь для Егора само собой вышло, что лес этот на пятьдесят сажен вдоль берега и вглубь на сколько угодно станет его собственностью и что надо рубить, корчевать и жечь пеньки, подымать целину, потом копать в береге землянку да ожидать, когда сплавщики доставят коня и корову. Теперь некогда было думать и раздумывать, хорошо тут или худо и нет ли где места получше, а надо работать и работать, сколько станет силы. Место, как он понимал, годилось для жилья, на здешней земле можно было пахать и сеять. Правда, по дороге попадались уголья получше, но что было, то прошло, и мало ли где что есть хорошего, да нас там не ожидают.

В тот же день казаки намерили на каждую семью по пятидесяти сажен вдоль берега. Когда дело дошло до распределения участков, мужики, позабыв все свои наветы на додгинскую релку, на сырость здешней земли и на гнилость леса, сами указали места, где кому больше нравилось селиться. Участки выбрали поближе к бугру, где лес не такой буйный и местами были полянки.

– Однако, уж земелька-то не шибко плохая, – насмешничал Петрован. – Оказывается, покуда споры да раздоры, а местечки-то себе облюбовали. Лакомые-то куски. Как, еще не столкнулись? А то, бывает, новоселы дерутся на здешних, плохих-то, местах.

Вечером переселенцы перевели свои плоты немного вниз, поближе к распадку, где берег чуть поотложе и где решено было строить землянки.

На другой день, ранним утром, барин и казаки распростились с переселенцами. Барсуков еще раз напомнил, что по инструкции следует сделать в первую очередь, и пообещал принять все меры к тому, чтобы скот и коней доставили вовремя. На всякий случай чиновник предупредил, что скоро на Додгу для обозрения новоселья приедет исправник. Это последнее замечание он сделал для того, чтобы мужики не вздумали лениться. Но сам он предполагал, что исправник вместе с другими чиновниками задержался по дороге с частью сплава у старо-селов и сейчас, наверное, все они вернулись в Хабаровку и пьянствуют там в ожидании окончания дел. Пароход, на котором им предстояло возвратиться в Николаевск, возможно, еще и не остановится на Додге.

– Кланяйтесь Ивану Карпычу! – Кешка, отплывая, помахал форменной фуражкой.

– Ну, слава богу, уехали! – облегченно вздохнули мужики, проводив Барсукова и казаков.

– Чего же «слава богу»? – попрекнула их старуха Кузнецова. – Сколько нам эти казаки про здешнюю жизнь пересказали!

– А без них мы не увидели бы, что ль, чего тут есть, а чего нету? – возразил Егор. – А от барина только и толку, что орет. Сам же нас этим в сомнение вводит.

– Бойкие эти казачишки! – вымолвил Пахом, когда лодка отделилась и, взмахивая тремя парами весел, пошла поперек реки. – Знают здешнюю жизнь. По-ихнему, тут все ладно.

– У-у, гуранье! – сверкнул глазами Илюшка и слегка присвистнул. Но чувствовалось, что свистнуть он может со страшной силой, раз в десять, верно, громче, но соблюдает вежливость, побаивается и барина и тятю.

– Пытать надо землю, хлебушко родится ли, – толковала старуха Кузнецова. – Теперь, сынок, только покряхтывай. О хлебушке забота.

– До хлебушка-то с наших потов река набежит!

– За дело, в божий час! – крестился Кондрат. – Помолимся да чашу рубить...

В тот день крестьяне приступили к расчистке леса. Никто уж более не говорил, худо ли, хорошо ли будет жить тут. Все занялись делом.

В тайге было тихо и душно. В облаках горело томящее солнце. Похоже было, что собирается дождик. Облака то сходились, синев, хмурились и собирались в тучку, то снова расходились, и солнце обдавало людей жаром. Влажный, горячий воздух напоен был пряной и душистой таежной прелью.

Егор и Кондрат обмотались тряпьем, чтобы не заедала мошка, и, расчистив подлесок, принялись рубить большую лиственницу, росшую несколько отступя от берега, в самой трущобе.

Топоры, чередуясь, врубались в красноватую твердую древесину. Смолистые красные щепки отлетали далеко от дерева, ударяясь с силой в соседние стволы. Крепкое дерево с трудом поддавалось рубке.

Наталья, бабушка Дарья и Федюшка рубили кустарник и драли из земли мелкие корни, а Вася и Петрован, как теперь на сибирский лад называли Петьку, таскали рубленные ветви и сбрасывали все это под обрыв.

Наталья была невысока ростом, но горяча нравом и спора на работу. Завязав юбки между ног, наподобие штанов, она продвигалась по чаще, вырубая кустарник не хуже любого мужика. За ней двигалась вся семья.

Лиственница, которую рубили Егор и Кондрат, стала вздрагивать от каждого удара, ее ветви трепетали. Егор крикнул семье, чтобы перешли поближе к берегу. Кондрат еще разок ударил топором, и дерево начало клониться. Все отбежали.

У комля натянулась и с треском разорвалась недорубленная древесина, ветки, коснувшись ближних деревьев, зашумели, как в бурю, ствол соскользнул с пенька, тучное дерево как бы прыгнуло и во всю длину своего огромного клонившегося ствола с громом стало вламываться в чащу. Оно переломило несколько берез, сшибло сухую вершину у ясеня, отчего раздался сухой треск, как на пожаре, когда горят сухие доски, и, сокрушая вокруг себя заросли, давя молодые деревца и кустарники, тяжело рухнуло в мокрую землю. Гул пошел по тайге. Следом отвалилась вершина ясеня, где-то задержавшаяся было в качающихся деревьях, и чуть не зашибла Егора.

Долго не могла утихнуть всколыхнувшаяся тайга. По чаще от дерева к дереву пошли толчки, шумела листва; слышно было, как где-то в стороне развалилось и рухнуло наземь старое, гнилое дерево.

Лес валили и Барабановы и Бормотовы. Справа и слева слышался глухой стук топоров.

Солнце поднялось высоко, когда переселенцы, оставив на берегу завалы нарубленных кустарников и несколько поваленных деревьев, спустились пообедать. Накануне они наловили неводишкой рыбы. Бабы напекли на огне хлебцев. Соль, крупу, муку и сухари привезли с собой на плотках. Настя, маленькая дочка Кузнецовых, с утра поддерживала огонь и следила, как варилась уха.

Семья, вооружившись деревянными ложками, расположилась на гальке под тальниками вокруг котла, в котором плавал сазаний жир.

В разгар обеда Федюшка ткнул брата в плечо и показал рукой на реку:

– Гляди-ка, Егор, кто-то сюда едет.

Из-за низкого песчаного мыса выплывала лодка.

– Никак, к нам гольды плывут. – Из тальников, посасывая рыбой голову, вылез Федор. Стан оживился. Переселенцы оставили обед и молча наблюдали.

В лодках сидели гольды в широких берестяных шляпах. Подняв весла, гребцы тихо плыли мимо стана вниз по течению, с любопытством оглядывая плоты, балаганы и самих переселенцев.

– Услыхали, что лес рубим, – вымолвил Тереха. – Тоже, поди, недовольны.

– Вот бы их пугнуть, – усмехнулся Федюшка.

– Ты, дурак, не вздумай, – пригрозил сыну Кондрат, – это ведь соседи.

Вдруг раздался в тишине оглушительный свист. Из тайги выбежал Илюшка Бормотов. Парень задержался там с ловлей какой-то птицы и, выбравшись из чащи к берегу, вдруг увидел гольдов. Порубив полдня тайгу, он уже почувствовал себя хозяином на релке. Пальцы сами прыгнули ему в рот, и, уж тут не стесняясь, он залился Соловьем-разбойником, чтобы гольды укатывали отсюда подобру-поздорову.

– Геоли, геоли!²² – тонкими напуганными голосами закричали в лодке.

Гребцы схватились за весла и поспешно и недружно принялись гребти. Лодка закачалась и стала отходить подальше от берега.

Илюшка виновато посмеивался и чесал спину. Пахом ругался надтреснутым голосом и, обломив о сыновью спину сухую хворостину, наступал на него, размахивая кулаками. Илюшка, по-видимому, не очень боялся отцовских побоев и скалил зубы.

На стану бабы и мужики покачивали головами, не одобряя такого озорства, но в то же время и посмеивались над удиравшими гольдами, хотя было в их взорах, обращенных к удиравшей лодке, и опасение: никто не знал, что это за люди, а придется с ними жить...

– Свой уж один гуран вырос, – говорил про Илюшку дед Кондрат, усаживаясь к котелку. – Вот еще гуранята растут, – кивнул он на внуков – смуглого голубоглазого Ваську и белобрысого Петрована, уплетавших горячую рыбу.

– Мы не гуранята, – с обидой возразил плосколицый Петрован, морща лоб и вскидывая на деда такие же, как у матери, серые с голубой поволокой глаза.

– Вот я тебе, постреленок!.. – пригрозил ему дед ложкой.

После обеда кто мог спать в жару, забрался под пологи, растянутые в тени. Ребятишки, разгоряченные едой и работой, поскидали одежку и полезли в реку. Вода на косах была теплая, и вскоре веселые крики и плеск раздавались вдоль всего стана.

Илюшка, пользуясь тем, что все взрослые улеглись, притащил из тайги какую-то горбоклювую черную птицу, связанную по ногам травой. Он ее поймал еще поутру и спрятал в дупло.

Парень держал птицу за связанные крылья. Пугаясь, птица вздрагивала и покачивалась на них, как на пружинах. Она тупо озиралась на сбежавшихся голышей и, когда кто-нибудь к ней наклонялся, выкатывала остекленевшие зеленые глаза и злобно разжимала клюв.

– Это хищная тварина, – проговорил Федюшка, – она птичек жрет.

– Давай казнить ее, – усмехнулся, пожившись, как бы еще не решаясь на жестокость, Санка Барабанов.

Илюшка осторожно, чтобы не клюнула голое тело, поднял и кинул ее. Птица запрыгала по берегу, сначала медленно, как бы еще не веря, что ее отпустили, но понемногу осмелела – она запрыгала быстрее, добралась до реки, осторожно вошла в воду и, погрузившись, стала кое-как взмахивать связанными крыльями. Течение быстро понесло ее прочь от стана. Ворох ее перьев и пуха всплыл на поверхности реки, словно на этом месте распороли подушку.

Ребята стали кидать камнями. Птица отплыла.

– Ты, Илья, зачем над птицей изголяешься? – появилась вдруг между талин Агафья. – Вот я скажу Пахому, он с тебя шкуру сдерет! Это ведь божья тварь.

– Это вредная птица, – возразил Илюшка, – она гнезда зорит.

– Птенцов жрет...

– И в пищу не годится, – подхватил Санка.

– Почему ты знаешь, какая это птица? – с сердцем воскликнула Агафья.

– Мы знаем! – небрежно отозвался Санка, выгибаясь и почесывая голые лопатки, изъеденные комарами.

– Пялишься еще, бесстыжий. Ведь это грех птиц так терзать, – стала было корить Агафья ребят, но они, прикрывая срам кулаками, разбежались по косе и кинулись в воду.

²² Геоли – гребите (нанайск.).

Позже из-под пологов вылезли отдохнувшие мужики. Егор, глядя на ребят, тоже стал купаться. Он плавал вразмашку далеко от берега и вдруг, подняв руки, надолго исчез под водой.

– Ну как, Амур глубокий? – спрашивал Федор.

Дед точил инструменты на круглом камне. Федор правил пилу. Бормотовы двинулись всей семьей в лес. Вместе с ними пошел Тимошка со своей тощей женой Феклой и с ребятами. Вскоре ушли и Кузнецовы. Стан опустел.

В тайге застучали топоры, затрещали падающие деревья, под обрыв повалились вороха ветвей.

Наталья, бабушка и Федюшка после обеда рубили толстые ползучие корни у пенька лиственницы. Егор, подкопав пенек, заложил под него вагу. Рыжие и толстые, как бревна, корни не уходили вглубь почвы, а стелились по неглубокому слою перегноя, выдаваясь наружу, и дерево стояло на них, как елка на кресте.

Корни перепилили, обрубили, и Кузнецовы всей семьей принялись раскачивать вагу. Пенек не поддавался. Егору пришлось подрубить мелкие корни и подкопать его с другой стороны.

– Экая духота! – разогнулась Наталья, вытирая потный лоб, облепленный комарами.

Рой гнуса назойливо жужжал над головой. Влажный воздух был тяжел и недвижим, лес молчал, через солнце тянулись облачка. Деревья утихли в истоме. Руки и ноги наливались тяжестью, голова кружилась от прели и духоты, и думать в такую погоду ни о чем не хотелось.

Кузнецовы снова налегли на вагу. Пенек наконец отвалился, и переселенцы увидели черный перегной. Слой его был неглубок. На месте поднятых стеновых корней кое-где проглядывала глина.

– Вот и земляца, – склонился дед, беря щепоть перегноя в темные пальцы.

Глава девятая

День за днем, от восхода до заката, переселенцы рубили и выжигали тайгу, корчевали пни и копали землянки в высоком обрыве берега. Понемногу край релки очищался от леса. Из обрубленных ветвей складывали огромные костры, пылавшие круглые сутки и отгонявшие дымом гнус. Эти костры пугали по ночам гольцов в соседних стойбищах.

Как-то раз, вечером, Федюшка на краю вырубленного леса встретил сохатого. Горбатый и бородатый зверь выбежал из леса и стал как вкопанный, с удивлением уставившись на балаганы. Парень сплосковал и во весь дух помчался обратно. На стану он рассказал мужикам:

– Рогатый зверь выбежал из тайги... Испугал до смерти.

– Эх вы, лесовики! – проворчал дед на сыновей. – Пошто ружье у сибиряков не взяли? Такая туша мяса сама пришла к стану, а вы что? Эх, родимцы!..

Дед никогда не ругался нехорошими словами, а если хотел кого-нибудь попрекнуть, с мягкостью в голосе говорил: «Э-эх, родимец!...»

Мужики поговорили, что надо бы походить с ружьями по следу и добыть зверя. На том и разошлись.

В сумерках кричал филин. Небо затянуло тучами. Ночью пошел дождь, перешедший в ливень. Егор еще с вечера затянул берестинами имущество, оставшееся на берегу.

Под утро крепкий сон его нарушила Наталья.

– Чужие на стану, проснись-ка, – шептала она тревожно. – Слышь, собаки заливаются? Жучка разбудила, сорвалась с места...

Где-то ниже стана лаяли собаки, кто-то не по-русски покрикивал на них. Слышно было, как собаку ударили и она завизжала. По-видимому, неизвестные отгоняли напавших на них

крестьянских собак. Издали лаяли хрипатые чужие псы, подвывая, словно их удерживали на привязи.

– Это не Бердышов ли вернулся? – вымолвил Егор отдергивая холстину, закрывавшую вход в балаган.

Брезжил мутный рассвет. Утро было теплое и сырое. В такую погоду весь мир кажется огромным парящим котлом, над которым только что подняли мокрую деревянную крышку. Туман раскинулся по реке и лесу. За рекой рваные облака ползли по склонам серых сопок и, цепляясь за лесистые распадки, оставляли там белесые лохмотья, стелившиеся снизу вверх, словно там тянули куделю с деревянных зубьев. Дождя не было, но на землю падала мельчайшая водяная пыльца.

Егор, накинув мешковину на плечи и вооружившись колом, пошел на лай. Его босые ноги ощущали мокрый теплый песок. Дойдя до бормотовского балагана, он различил в тумане неясные очертания лодки. Подле нее копошились люди, таскавшие на берег грузы.

– Это ты, что ль, Егор? – высунулся из балагана бородатый Пахом.

– Кто это на берегу? – спросил Кузнецов.

– Сам не знаю, я на всякий случай забил пульку, – осклабился Бормотов. – Не ровен час, как бы не бродяжки.

Неизвестные, выгрузив лодку, стали таскать грузы в распадок, к бердышовской избе. В тумане довольно ясно обрисовывались согнутые, горбатые фигуры с мешками на спинах.

– Нет, это не бродяжки, а гольды, – сказал Егор, вслушавшись в голос, окликавший собак.

– Может, родственники Ивана привезли ему товары, – согласился Пахом. – Рассветет – выйти бы к ним. Они, поди-ка, знают, где он промышляет.

– Может, и сам-то он с ними же.

– Голоса-то русского не слышать, – возразил Пахом.

Туман стал редеть. К лодке со взгорья возвращалась женщина, за ней трусила собака. Кто-то хриловато и глухо прокричал у избы. Женщина остановилась и бойко затараторила в ответ.

– Ишь, наговаривает, – усмехнулся Пахом.

– А тот на Кешку голосом сдается. Может, и впрямь Иван Карпыч?

– Ну бог с ними! Разъяснит, тогда пойдем, – сказал Егор и направился к своему балагану.

Спустя полчаса, когда туман рассеялся, толпа мужиков, хлюпая по лужам, подошла к потемневшей от дождя Ивановой избушке. Около нее ярко пылал большой костер. Поодаль двое мужиков, одетых в дабовые халаты²³, сидя на корточках, свежевали короткими ножами тушу зверя. Егор различил, что низкий горбоносый старик с косичкой на затылке, обутий в долгоносые улы²⁴, – гольд, а плечистый и рослый, с темными короткими усами, в поярковой шляпе на голове – русский. Обличьем он смахивал на казаков-забайкальцев. В его исчерна-загорелом лице, в усмешливом взгляде исподлбья было что-то сродни Кешке и Петровану.

Гольд, взявши сохатого за растопыренные красные ноги, перевалил его на другой бок и, оттягивая шкуру от хребтины, подрезал ее короткими и быстрыми движениями.

– Бог на помощь, добрые люди, – снял шапку Егор.

Мужики сделали то же самое.

Русский в поярковой шляпе разогнулся, обтер руки о высокую траву, а ножик о полу халата, мельком глянул на мужиков, наклонил голову, будто усмехнулся в темные усы, и что-то буркнул в ответ. Гольд тоже поднялся, мотнул головой и довольно чисто поздоровался с переселенцами по-русски.

²³ *Дабовые халаты* – даба – грубая хлопчатобумажная материя, чаще всего – синяя.

²⁴ *Улы* – обувь, шитая из лосиной или рыбьей кожи.

Русский вытащил кисет и трубку, достал несколько листьев табаку, свернул их, вставил в ганзу и вдавил большим пальцем. Гольд стал рубить топором тушу зверя. Переселенцы наблюдали. У русского движения были неторопливы. Его широкие покатые плечи и бычья шея таили в себе, по-видимому, большую силу. Он высек огня, помолчал, покурил, искоса поглядывая на мужиков.

– Видать, хозяин приехал? – спросил его Федор.

– Однако, хозяин, – обронил тот. – Знаете, что ль, меня?

– Иван Карпыч, что ль, будете? Не Бердышов ли?

– Однако, Бердышов, – ответил он, и это «однако», которому сибиряки придают множество разных оттенков, прозвучало на этот раз как насмешка над спрашивающими: мол, а кто же другой, как не я? Али народу много тут, не признали?

– Ну, так давай тебе бог здоровья, знакомы будем, – стали здороваться с ним мужики.

– Иннокентия-то Афанасьева, поди-ка, знаешь?

– Это Кешку-то? – переспросил Бердышов.

– Да амурский же казак, сплавщиком у нас на плоту шел. Он наказывал: кланяйтесь, дескать, как Иван Карпыч из тайги выйдет.

– Он нам и сказал про тебя.

– Ну и Петрован же был с имя? – спросил Бердышов.

– Как же, и он был, а еще Иван молодой с Горбицы и Дементий – здоровый мужик, долгий.

– Каланча-то? – дрогнув бровями, спросил Бердышов.

– Во-во, так будто его прозывали! Гребцами они у барина, у Барсукова Петра Кузьмича, работали.

– Не знай, что за Кешка, – вдруг со строгостью вымолвил Иван Карпыч и, нахмутив свои густые и неровные брови, подозрительно оглядел мужиков. – А вы с Расеи, что ль? – как бы между прочим, словно невзначай, спросил он, словно «Расея» была где-то тут, неподалеку.

– С Расеи, батюшка, из-за самого Урала, с Камы.

«Экие недобрые эти гураны», – подумал Егор, глядя на нелюбезного хозяина.

Из избы вышла рослая гольдка в голубом шелковом халате, с длинной трубкой в руках и с золотыми сережками в ушах. Она приблизилась к костру, присела на корточки и с любопытством уставилась на переселенцев большими иссиня-черными глазами. У нее была матовая гладкая кожа, легкие скулы и алый рот. Выражение ее лица было живое и осмысленное. Все мужики заметили это, и гольдка понравилась бы им еще больше, если бы она не курила, смачно сплевывая на обе стороны.

– Вот привезли нас на эту самую релку, – заговорил Барабанов. – Мы-то, конечно, сперва не хотели тут селиться, да нас здесь силком оставили.

И Федор стал жаловаться Бердышову на чиновника, что он насильно водворил их на Додыгу, не позволил осмотреть как следует окрестности и самим выбрать подходящее место. Говорил он об этом, всячески приукрашивая притеснения чиновника, чтоб Иван знал, что они тут водворены волей начальства, по казенной надобности, и чтобы ему не задумалось заломить с них за приселение лишнего.

– Ну да ничего, обживетесь, – опять как-то между прочим отозвался Бердышов.

По его знаку гольдка сходила в избу, принесла оттуда большую железную жаровню, вытерла ее тряпкой и поставила на огонь. Старик гольд кинул в жаровню вырезку мяса.

Заморосило.

Бердышов позвал мужиков в избу. Там сложены были мешки с мукой, связки сушеной медвежьей желчи, луки – большие и малые, ружья, колчаны со стрелами, два копия, туес с ягодой, ворох сушеных шук и чебаков.

Иван Карпыч выставил на стол бутылку ханшина, гольдка принесла жареного мяса и накрошила дикого луку. Мужики разместились на нарах, и Бердышов начал угощать их. В

избе он стал порадушней и заботливо подливал ханшин в маленькие глиняные чашки. Он снял с себя шляпу и халат, подсел поближе к мужикам и уже не казался таким недоступным, как на первый взгляд. Его темные волосы по сравнению с черной, как вороново крыло, головой его жены казались темно-русыми. У него была большая голова, лицо широкое и лобастое. Оно сразу запоминалось какой-то особенной неровной линией густых бровей. Его крепкие руки, поросшие волосами, как видно, были сильны, из-под тонкой потной рубашки выдавались мускулы.

Понемногу крестьяне разговорились и стали рассказывать Бердышову про свое долгое путешествие, про невзгоды и сомнения на новоселье.

Бердышов слушал внимательно и больше уже не усмехался. Подвыпив, он объявил, что сам рад их приезду, что с голых и босых за приселение ничего брать не станет, но просит отработать ему на помочах: очистить остатки леса около его избы. На это мужики с радостью согласились.

– А насчет того, – говорил Бердышов, – что тут нельзя пашню пахать – ни к чему сомнения. Зря беспокоиться – только себя расстраивать. Тут и хлеба пойдут и всякие овощи растут хорошо. Еще и теперь столетние старики указывают на релках места, где были пашни. Говорят, будто когда-то русские тут проживали. Про это я как-нибудь расскажу еще. Шибко занятно, – переглянулся Иван с женой.

Гольдка улыбнулась смущенно и счастливо.

– Место подходящее. Так что обижаться вам не стоит. Тут высоко, земля черней. Ее в высокую воду не смывает. Уж эту додзьгинскую релку удачно выбрали, не как в иных местах... А то, бывает, приедут переселенцы, а их на другой год топит водой. Конечно, барин, куда бы ни привез, все равно орать бы стал. Его ведь какое дело? Где приказано населить народ, там и вали, водворяй его, а не слушаешь – ори на него, да и все. Казенное дело такое – своего ума не надо! Только, однако, на этот раз подфартило же вам!

– Ну, уважил ты нас, Иван Карпыч, то есть так уважил!.. И мы тебя уважим, дай срок! – соловьем заливался охмелевший от вина и от радости Федор.

Его хитрые глаза заплыли, а лицо сияло. Отказ Бердышова от платы за приселение и рассказы его о том, что на Додье пойдут хлеба, придали Барабанову духу.

– Вот теперь и я вижу, что тут жить можно, ей-ей! – весело приговаривал он, подсаживаясь поближе к хозяину и похлопывая его с осторожностью краешком ладони по плечу и как бы напрашиваясь в друзья.

Егора водка не веселила, и новостей, кроме той, что денег с него не потребуется, он не услышал. Как-то уж само по себе это было понятно, что и место тут высокое, и под пашни оно годится, и все прочее. Он был доволен, что Бердышов не берет денег. Жаль, конечно, что за пьянством пропадает время, годное для чистки леса. «Покуда теплая погода, робить бы, – думал он, – а не пиры пировать». Но уйти было нельзя. Впрочем, и он угощался охотно и с интересом присматривался к Ивану. Бердышов на первых порах выказал себя ладным мужиком, но Егор как-то невольно был с ним настороже.

А Федор сегодня, показалось ему, не походил на самого себя, и перемена эта в нем, должно быть, была не от хмеля и не от удачи, а что он останется с деньгами. Было в пьяной радости Федора что-то неприятное и поддельное. Подвыпив, он без всякой нужды хитрил по пустякам, делая вид, будто что-то знает особенное, а перед Иваном всячески старался выказать себя ловкачом. Похоже, что побаивался в душе.

Остальные переселенцы радовались, что дело так хорошо обернулось.

Пришел старик-гольд и принес свежего осетра.

– Ну, строганины, что ль, отведаем? – предложил Иван мужикам. – Едали, что ль, строганину в Забайкалье? Приготовь-ка нам, Анюта, талу²⁵, – обратился он к жене.

Гольдка перепробовала лезвия нескольких охотничьих ножей, выбрала самый острый и тут же настрогала тонко и нарубила мелко сырой осетрины, нарезала дикого луку и каких-то кореньев, все это смешала вместе и подала на стол.

– Ну а теперь под строганинку, – предложил Иван, снова наливая глиняные чашечки.

Старика-гольда он называл дядькой Савоськой и пояснил, что это брат его тестя. Впрочем, и он и Анга называли его то Савоськой, то Чумбокой, как звали старика по-гольдски.

На голове старика торчали редкие седые клочья волос, в уши продеты были серебряные кольца. Кольца же украшали его маленькие пальцы. Говорил он по-русски довольно внятно, даже шутил. Подвыпив, он расстегнул рубаху и с гордостью стал показывать свой нательный медный крестик.

Пирушка у Бердышова продолжалась целый день.

Под вечер небо прояснилось, и на Додьгу с попутным ветром на парусной лодке приплыл сам Иванов тесть со своей молодой женой и сынишкой, тот самый старик Удога, о котором переселенцы много наслышались еще по дороге.

По-русски его звали Григорием Ивановичем. Это был рослый и худой старик с толстой седой косой, с седыми бровями и с черными, как угли, глазами. Серебряные усы он подстригал коротко, как Иван.

Выбравшись из лодки, он с нежностью поцеловал Ангу в обе щеки и, отведя ее в сторонку, потихоньку говорил что-то ласково.

Молодая жена Удоги – веселая, коренастая, широкоплечая гольдка – была одной из тех крепких женщин, которые всякую работу делают не хуже своих мужей. Восемнадцать верст от стойбища Бельго до Додьги она выгребала веслами против течения, помогая ветру. В гости она вырядилась по-праздничному. На ней бледно-розовый шелковый халат, расшитый редкими синими узорами, в которых, если пристально взглянуть, различались очертания птиц, животных и цветов. На маленьких ногах гольдка носила легкие новенькие обутки, сплошь покрытые мелкой вышивкой. Айога – так звали жену Удоги – встретила с Ангой не как мачеха, а как душевная подруга. Гольдки обнимались, целовались и, войдя в избу, без умолку разговаривали.

Маленький сынишка Айоги, толстощекий Охэ, послонявшись между взрослыми, сбегал к лодке, достал оттуда лучок со стрелами и побежал в тайгу бить птичек. Вихрастые крестьянские ребята дичились, глядя на него с косогора и не решаясь подойти.

Иван и Удога, разговорившись, то и дело переходили с русского языка на гольдский. Из их беседы мужики поняли, что Бердышов и Савоська долго были где-то на охоте, и Удога, услышав от проезжих, что они вышли из тайги, сразу поспешил на Додьгу. Мужики заметили, что Савоська и Григорий не выражали восторга по случаю встречи. Егору показалось, что братья относились друг к другу с прохладцей.

С переселенцами Удога держался с достоинством – видно было, что он знает себе цену.

В этот вечер захмелевшие мужики побеседовали с ним недолго и вскоре после его приезда разошлись.

– Ничего, как будто хорошие люди эти гольды, – говорили они между собой про Удогу и про Савоську.

На другой день оба старика-гольда приходили на стан, чтобы попрощаться с переселенцами. Они уезжали в свое стойбище.

Вечером на стан заглянул Бердышов. Сидя у огонька, он рассказывал переселенцам про своего тестя:

²⁵ Тала – мелкостроганая сырая рыба, строганина.

– Григорий ведь заслуженный перед начальством. Только теперь везде чиновники новые и про него забывать стали, а раньше, бывало, Григорию Ивановичу был почет.

– Какая же у него заслуга? – спросил Тимошка. – За что?

– Как же! – заговорил Иван с таким видом, словно удивился, что мужики еще не знают про заслугу Удоги. – Ведь в прежнее время Амур был неизвестным. Жили эти гольды, охотились, приезжали к ним маньчжурцы, сильно их грабили и терзали. Наши русские купцы тоже на свой риск и страх привозили товар на меновую. Проходили через хребты. А маньчжурцы – по воде... Вот тут наискосок Мылок, на той стороне, – показал Иван на реку, – была ограда – нойоны жили. Да и те только наездом бывали. Им, говорят, закон тут жить не позволял.

– Кешка нам про это рассказывал, – перебил его Силин.

– А ты слушай, чего тебе говорят. Мало ли чего Кешка сказывал, – огрызнулся на него Федор и, состроив внимательное лицо, обернулся к Ивану.

– Когда же этот Амур нашли, – продолжал Бердышов, – и стали проверять, фарватер у него искали, снизу, с Николаевска, приплывали офицеры. Григорий Иванович-то не побоялся нойонов, показал русским фарватер. Потом, когда была Крымская-то война, и у нас на низу была война. По Амуру туда сплавляли войска на баржах на подмогу. Григорий с ними проводником плавал и довел барки в целости до Николаевска. Савоська с ними же плавал, только тому награда была, а заслуги не вышло – он маленько чудаковат, ему не дали заслуги. Потом на другой год они опять плавали. Савоська – тот с родичами еще смолodu поссорился и убежал на море, жил у гиляков. Он с самых первых дней с Невельским ходил, проводничал. Он Невельского-то вверх по Амуру привел и Удогу сговорил помочь экспедиции. Потом уж, вот недавно, как вернулся Амур к Расее, сам губернатор Муравьев назначил Григорию Ивановичу заслугу. Выдали ему казенные сапоги, штаны и мундир с золотыми пуговицами. Это все у него и сейчас в сундуке хранится. А был тут маньчжурец Дыген. Шибко вредный! Он тут прежде сильно безобразничал. А перешел Амур к нам – на Пиване заросла травой вся ограда, и медведи туда повадились колья дергать. Вдруг этот самый Дыген заявляется к нам в Бельго. Тварина же! – с досадой воскликнул Иван, и было видно, что он до сих пор зол на маньчжура. – Как он в старое время донимал этих гольдов!.. И меха у них брал, девок портил, баб, какие понравятся, к себе таскал, а сам, гадина, кривой, глаза у него гноятся. Посмотреть, так замутит.

Иван сплюнул в костер.

– Ну вот, заявляется он в Бельго: давай, мол, ему по старой памяти меха. А я жил тогда, конечно, у них в деревне. «Ну, – говорю, – Гриша, открывай сундук, надевай полную форму». Вот вытаскивает он мундир, обрядил я его как следует, берем мы в руки по винтовке и вылезаем оба на берег. Как Дыген увидел мундир да золотые пуговицы – ну, дуй не стой! – подняли на лодке парус и уплыли. Потом, сказывали гольды, он узнал, что это был не русский, и шибко удивился, что простого гольда наши почему-то в такую заслугу произвели. С тех пор в Бельго маньчжур этот не показывается, хотя, слышно, еще и до сих пор бывает он тут по маленьким деревням. Ищет, где народ подурней.

– Да-а, Грише было уважение, – продолжал Иван Карпович после короткого молчания. – Бывало, сам Муравьев едет мимо – сейчас катер к Бельго приваливает, губернатор спрашивает Григория. Григорий Иванович выйдет на берег и рассказывает все, чего хочешь. Невельской, который этот Амур отыскал, Николаевский пост на низу поставил и самый первый дом на нем срубил, тот все с тунгусами да с гиляками водился. И он Григория-то знал. А теперь уже и начальство новое, и люди не те стали, губернатор другой. Про Григория стали забывать. Китаец-лавочник и тот ему уважения не выказывает. Вот седни жаловался он на этого торгаша. Гольды боятся лавочника, как мы исправника: чуть что – на коленки перед ним.

– А скажи-ка ты, Иван Карпыч, – снова полюбопытствовал Тимошка, – почему у гольдов всегда гребут веслами бабы, а мужики сидят в лодке сложа руки? Сегодняплыли они –

Савоська у прави́ла, а Григорий сидит, ничего не делает, парень на ворон пялится, а баба за всех робит веслами-то.

– Приметливый же ты, – беззвучно засмеялся Иван. – Это уж верно, так у них заведено. Мужик сидит, ничего не делает, а бабы огребаются. Спросишь: «Эй, чего твоя баба работает, а чего твоя сам даром сидит?» – «А чего, мол, ей... Она гребни да гребни, – с живостью представил Иван гольда, сощутив глаза и подняв лицо кверху, – а моя, поди, ведь думай надо».

Наталья от души смеялась, слушая Бердышова, смеялись и все остальные бабы и мужики. Видно было, что Иван представляться мастер.

Глава десятая

Цвели желтый зверобой и золотарник, васильки голубели в посохших травах, белые гроздья винограда свешивались с прибрежных кустов. На ранних вырубках розовыми полянами раскинулся иван-чай.

Стояли ясные, сухие дни, и работа у мужиков спорилась. Тайгу быстро оттесняли. Переселенцы работали с утра до ночи.

С приездом Бердышова жизнь на стану несколько оживилась. Каждый вечер Иван Карпыч приходил к шалашам и рассказывал разные истории из здешней жизни. Говорил он много и охотно, признаваясь, что рад побеседовать с русскими людьми, которых все эти годы приходилось ему видеть лишь от случая к случаю.

Впрочем, он не всегда был радушен и приветлив, часто разыгрывал с мужиками разные шутки, пугал их, что может заговорить дерево, и оно не поддастся рубке, или, если захочет, отведет рыбу от невода. То вдруг он становился строг и угрюм, не отвечал толком на расспросы, городил всякую чушь, так что мужикам трудно было разобрать, когда он говорит правду и когда шутит.

Бердышов был человеком сильным и деятельным. Весь его вид говорил об этом. Но если работы у него не было, особенно когда он по несколько дней отдыхал после охоты, он начинал озорничать.

Как-то под вечер Федор, выйдя из тайги, встретил его на берегу. Иван шел в тени деревьев, опустив низко голову в надвинутой на глаза поярковой шляпе, и глядел себе под ноги. Вокруг него вился рой мошкары.

– Здорово, Федор Кузьмич, – вымолвил он, не доходя до Барабанова шагов на десять и не подымая головы.

– Ты как меня увидел? – удивился Федор.

Бердышов молча шел прямо на него.

– Возьми-ка моих комаров, – махнул он руками, поравнявшись с Барабановым, и отшатнулся в сторону.

Вся туча гнуса перелетела на Федора.

– Э-э-э-эй, да ты что, да на что они мне? – завопил Барабанов, отбиваясь от комаря.

Но Иван уже шел своей дорогой, и только покатые плечи его тряслись от смеха.

– Чудной он какой-то, не поймешь его, – говорили про Бердышова переселенцы. – Надо всем смеется, из всего у него шутки.

– В тайге поживешь, чудной станешь, – оправдывал его Кузнецов, – а он тут уже давно...

– Недаром казаки-то говорили, что у него жена шаманкой была. Это ведь колдунья, шаманка-то. От нее он и перенял, поди, эти выходки. Видишь, какой он переменчивый, то так прикинется, то эдак, не дай бог околдует, – не то на самом деле пугался, не то шутил Тимошка.

– Он и над гольдами, над родичами, и то просмешничает, – утверждал Пахом. – Уж таков человек!

– Того и гляди, боднет лбищем-то. Вот помяни мое слово, он еще натворит нам делов целую контору, – говорил Силин.

В конце июля на Додьгу прибыли казенные баркасы, доставившие на каждую семью переселенцев по коню и по корове. Вместо обещанной муки почему-то привезли зерно. Коровы доились плохо.

– Вот еще новая забота, – горевали мужики, – чем же молоть станем?

Они на все лады ругали Барсукова.

– Лошадь отходим! Выпасется на лугах, – говорил Егор жене. – Какая бы заморенная ни была, а откормится – будет конь. Мы сами пришли заморенные, и кони у нас такие же.

В бормотовской лодке мужики стали возить сено, заготовленное солдатами. Но сена было мало, а трава, стоявшая на лугах, уже превратилась в дудки. Все же пришлось косить ее и возить с острова на берег.

– Как солома, – говорили крестьяне.

Бабы расчистили под грядки малые клочья земли.

Вскоре после отплытия баркасов Бердышов напомнил мужикам, что они обещали ему устроить помочь: расчистить тайгу подле его избы. На другой день переселенцы вышли работать на Иванов участок. Там порубили и пожгли все пеньки и деревья, оставив только несколько лиственниц подле самой Бердышовой избы. Теперь кругом нее чернели пепелища.

В награду за труды Иван по обычаю устроил мужикам пирушку: выставил водки и раздал пуда три вяленой сохатины.

А на бабьих огородах, на целинных влажных землях, под горячим солнцем быстро росли лук, редька. До осени переселенки надеялись кой-чего вырастить.

Огород был для каждой семьи заветным местечком. Наталье плакать хотелось от радости, когда впервые зазеленели всходы на ее грядках. Лес еще стоял поблизости, тучи комарья туманом зеленели над релкой, но, глядя на такие знакомые, по-старому родные и милые комья черной земли и на стройные рядки лунок с бледно-зелеными ростками, верилось, что будет тут и дом, и пашня, и двор. Хотелось работать еще пуще, и Наталья трудилась не покладая рук и не жалея себя. Это чувство испытывали все переселенцы, и всем работалось в тайге веселей, когда за спиной появились маленькие росчисти.

Вечером после тяжелого труда не было для измученных новоселов большей радости, чем посидеть на огороде и полюбоваться на первую зелень, выращенную среди таежной дичи своими руками.

Иван Карпыч прожил на Додьге недолго. Однажды поутру дверь его избы опять оказалась припертой колом, а его дощатая лодка, обычно лежавшая на песке, исчезла.

– На охоту уехал со своей гольдячкой, – решили переселенцы.

Парни и ребята любили поговорить между собой про зверей, про охоту и про Бердышова.

Побывавши раз-другой у его избы – часто они боялись туда подходить, чураясь гольдки, к которой присматривались с недоумением, – они забыть не могли охотничьи копыта, ножи, звериные шкуры, луки, сохатиные окорока.

– Встретить бы мне зверя, я бы его пальнул!.. – мечтал Илюшка.

– Пахом тебе ружье-то не дает, – насмешливо возражал белобрысый Санка Барабанов. – Из чего ты его палить-то станешь?

– Тятя мне дать ружье посулил, ей-ей, посулил, – хвалился Илюшка.

Схватив с песка палку, он, пригнувшись, взбежал на изволок берега и нацелился в черное обгорелое корневище.

– Ка-ак бы я его!.. – И он зажмурился.

– Да-а, Иван Карпыч где-то сейчас промышляет, – задумчиво говорил Петрован Кузнецов. – Вот с ним бы на зверя-то сходить!..

В это лето из ребят, пожалуй, не осталось ни одного, который не собирался бы стать охотником подобно Бердышову.

Их, подросших в тяжелой и длинной сибирской дороге, привлекала жизнь промысловиков, жизнь, полная приключений и опасностей, о которых они много слышали. И хотя они, дети хлебопашцев, всегда помнили о пашнях, о хлебах, о скоте и хвастались друг перед другом, как и что быстро растет на огороде, но уж тайга все сильнее тянула к себе юных амурцев.

Наступил тихий жаркий август; иван-чай стоял в белом пуху, таволжник цвел белым и розовым. На бузине покраснели ягоды. Стрижи летали высоко над релкой. Кончилась малина, созрела голубица.

Вечерами на реке дымились туманы. Ночи стояли безлунные, редкие звезды мерцали красным пламенем, как отдаленные костры. Лишь над Косогорной сопкой на севере, куда не достигали речные туманы, ярко светила Большая Медведица.

Глава одиннадцатая

Наступила осень. Пospели колючие лесные орехи, ползучие растения опутали тайгу, трава посохла, сопки покраснели и пожелтели, обмелела речка Додьга и, утихшая, бежала слабыми ручейками по широкому каменистому ложу.

В тайге стало посуше. Осыпалась голубица, созрела брусника, от нее было красным-красно, словно кто-то рассыпал по траве и во мху бусы. Доходил, синел виноград. Птицы потянулись на юг.

Додьгинская релка понемногу обнажалась, но лес, отступая, еще стоял на ней полосатой темно-белой стеной из берез и лиственниц. На вырубленных полянах торчали пеньки и дыбились корневища.

На берегу подле маленьких огородов достраивались четыре землянки. Обычно в Сибири на новоселье не строили изб. Жизнь переселенцы повсюду начинали одинаково, исподволь, как бы не решаясь окончательно утвердиться до тех пор, пока хорошенько не осмотрятся и не освоятся с местной природой. Землянки не жаль было бы оставить, если место оказалось бы негодным и пришлось опять куда-нибудь переселяться. К тому же постройка избы требовала много труда и времени, а ни того, ни другого мужикам теперь не хватало.

Землянки копали в крутом берегу. Это были обширные ямы с установленными вдоль стен досками – остатками плотов. На них настилали крышу, а весь верх заваливали пластами земли. Печки сбивали из сырой глины чекмарями – так называли деревянные молоты, а глину накладывали в дощатые формы на месте будущей печи. Вдоль стен тянулись широкие земляные нары, служившие и сиденьями и кроватями. Землянки были теплы, обширны, освещались маленькими окнами, обращенными к реке.

В конце августа, когда начался ход рыбы, жилища были готовы. Для скота и для коней неподалеку от землянок выкопали ямы, прикрытые срубами с накатником. Поверх наваливались высокие кучи сена. Все селение как бы зарылось в землю, готовясь к суровой ветреной зиме.

С доставкой коров пища стала разнообразнее. Появились творог, сметана и простокваша.

Понемногу осваивались переселенцы с амурской жизнью. Осенью они впервые наблюдали ход красной рыбы – кеты, или, как называли ее тут по-гольдски, давы. Еще по пути на Додьгу они много слышали и от староселов и от казаков о том, что осенью из моря в Амур заходят косяки красной рыбы и идут в горные речки. Но никто из них не верил, что будто бы рыбы этой такое множество, что она, как рассказывал сплавщик Петрован, мешает ходить по реке лодкам.

Пришла кета. По Амуру вверх и вниз засновали гольдские лодчонки с рыбаками и с добычей. Мужики время от времени пробовали ловить рыбу на косе у стана, но удачи им не было.

Их короткий невод тянул пять-шесть рыбин. Однажды бабы, ходившие на Додыгу по ягоды, увидели, что на горле Додыгинского озера вода словно закипает от косяков кеты, заходящей в мелкие протоки. В тот же день мужики, распаленные этими рассказами, поплыли на Додыгу с неводом. Ловля и на это раз была неудачной. Неводишко оказался слишком стар; когда его завели и захватили тяжелый косяк, невод разлезся. Вся рыба ушла. Рыболовы пустили в ход палки, багры и стали хватать рыбу кто чем мог.

Кета нравилась переселенцам. Они решили солить ее и сушить, запастись на зиму.

Ход был ранний, кета шла еще не уставшая, жирная и толстая, отливала серебром. По крутым рыбьим бокам – багровые и лиловые разводья. Мужики в толк не брали, что за пятна на кете²⁶.

– Идет она во множестве, толпой, верно, и колотится друг об дружку до синяков, – предположил быстрый на всякие соображения Федор.

Однажды поутру, выйдя из своей землянки, Егор увидел, что на песчаной косе, выступившей из-под спадавшей воды как раз против его жилья, под берегом, какие-то гольды ловят большим неводом рыбу.

Было пасмурно и ветрено. Слабые волны лениво набегали на косу. Казалось, вся природа озябла и сжалась за ночь от сырости и холода. На песке стоял голоногий парень в коротких, выше колен, штанах и держал в руке «пятовой» конец невода. Лодка с гребцами, описав по реке полукруг и ведя «забегной» – передний конец невода, поспешно возвращалась к пескам, как бы стягивая плавучую дугу из частых поплавок.

«Рыбачат под моим берегом без спроса», – подумал Егор.

Гольдская лодка подошла к берегу. Один из рыбаков, ежась, побежал по песку к стогу. Приблизившись, он стал хватать сено пучками и совать за пазуху. Он, видно, промок, замерз и хотел согреться. Егору показалось, что от стога, который накануне привез он с острова, чуть не половина убыла. «Под моим берегом рыбачат без спроса да еще берут сено. На чужом месте хозяйничают!»

Мужик обозлился на рыбаков, как только может обозлиться человек, давно уже не ссорившийся ни с кем, накопивший в себе много разных обид и вдруг решивший все их выместить. Ему и в голову не пришло, что гольды от века каждую осень ловят рыбу у додыгинских кос, а что такое сено и зачем оно нужно, не знают, и что тут никакого посягательства на его права не было и быть не может. Но таково уж свойство новосела – полагать началом жизни в новом краю лишь тот день, когда он сам приехал.

Можно было подумать, что Егору никто не чинил такой большой обиды, так он разозлился. Гольды в этот миг казались бог весть какими злодеями. Да тут и впрямь можно было посердиться и выказать свои права. Как слыхали мужики, гольды были народом смирным и незлобивым, так что обидней всего стало Егору, что именно они, не спросясь, завладели его берегом. Будь это русские мужики или солдаты и нанеси они Егору обиду пожесточе, он стерпел бы. Оно и понятно: обижал бы тот, от кого не в диковину сносить обиды. А тут вдруг... Этого стерпеть никак нельзя.

Егор выбрал подходящий кол и, вооружившись им, скинул бродни, подсучил портки и побрел через заводь к пескам.

Гольды вылезли на берег и с короткими оживленными возгласами бойко перебирали веревку, вытягивая невод на косу. Было заметно, что тянут они порядочную тяжесть. Егор тут заметил, что пучки сена подвязаны зачем-то на подборках невода.

Вдруг вода ожила, забурилась валами. Огромные голубовато-серебристые рыбины с шумом заплескались на мели и наперебой запрыгали из воды, пытаясь выскочить из невода.

²⁶ Эти пятна – брачный наряд кеты, идущей осенью в горные речки на икромет.

Мелькали бьющиеся хвосты, пасти с зубами и пятнистые бока. Рыбы было так много, что у Егора зарябило в глазах.

Гольды стали бить кету веслами по головам и закрывать ее сверху широким неводом. За косой, к которой они тянули невод, были мелкие заводи и широкие лужи; некоторые бойкие рыбы пытались по ним бежать. Одна жирная и грузная кетина, всплескивая воду сильными ударами хвоста, промчалась мимо Егора, выбралась на узенькую кошку, отделявшую лужу от реки, и, быстро толкаясь хвостом и карабкаясь плавниками, пыталась перебраться по мокрому песку; сгибаясь то так, то этак, она словно оглядывалась, опасаясь, что гольд догонит и хватит ее веслом.

– Эй, уходи отсюда! – крикнул Кузнецов, приближаясь к рыбакам.

Но они либо не обращали на него внимания, либо не слышали его слов за ветром и за работой. Нестарый гольд в меховой шапке, двое парней в халатах из рыбьей кожи и девчонка выбирали рыбу из невода. Ловко хватая кету за хвосты, гольды раскачивали ее и бросали в длинную и широкую лодку, до половины нагруженную вздрагивающей серебристо-лиловой рыбой.

На корме сидела патлатая, толстощекая, румяная гольдка. Она была беспокойных рыб веслом, чтобы поскорее засыпали. Одна кета перепрыгнула борт лодки уже после того, как женщина ударила ее.

Вдруг, к изумлению Егора, гольдка подняла за жабры небольшую рыбу, разгрызла ей голову и, присосавшись, зачмокала, морщась от удовольствия.

«Что делает? Живую рыбу жрет!» – подумал Кузнецов и решительно подступил к рыбакам, еще более на них озлобившись.

– Проваливай с этого места! – крикнул он погромче, обращаясь к старшему гольду, перебиравшему мокрый невод.

Тот разогнулся и посмотрел удивленно. У него было плоское лицо, словно вдавленное у переносицы, и выпуклый лоб.

Кузнецов подскочил к нему, вырвал невод и толкнул гольда в плечо по направлению лодки.

– Отъезжай, чтобы тут духу твоего не было! Наловил – и дуй отсюда! Не твое место!

Рыбак упирался и что-то с чувством говорил, тыча себя пальцем в грудь и показывая на берег. Опутанная упавшим неводом, всплескивалась невыбранная рыба. Парни, опустив руки, стояли в нерешительности, поглядывая на Егора. Проворная девчонка забралась в лодку и, примостившись на корме, казалась довольно спокойной, должно быть полагая себя в безопасности подле матери.

Гольд снял шапку, обнажив высокий лоб. Улыбнувшись, он заморгал. Маленькие руки его доверчиво потянулись к неводу.

– Ступай, ступай! Нечего балясы точить! – выразительно махнул рукой Кузнецов. – А то нашел где рыбачить! На чужом месте. Много вас найдется!..

Гольд наконец рассердился. Его маленькие черные глаза сделались острыми и забежали в косых прорезях. Он закричал тонко и пронзительно.

– Да ты что это? – рассердился Егор, подымая палку. – Говорят тебе, улепетывай и больше сюда не ходи!

Гольд побрел, опустив голову и что-то бормоча. Девчонка закричала, прижавшись к матери.

Егор последовал за гольдом и, добравшись до лодки, с силой оттолкнул ее.

Лодка отошла. Рыбак догнал ее по воде, а парни побежали вброд через заводь.

На косе остался невод – грубая, крепкая снасть, широкая и длинная, искусно свитая из травы. Поплавки были сделаны из коры уже знакомого Егору бархатного дерева и из свитков

бересты, а похожие на маленькие кирпичики грузила – из мастерски обожженной красной и белой глины.

Шум у реки привлек внимание всех жителей поселя.

Все переселенцы вышли из землянок на берег. К Егору, хлюпая по холодным лужам, подбежали разутые Федюшка и Санка.

– Ах, Егор, Егор, ты чего же это наделал?! – с укоризной вымолвила, подходя к мужу, босая Наталья. – Зачем невод отнял? Они, верно, не понимают, что у нас сено накошено. Зря ты!..

Ребятишки стали выбирать из невода оставшуюся рыбу.

– Чего зря! – со злом воскликнул Федор. – Пусть-ка знают, как рыбачить на чужом берегу! Нет, родимые! – с восторгом победителя орал Барабанов, грозя кулаком гольдской лодке, качавшейся в отдалении на волнах. Видно было, как волны разбивались о ее нос и вихрями брызг обдавали борта. – Не тут-то было, теперь без невода-то попробуй порыбачить! Поделом, поделом тебе! – кричал Федор.

– Невод-то широкий, – говорил Тимошка. – Таким ловко рыбачить. Гляди какой! Теперь понятно, почему у нас не ловилась.

Дед Кондрат в подсученных штанах бродил вокруг, осматривая туземную снасть.

– Смотри ты, какая работа! – говорил он Пахому. – И то правда, каждая пичужка своим носком кормится.

– У них, Иван сказывал, коров нет, – твердила Наталья, – рыба да рыба, а больше им и есть нечего. А ты отнял невод. Зачем так обошелся?

– Между соседями чего не бывает, – отвечал Егор. – Теперь про сено знать будут.

Ему хотелось оправдаться перед детьми. Не желал он, чтобы они научились обижать людей, вот так вот отбирать, что придется.

– Тятка сено косил, старался, он за это сено, мамка! Ты бы щи варила, а пришли бы чужие и съели.

– А они рыбу ловили, а он забрал... – ответила мать.

Васька помутнел взором и косо взглянул на отца.

Глава двенадцатая

Мужики, занятые постройкой землянок, никак не могли собраться вместе порыбачить. Тем временем невод висел без дела.

Возвратившись на Додьгу, Иван Бердышов ни разу не спросил Кузнецова, где тот взял невод туземной работы. Бывало, пройдет мимо коряг, покосится на растянутый бредень, потом на Егора, и только густая бровь у него дрогнет, но он ни словом не обмолвится. И Егор молчал.

«Хитрый! – думал Егор. – Молчком хочет все узнать. Чует... Он тут как хозяин».

Федор впоследствии рассказал Бердышову, что Кузнецов отобрал невод у рыбаков, но Иван никак не отозвался о таком поступке соседа и опять смолчал, словно не слышал ничего. Барабанов немало этому дивился. Он привык, что люди охотно слушают сплетни про соседей и осуждают их непременно. Впрочем, он поведал про это не со зла на Егора, а из простого желания позабавить чем-нибудь Ивана Карпыча. Но тот никакого удовольствия не выказал, даже обидно было Федору.

Иван и Анга по приезде домой занялись ловлей кеты на зиму. Вдвоем им трудно было управляться с большим неводом. Со своими гольдскими родичами Иван почему-то не хотел рыбачить. Крестьяне в помощь им посылали ребятишек. Илья, Санка, Петрован работали у Ивана, гребли в лодке, тянули невод, возили рыбу. Бердышов обучал их обращаться с неводом. За работу он роздал им лодку рыбы.

– Не даром робыли у Ивана, – говорили мужики.

Лишь часть рыбы засолили они на зиму. Но соли было в обрез. Кету, добытую палками и руками, вялили на ветру. Бердышовы из части своей добычи готовили юколу. У Ивана налажены были длинные вешала из нескольких рядов жердей. Анга пластала рыб ножом и вешала их сушить. Жабры и внутренности рыб она выбрасывала собакам. Жерди, унизанные красными комьями кетового мяса, прогибались от тяжести. Когда ветер тянул снизу, от вешал разило гнильем. В жаркие дни рыбу дочерна облепляли мухи.

– Зачем тебе столько рыбы, Иван Карпыч? – полюбопытствовал Тимоха Силян. – Разве ты такой постник?

– Как же, паря Тимша, я шибко богомольный! – отвечал Бердышов. – Да и собак кормить чем-то надо.

Тимоха уж и сам догадывался, что это корм для собак, что для своих страшных псин готовит его Иван.

– Так ты для собак? А я думал, сам все съешь и зубы сотрешь жевавши.

– Что получше, отдам собакам, а остатки сам догрызу. А ты становись на четвереньки, сунь пасть в реку и цеди. Рыба сама ползет. Сквозь зубы Амур процедишь, рыбу всю сжуешь – и голодный останешься.

Смущенный Тимоха приумолк. Иван за словом в карман не лез.

– А у тебя пошто, Иван Карпыч, собак так много? – спросил однажды соседа дед Кондрат.

– Разве это собаки? – удивился Бердышов и, подмигнув, добавил: – Это кони, паря дедка.

Кондрат ничего не сказал Бердышову, но принял ответ за насмешку и насупился. «Завидует, что нам коней доставили!» – решил он.

Дед запомнил, что Иван ему ответил, и как-то пожаловался на него сыну.

– Он, бабушка, верно тебе сказал. Ведь зимами тут ездят на собаках, вот они ему как кони, – ответил Егор. – Али ты не видал, как по Енисею инородцы нартами ходили?

– Тебе бы, Иван, настоящего коня завести, – сказал дед Бердышову в другой раз, – хозяйство поставить, скотина чтобы была...

– Будет время, однако, обзаведемся, – ответил Бердышов. – Я прошлый год брал коня, да сплавил его в Тамбовку.

Брал он у казны и корову и тоже продал переселенцам, потому что ходить за ней было некому. Анга, бесстрашно охотившаяся на зверей, побаивалась домашней скотины. А Ивану, как на грех, досталась такая бодучая корова из диковатых бурятских забайкалок, что с ней не было никакого сладу. Гольды считали дойку делом неприличным.

– Как тебе не стыдно? – говорили они и смеялись.

Сначала Иван сам доил корову, потом, когда Анга привыкла к ней, Ивану приходилось стоять тут же настороже. Да еще сначала гольдка просила мужа, чтобы он держал ружье наготове. Но когда Бердышовы уходили на промысел вместе, коня и корову не на кого было оставлять.

Хотелось Ивану и пашню пахать, и хозяйство завести. Деньжата у него были, он мог купить и коня и скотину. Но не торопился – он хотел, чтобы жена его сначала обжилась подле русских и переняла от них умение вести хозяйство и ходить за скотом.

Анге и самой хотелось поскорей стать русской, чтобы Иван не стыдился ее. Она проявляла любопытство ко всему, что делали переселенки, и живо все перенимала. Она училась говорить по-русски, выказывая в этом редкую способность.

Когда в землянках не было еще печей, бабы пекли хлеба в бердышовской избе. Глядя на них, и Анга стала стряпать калачи и подовые пироги с ягодами. А раньше, кроме пресных лепешек, делать ничего не умела.

Ягоды на Додыге было много. В конце июня, когда приплыли переселенцы, в тайге созрела смородина и малина, вскоре на деревьях зачернела черемуха, которую бабы сушили и толкли,

а потом стряпали из нее сладковатые пирожки. По осени на лесных полянах синела опавшая голубица. На болотах, за Додыгинским озером, во мхах понемногу доходила клюква.

На Додыге Анга показала бабам место, где у воды на глинистом берегу в изобилии вился по деревьям дикий виноград, а в труппе на пойме все шиповники и орешники были переплетены «кишмишом»²⁷ со сладкими длинными сахаристыми зелеными плодами.

Когда начался ход кеты, к селению стали подходить звери.

– Ты остерегайся, когда за ягодой ходишь, – наказывал Егор жене. – Медведи в эту пору выходят из лесов ловить рыбу. Не дай бог, встретишься!

Коровники на ночь закрывали на запоры. Ребятишкам велено было в тайгу не ходить.

Как-то раз испуганная Агафья Барабанова прибежала домой.

– Федор, вставай-ка, – тормошила она мужа. – Я медведя встретила. Корова-то вышла... Кабы не подрал...

Федор не сразу сообразил, что ему толкует жена.

Последние дни Барабанов заленился. Землянку он сделал, а для коня и для коровы рядом с ней выкопал как бы вторую комнату, отгороженную от жилья толстыми досками. Обе были под одной крышей из накатника с землей. Главное, чтобы можно было зимовать, Федор сделал, а до остального не доходили руки. Забота о жилье и о скотине – самая тревожная из забот – отпала, и Федор вдруг почувствовал смертельную усталость. И хотя работы еще хватало, но браться ни за что не хотелось. Сказалась наконец усталость от долгого сибирского пути.

– Федор, а Федор! – Сильной рукой Агафья потянула мужа за плечо.

Он нехотя поднялся на лавке и с ожесточением схватил себя за подбородок, словно собирался вырвать жидкую бороденку.

– Слышь ты, да ты одурел, что ли? Продери глаза-то... Ступай, кликни Бормотовых али Ивана ли Карпыча, будет тебе валяться: медведь у стана.

– Медведь? – Федор вытаращил свои маленькие глаза и стал живо обуваться.

– Ощерился пастью-то да ка-ак фыркнет!.. Встретился-то, будь он неладный!..

Федор схватил ружье, заткнул топор за пояс и без шапки побежал к Бердышову. По дороге он выпалил из ружья.

– Ты что это? – спросил Егор, точивший у своей землянки топор на круглом камне.

– Беда, Кондратьич, медведь чуть Агафью не подрал! – сказал Федор. – Пойдем к Ивану скорей.

Бердышов, услышав, что к озеру вышел зверь, снял со стены ружье. Егор пришел с рогатиной – он сделал ее накануне, насадил железное острие на палку, собираясь «воевать» с медведями.

– А почему ты, Иван, не берешь штуцера? – спросил Егор. – Ведь он бьет дальше, чем кремневка?

– По привычке старое ружье таскаю.

– Плохи, что ль, новые?

– Нет. Но я все думаю: неужели хуже охотником стал? Хороший охотник должен уметь из плохого ружья взять зверя. Гольды говорят, самое лучшее – пороть медведя рогатиной, а еще лучше ножом. Я тоже думаю, кто к хорошему оружию привыкнет, будет трус.

Пока мужики собирались, барабановская корова сама прибежала на берег к своей землянке.

Барабанов успокоился, сходил домой, взял сошки, чтобы удобней было стрелять, и впопыхах позабытую шапку.

– Рыба есть, теперь мясо надо заготовить на зиму, – говорил Иван.

– Медвежьего-то, – подтвердил Федор.

²⁷ *Кишмиш* – так переселенцы на Амуре называли плоды лиан.

– У гольдов обычай: про медведей не говорить, слово «медведь» не произносить. Ночью про медведей не поминают, а то задерет. А мы орем: «Медведь, медведь!..»

Мужики отправились к озеру напрямик через релку, чтобы оттуда идти на Додьгу. Едва вошли они в лес, как сзади послышался топот. Вдогонку охотникам бежал Пахом Бормотов с ружьем. В последнюю минуту и он решил идти на медведя.

– Медвежатничал? – спросил его Иван.

– Приводил господь!

Спустившись к озеру, охотники увидели на песках частые медвежьи следы, шедшие в разных направлениях вдоль берега.

Иван повел их налево, к устью речки, стараясь держаться под зарослями.

– Вон мишка-то лакомился, – показал он на красноватые кустарники, обрызганные звериной слюной, – загребал лапами и, паря, посасывал.

В голосе Бердышова, как и обычно, когда он говорил про зверей, слышались и умильное любованье медведем, и дружеская насмешка над его привычками.

След привел охотников к одному из рукавов Додьги. Речка обмелела и притихла. Течение несло красные и желтые листья. Из-под спавшей воды выступило широкое каменистое русло. За галькой на берегах стоял густой елово-лиственный лес, а под сухим подмытым берегом торчали во множестве корни деревьев. Вся тайга, вместе с подлеском и с тонким слоем перегноя, стоявшая на белом песке, была видна как бы в разрезе. Отяжелевшие синие грозди мелкого винограда свешивались с оголенных прибрежных побегов.

В воздухе с криками летали чайки и коршуны. В прозрачной зеленой воде вверх по течению стайками пробиралась кета. На камнях поток змеил изображение рыб, как в кривом зеркале.

– Вот лиса рыбачила, – пнул Иван зубастую рыбою голову. – Сейчас все – и звери и птицы – жрут эту красную рыбу почем зря.

На камнях повсюду виднелись гнившие остатки рыб, выловленных птицами и животными.

– Первые-то дни эта рыба была жирная, а нынче отошала, – заметил Егор, – горб у нее растет, зубья она скалит, нос крючком стал.

– Ход оканчивается, – ответил Иван. – Рыба эта из моря идет и всю дорогу не жрет ничего. Последняя самая отошала идет. Сейчас она голодная, злая. Вон, гляди-ка, разодралась. – Иван показал на брызги в речке.

Горбатые, ослабевшие рыбины плескались на мели, хватая друг друга зубастыми пастьями. Иван поднял с песка палку и ткнул их.

– Злая эта кета, вон как хватается, аж кожа летит. По речке на самый верх заберется, там икру вымечет, закопает ее в песок, в ямки. После этого станет больна. Одуреет зубатка, стоит, уткнувшись мордой в берег, помирать собралась. Трогай ее – она не шевельнется.

– Она уж и сейчас заблужденная идет. Кому не лень, всякий ее схватит, – заметил Пахом.

– Мишка-то, однако, где-нибудь этой же давой промышляет, – проговорил Бердышов.

Он вдруг приумолк и стал внимательно озираться по сторонам.

– Неужто вся эта рыба сдохнет? – спросил Егор.

– Вся пропадает. Молодь выйдет из икринок, ее унесет водой в море, а вырастет – опять к нам же придет. Гольды говорят, что каждая рыба свою речку знает.

– И потом опять вся передохнет? – с изумлением спросил Пахом.

– Опять, паря.

– Какое богатство! Вот бы в Расею его!..

– И тут найдется куда девать... Ну, братцы, тихо. Эвон Михайло-то Иваныч!

Зверь сидел в отдалении, посреди шумного потока, на корневище затонувшей лесины и ловил рыбу. Оскалив пасть, он водил мордой над водой. Высмотрев добычу, хватал ее когти-

стой лапой и подкладывал под себя. Меж косматых задних лап зверя видны были головы наловленной рыбы. Он так увлекся своим занятием, что не учуял охотников, кравшихся за стволами деревьев. Один раз, запустив лапу в воду, медведь потерял равновесие и приподнялся. Мокрые рыбы, лежавшие под его задом, соскользнули с коряги и повалились в речку. Течение унесло их. Медведь, усевшись снова, почувствовал, что под ним ничего нет. Он забеспокоился, поднялся на задних лапах и заглянул под себя. Рыб не было. Медведь, глянув вокруг себя вправо, влево, стал крутиться на коряге и вдруг заревел тонко и жалобно, поднявши морду кверху.

Бердышов выстрелил. Дрогнул тяжелый воздух. Подскочив на лету, словно его перекинуло воздушной волной, испуганно закричал коршун-рыболов и скорей полетел прочь. Медведь громко заревел и, схватившись лапой за морду, как человек, которого ударили по лицу, покачнулся. Не устояв на мокрой лесине, он грузно бултыхнулся в реку и с ревом кинулся было бежать по воде, но лапы его подкосились, зверь вдруг осел и повалился на бок. Вода валом забила через него, как через плавниковую лесину, обросшую водорослями.

Мужики забрели в Додьгу и вытащили медведя на берег.

– Третьяк²⁸, – определил Иван. – Отьелся за лето, как купец.

Егор вырубил толстую березовую палку. Лапы зверя перевязали попарно, просунули жердь под узлы. Егор и Пахом подняли тушу вверх ногами, взвалили ее на плечи и отправились в поселье.

– Как он орал-то ребячьим голосом, жалко же ему добычи стало, – говорил Бердышов, идя позади мужиков.

– Много же тут этих медведей. Скотину шибко охранять надо, – рассуждал Егор.

– Зато волков нет, – возразил Иван. – А этот к поселью редко придет, ему в тайге достает чем кормиться. Вот тигра уж ежели повадится, то будет горе-гореваньице. Хищная, пропастина!..

– Бывает тут и тигра?

– Редко заходит, но случается. Гольды ее не стреляют – боятся. Она ежели к кому пристанет – не отвяжется.

Берегом Додьги охотники вышли обратно к озеру. Впереди шел Федор с ружьем, за ним Егор и Пахом несли тушу зверя. Иван замыкал шествие.

– Ээ, гляди-ка, это кто еще на озере? – вдруг воскликнул Барабанов.

От устья главного русла Додьги саблей искрилась белоснежная длинная коса, за ней в даль озера потянулись небольшие острова-отмели. На одном из них сидели два черных медведя. Издали их можно было принять за людей.

– Туда шли, как мы их не увидели? – изумился Пахом.

До медведей было далеко, выстрелом не достать. Мужики, положив тушу на траву, разом закричали, стараясь вспугнуть зверей. Но медведи продолжали сидеть, изредка ворочая головами.

Так и не удалось мужикам полюбоваться бегством испуганных зверей; снова взвалив добычу на плечи, они двинулись домой.

Дома зверя освежевали и поделили на части между всеми переселенцами. Иван рубил медвежатину и, раздавая куски, наказывал, когда мясо будет съедено, вернуть все кости.

– На что тебе кости? – спросил Федор.

– Надо. Да ты не забудь...

– Кости мне ни к чему, – с оттенком обиды сказал Барабанов.

– С костей не разбогатеешь, а беду наживешь, – подтвердил Бердышов. – Да смотри, круто зверятину не соли, а то другой раз медведь злой будет.

²⁸ То есть трехгодовалый медведь.

Егор, подумавший, что Иван шутит, принес домой мясо и позабыл передать жене его наказ. На обед бабы наварили щей и нажарили медвежатины с диким луком. Зверь попался молодой, и все досыта наелись.

После обеда Наталья выбросила полную тарелку костей собакам. А на другой день дочка Кузнецовых Настя, опрометью пробегая мимо отца, кряжевавшего лесину подле огорода, испуганно и злорадно крикнула ему:

– Ага, тятка, попался! – и, сверкая пятками, помчалась к землянке.

Вскоре оттуда появилась Наталья. Настька спешила за ней.

– Какие с нас кости Иванова баба просит? – спросила мужа Наталья.

Егор вспомнил и рассказал.

– Будь они неладны с причудами-то! Вот дочка прибежала и орет в голос, что Анга велит кости отдать, а то, мол, тебя зверь погубит.

– Собаки-то грызли, а Иванова тетка видела. Она говорит, если костей не отдашь, то и Ивана и тебя, обоих вас, медведь задерет, – прерывающимся голосом выговорила Настька.

– Слушай их, дочка, больше! – молвил Егор. – Это Иван шутит...

Глаза у девочки прояснили.

Бабы собрали оставшиеся кости и отнесли Анге, недоумевая, зачем они ей понадобились.

Потом уж Иван, посмеиваясь, признался, что, по здешним понятиям, съевши медвежье мясо, следует кости зверя закоптить и снести в тайгу.

– Этим он как бы отпускается обратно, чтобы еще раз нагулял мяса и приходил опять. Так тут гольды понимают, – объяснил Иван. – Уж такой обычай... Я о вас же беспокоился.

– Да-а... Ишь ты! – удивлялись мужики, опять не беря в толк, дурут Иван или сам верит. – Еще раз чтобы... А коптить-то зачем?

– А коптить-то – это, однако, вроде как шкуру обратно на него надевают.

Бердышов смотрел хитро, но не улыбался.

– Охотники! Конечно, может быть, и есть у них такой обычай, – сказал Егор, когда Бердышов ушел. – А может, и чудит Иван.

Все эти разговоры, про здешние обычаи и про разное колдовство шаманов и шаманок, ему не очень нравились: он опасался, что Иван сам не верит. В то же время Егор старался найти свое место всякому здешнему понятию.

– Как-никак, а без ружья, Кондратьич, тут не прокормишься, – говорил Федор. – Надо бы и тебе винтовку купить, вместе бы на зверей зимой пошли.

– Надо бы, конечно, – задумчиво соглашался Егор.

Он понимал, что охота тут будет большим подспорьем. Но сам он шел на Амур за землицей, а не зверей ловить и здешний порядок жизни перенимать не хотел и поддаваться никому из-за охоты не собирался. Становиться охотником он не желал. Он даже ружья не купил, хоть и мог бы сделать это, если собрал бы все гроши и поднатужился.

Он шел в Сибирь землю пахать и сеять и без своего хлеба не представлял жизни ни для себя, ни для детей, когда они подрастут. По его мнению, охотник был чем-то вроде бродяги, если у него нет пашни.

А Егор хотел осесть на новом месте крепко, прочно, трудом своим доказать, что он не боится, что не на кисельные берега и не на соболей надеялся, когда шел сюда. Он даже радовался, что рубит такой густой лес и корчует такие пеньки.

Он не был суеверен, не признавал ни леших, ни ведьм, ни чертей, не был и набожен, хотя и молился. Но казалось ему, что чем больше тут положит он сил, чем трудней ему будет, тем лучше будет жить его род, поэтому не жалел он себя. Он желал подать пример и другим людям, как тут можно жить.

«Конечно, почему бы и не поохотиться на досуге? – думал он. – Здесь в самом деле грехом было бы не ловить зверей, если они сами подходят чуть не к избе».

Но бегать за ними и надеяться детей прокормить промыслом он считал позором. В жизни, полагал он, хорошо можно делать только одно дело, хотя бы и другие удавались.

Несмотря на большую бороду, Егор был еще молод: ему недавно перевалило за тридцать – он женился рано, – и он со всей страстью хотел потрудиться.

Глава тринадцатая

С каждым днем все холоднее и злее становились ветры. На реке день и ночь бушевали седые валы, омывая песчаные косы.

Еще в сентябре на сопках появилась осенняя желтизна. Ветры гнали из тайги шелестящие вороха красных и желтых листьев. В октябре ударили первые морозы, выпал обильный снег.

На реке появились ледяные забереги; сопки побелели, и река между ними казалась огромным черным озером. Вскоре шуга зашуршала о забереги, и даже в сильные ветры волн на реке не стало.

Погода стояла переменчивая: то начиналась заверть – снегопад с диким крутящим ветром, снегом застилало лес и реку, видны были только кромки берегов и черные окраины вод; то день выдавался тихий, из тумана проглядывало солнце, а в воздухе стоял по-морскому сырой амурский холод.

Исподволь наступала зима. Бердышов предсказал, что первая половина ее будет пуржливая и падут глубокие снега. Сам он после хода кеты иногда уходил с собаками белковать на ближние горы в кедровники. Жена его, оставаясь дома, чинила зимнюю одежду, делала меховые обутки, самолосы на зверей, готовила оружие к зимнему промыслу, вытачивая железные наконечники для стрел и копий.

Кузнецовы заканчивали устройство зимовки для коня и коровы. Около своей землянки, большой, просторной, они выкопали в береге широкую яму, укрепили в ней стены жердями и перегородили надвое. Сверху закрыли накатником и дерном, устроили вход с деревянными задвижками, чтобы зверь не подобрался ночью.

Наталью и бабушку заботила Буренка. Корова была нестарая и смирная, но либо как следует не раздоенная, либо испорченная: молока давала мало, так что не хватало ребятишкам, а один сосок совсем не доился. Наталья предполагала, что вымя запустили на барже, где за коровами нехотя ухаживали каторжанки.

Наталья следила за выменем, старательно раздаивала, надеялась оживить сосок. Старуха прикладывала к вымени припарки.

Ударили трескучие морозы. Встал Амур. Над его широкими торосистыми просторами мели сухие леденящие юго-западные ветры. Дни установились солнечные и жгучеморозные. Тоска брала Наталью, когда поутру глядела она из своего маленького оконца на ледяную долину реки. Еще по осени время от времени, весело посвистывая, проплывали мимо поселя пароходы, шли баркасы, везли товары, сплавлялись запоздалые баржи; солдаты и кандальники пели над тихим Амуром заунывные родные песни.

Теперь за окном была безлюдная снежная пустыня; редко-редко промчится под черными обрывами дальнего берега гольд в длинных низких санях, запряженных собаками.

Наталья старалась не смотреть на реку. Страшная стужа, казалось, сожжет, заглушит все живое. Идет зима, нет у семьи ни муки, ни молока, и даже ружья нет у Егора. Мало теплой одежды: все износилось, изорвалось, надо бы делать новое.

Наталья кляла казну: словно в насмешку, доставили зерно. А как его молотить? Но женщина не смела опускать руки. Она знала: если отступится, все погибнут.

Хлеб, муку и зерно крестьяне тратили понемногу. Мука почти у всех кончалась, а ручных жерновов у переселенцев не было. Надо было подумать, как молотить доставленное на барках зерно.

Егор наладил ручную мельницу: он выпилил из крепкой лиственничной чурки пару одинаковых кругляшей, набил в них осколки изломанного чугуна, выдолбил желобки и приделал ручку. Ребятишки глаз с отца не сводили. Между кругляшами, как между жерновами, перемалывалось зерно. Егор молоть обучил ребят. Работали Петрован, Настя и Васютка. Чтобы приготовить муки на квашню, ребятишкам приходилось ворочать деревянные жернова целый день.

Как ни дорога была мука, а Наталья решила делать корове болтушку.

Каждое утро по морозу шла она в коровник, разгребала глубокие снега деревянной лопатой. Буренка мычала радостно, чувствуя, что сквозь сугробы пробивается к ней хозяйка, несет корм. Открывалась дверь. Жаркий мокрый воздух с запахом навоза ударял в нос.

Наталья гладила корову, чистила ее бока в грязных завитках шерсти, садилась у вымени и, вытирая его насухо, трогала соски. Молоко струйками ударяло в подойник.

Вдруг она заметила, что из глухого соска также сочатся капли молока, едва надавишь и оттянешь его пальцами. Вот и ударило струйкой, с визгом.

Радость охватила женщину. Сосок раздаивался! Боже ты мой! Неужели корова выправится?

Васька и Настя выгребали навоз, стелили корове сухую траву. Петрован за перегородкой ссорился с Саврасым. Наталья, идя домой, взглянула на реку – ледяная пустыня уже не пугала ее сегодня так, как прежде: ведь корова-то молока прибавила!

С каждым днем корова стала давать больше молока. По утрам Наталья приносила дымящийся подойник. Ребятишки наедались досыта, и взрослым стало хватать.

Темнело рано. Дети долго рассказывали сказки, потом укладывались спать. Шумел ветер в лесу. Женщины чинили одежду при свете лучины.

Детям кажется, что теперь ничего не страшно: есть жилье теплое, ветер не продует, есть зерно, молоко... Корова в тепле. Такой ветер и стужа, а отец закрыл ее, завалил крышу. Ребятам представляется, что корове и коню в эту холодную злую полночь так же тепло и уютно, как им самим. Они тесней жмутся друг к другу.

Однажды утром девчонка Бормотовых принесла Наталье свежего мяса.

Накануне Пахом Бормотов с Илюшкой повстречали на опушке чащи имана. Козел прибежал из тайги, по-видимому спасаясь от преследования хищников. Бормотовы погнались за ним на лыжах. Иман вяз в сугробах, дырявил наст, оставляя на нем кровавые следы. Ноги его были изранены, он убегал медленно, и охотники догнали и убили его неподалеку от поселения.

Бормотовы часто похаживали в тайгу на поиски зверя. Пахом оказался запасливей других переселенцев. Всю дорогу он питался Христовым именем и сберег часть ссуды. Летом на Шилке он сторговал себе у казаков три пары охотничьих лыж, подбитых коровятиной²⁹, а еще под Красноярском у кузнецов взял самодельную сибирскую винтовку. Из дому он привез свое старое кремневое ружье. Ночами Илюшка рубил свинец и катал карточки, заготавливая охотничий запас.

Следом за Бормотовым в тайгу потянулся Федор Барабанов. Он собирался заняться охотой по-настоящему. На родине он ловил лисиц и рысей, ружьишко у него было. Иван отдал ему свои старые лыжи, и Барабанов бегал на них к Додьге проверять поставленные на лисиц ловушки, разбрасывал приманки тем же способом, как это делали охотники на Каме, ходил с собакой белковать на ближние горы, в кедровник.

– А куда будешь продавать добычу? – спрашивал Егор соседа.

– Весной на баркас.

²⁹ То есть коровьей кожей.

* * *

– Федор, а Федор, – приставала Агафья, когда муж приходил домой, – мука-то кончается, намолоть бы хоть для ребятишек.

У Барабановых запас муки окончился, и они пробавлялись размолотым зерном, из бережливости подмешивая в него толченых сухих гнилушек.

Как ни раскидывал Федор умом, приходилось открывать следующий мешок с зерном.

– Федор, так как же?

Руки опускались у Барабанова. Каждый день приносил ему новые печали и заботы, новый ущерб, а прибыли с самого приезда еще ниоткуда не было.

Однажды Федор попробовал подговорить Бердышова взять его с собой в тайгу на соборный промысел.

– Однако, это дело не пойдет, – насмешливо возразил ему Иван Карпыч. – Ходи ко мне, смотри, как я ловушку лажу, а уж в тайгу вместе не пойдём – это ведь зверованье, а не ково-нибудь! – вымолвил он, состроив суровое лицо, такое же таинственное и непонятное, как и то, что он сказал.

Свое «зверованье» Иван держал в тайне. Никто не знал, когда он уходит на охоту. Только свежая лыжня на снегу указывала направление его пути.

Обычно он пропадал на несколько дней, потом так же неожиданно появлялся поутру в поселке. Иногда исчезала вместе с ним и Анга. По его неясным рассказам выходило, что и она была первейшая охотница и меткий стрелок.

* * *

В свободное от охоты время Иван частенько заходил к Кузнецовым. Покуривая трубочку, сидел он в теплой землянке и, посмеиваясь, выслушивал суждения переселенцев об амурской стороне.

– Здешняя рыба против расейской вкусом выдает, – говорил Тимоха.

– Это только кажется! – отзывался Егор.

– Нет! Ешь, ешь ее и никак не наешься, – подхватывал Барабанов. – Брюхо набьешь – и опять голодный.

– Вали в тайгу, там наладишься, оздоровеешь, – твердил Бердышов. – Белки сейчас шибко хорошие.

– Без ружья да без собаки? Куда пойдешь? Шапкой, что ли, белок ловить? – возражал Егор.

– Шапкой! – смеялся Иван Карпыч. – А почто лучком не хочешь? Гляди-ка, гольды сколько этой белки лучками стреляют. Да и орехов наберешь; их снегом сейчас навалило, только подбирай.

«Не хватало мне с лучком идти!» – думал Егор.

После снегопада Анга звала крестьянок сходить в кедрач за шишками, но переселенки боялись уходить далеко от поселка. Немного шишек набрали ребятишки на холме. Несколько малых кедров росло на бугре над обрывом. Илюшка посшибал с них все шишки.

Иногда Иван запрягал в нарту собак и, размахивая палкой, лихо ездил.

– Скачет, как на конях! – показывал дед вслед исчезнувшей в тайге нарте. – А я думал, он просмеял меня.

– Чудной все же этот Иван, – говорил Тимошка Силин.

Глядя на людей, Егор сделал себе лыжи-голицы. Подшивать их нечем. У Егора нет ружья. Мужик смотрел в окно. Луга – вот они. От самого горла озера Мылки начинались поймы и острова. Река встала, теперь дорога туда есть. «Неужто я охотиться не сумею?»

На лугах лисьих следов множество.

В заросли желтых трав, торчащих из сугробов, стал приходить Егор. Отсюда видно релку, лес за ней, дымки землянок. Кузнецов расставлял петли и капканы.

Однажды Егор принес в мешке окоченевшую лису. Он подвесил ее к потолку. Лиса оттаяла; и когда кровь стала капать на пол, мужик снял с нее шкуру, а полумерзлое мясо выбросил собакам.

В другой раз Егор пришел с охоты озабоченный. Оказалось, что он видал черно-бурую лису.

– Иду, а она сидит смотрит. Я близко подошел – не убегает. Кинул в нее палкой, попал по ногам – убежала.

Будь у Егора ружье, он наверняка бы принес богатую добычу.

Дед Кондрат решил сам сходить за черно-бурой лисой. Егор запомнил место. Мужики отправились на остров. Егор показал свежий след хромой лисы. Старик наладил петлю и неподалеку поставил ловушку с приманкой. Но лиса не попадалась.

– Ты ее напугал, – говорил дед, – теперь она боится.

Как ни хитрили Кузнецовы, черно-бурая лиса обходила все их ловушки.

* * *

Однажды поутру, глянув в обледеневшее по краям окошечко, Егор увидел на восходе над горами правого берега темно-синюю зубчатую тучу с разлохотанными краями. В этот день начался снегопад. Ветер утих. Мокрый снег обильно падал хлопьями, наваливая большие рыхлые сугробы поверх старых, крепких задулин³⁰. В тайге от тяжести снега, навалившегося на деревья, с треском ломались ветви.

После снегопада потеплело. С реки подул чистый, свежий ветер. Под вечер ребята, отработавши в стайках и на релке, играли в снежки и делали снеговую бабу с сучьями вместо глаз и носа. Васька наладил из обрывков веревок постромки, запряг в самодельные салазки Серого и Жучку и, подражая Бердышову, кричал: «Та-тах-та-тах!» Бедные дворняги путались в веревках, Васькиных окриков не слушали, а глупо мотались из стороны в сторону, то и дело вываливая своего погонщика в снег. Вдруг из бердышовской избы выскочила Анга. В синем халате, с непокрытой черноволосой головой и с длинной трубкой в руках, она, прыгая по сугробам, подбежала к Ваське. Живо распутавши постромки, она сама помогла собакам сдвинуть салазки и, покрикивая на них, пробежала шагов сто. Когда псы разбежались, она отстала. Санки вязли в рыхлом снегу, но крестьянские собаки, хотя и не были обучены ходить в упряжке, не оставались и протащили через сугробы визжащего от удовольствия Ваську. Ребятишки с криками восторга бежали по берегу. Анга, стоя на своем крыльце, курила трубку и смеялась.

Усталые собаки, обежав по релке круг, приплелись к землянкам. Высунув языки и тяжело дыша, они остановились у бердышовской избы. Гольдка, лаская их, присела на корточки и стала растолковывать ребятишкам, как надо учить собак таскать сани, как ими править и как погонять.

До этого случая ребята побаивались Ангу. Теперь между ними установилась дружба. Гольдка с радостью обучала детей езде на собаках. Васька, слушая ее, объездил своих псов, а на него глядя занялись собачьей ездой и другие ребята. Вскоре черно-белые пятнистые крестьян-

³⁰ *Задулina* – крепко сбитый ветром сугроб.

ские собаки стали лихо таскать салазки, а Санка даже приспособился возить на них кадушку с водой от проруби.

Сама Анга понемногу привыкала к новой жизни. Говорить по-русски она стала чище и каждую пятницу приходила к бабке Дарье с просьбой:

– Корыто давай!

– На что тебе корыто?

– Стирать надо.

– Ишь ты! – каждый раз удивлялась бабка. – Ну чего же, бери вон там в углу. А своего когда заведешь?

– Не знаю. Иван-то уж наладит ли, нет ли, – отвечала Анга и уходила с корытом. А под вечер у ее избы ветер холопал обледенелым бельем на веревке, протянутой меж лиственниц.

– Чистотка, – говорили про нее бабы, – не смотри, что гольда.

Когда Иван уходил в тайгу один, изба его становилась местом сборища баб со всего поселья, приходивших посмотреть на Ангу. Особенное любопытство проявляли крестьянки к тому, как она деревянным молоточком выделывала на чурбане рыбью кожу. Сшивая рыбы шкурки вместе, она кроила и шила из них передники, халаты, обувь с загнутыми морщинистыми носами и даже штаны Ивану.

– Тепло на рыбьем-то меху? – бывало, подсмеивался над ним Егор.

– А где ты тут русскую-то лошоть возьмешь? – недовольно возражал Иван. – На баркасе-то она кусается, а у китайца и того дороже. Ладно, в тайге и так проходим. Чай, не на ярмарке, нас тут не видать.

Впрочем, такие шуточные замечания переселенцев удручали Ивана, и он озабоченно оглядывал свою одежду и вскоре совсем перестал носить штаны из рыбьей кожи.

Мужики были довольны, что наконец и они пробрали Бердышова своими шутками, а он на этот раз не нашелся чем отшутиться.

Из сохачьих шкур Анга делала теплые куртки, рукавицы и меховые торбаса, искусно расшивая их бисером и цветными нитками.

Егор, раньше недоверчиво относившийся к гольдке, однажды, сидя у Ивана, не удержался от похвалы, глядя, как она хозяйничает.

– Ладно, значит, – с живостью отозвался Иван. – Так ничего, что нерусская?

– Это ничего. Крещеная она – значит наша. Только почему ты ей не закажешь табачищем дымить?

– Охотница же она, в тайгу ходит, – возразил Бердышов, – а в тайге как же без табаку? Никак нельзя. Я знал под Нерчинском старика, так тот всю жизнь эту трубку изо рта не вынимал. Длинная у него трубка была. Спать ляжет – возьмет ее в зубы и лежит посасывает. Трубка погаснет – он проснется, огоньку высекет, опять раскурит – и на бок.

Однажды, глядя в окно, как Бердышovy пошли за нартами на лыжах через Амур, Егор сказал, обращаясь к Наталье:

– Иван со своей гольдячкой в тайгу пошел. Славная она...

– Да ведь какая переимчивая, будь она здорова, скуломорденькая, все понимает, – стуча чугунами у печи, подтвердила бабка. – На все руки излагивается...

Глава четырнадцатая

Непривычная рыбная пища плохо грела крестьян, они мерзли, дух их падал, они робели и не решались на далекие путешествия в тайгу, чтобы добыть себе мехов и мяса. Быстро сказывалась скудность привезенных с собой запасов. Хлеба уходило много, а покупать его было негде. Сознание оторванности от всего мира угнетало переселенцев. В свободное время или в непогоду они собирались в землянках и толковали о своих делах.

И Егора день-деньской одолевали невеселые думы. Правда, он находил себе работу и без дела не сидел, но на душе его было тяжело. Впрочем, он знал, что хоть камни с неба вались, а он должен здесь окорениться.

Как-то раз сидел Егор у окошка и подшивал бродень, когда в землянку вбежала запыхавшаяся бабка Дарья.

– Иди-ка, Егор, бельговские торговцы приехали! – воскликнула она.

– Какие еще торговцы? – недоуменно глянул Егор. – Откуда взялись?

– Иди, говорят тебе, живо! Китайцы на собаках муку привезли да синее, бязь, что ли...

– На какие вши покупать-то станем? – покачал головой Егор и отложил бродень на лавку.

– Федор сговорился с ними в долг. Сказывают, уж на тот год осенью расчет делать будем.

Ступай живей!

Кузнецов вышел из землянки. На снегу под бугром, у барабановского жилья, стояли две собачьи упряжки. Двое торговцев, одетых в мохнатые ушастые шапки и в широкие черные шубы на длинношерстном белом меху, возились подле длинных нарт. Рослый работник развязывал веревки, разгружал тюки и таскал их в землянку к Федору, а другой – сухощавый и подвижной – укладывал собак на снег и разбирал запутавшиеся постромки. Ватага неуклюжих ребятишек, похожих в своей тяжелой одежде на маленьких мужичков, с любопытством наблюдала за ними.

Это приехал Гао Да-пу – хозяин бельговской лавки, решивший ссудить новоприбывших переселенцев товарами. Мылкинские гольды донесли ему, что переселенцы, живущие на Додьге, пробуют заниматься охотой, и купец решил поторговать с ними.

Торг происходил в землянке. Торговцы скинули свои шубы и остались в синих засаленных стеганых штанах и кофтах. Они уселись на корточки на полу и раскладывали посреди землянки дабу, сарпинку, нитки и разные безделушки. В углу на курятнике лежало несколько длинных и узких мешков с мукой.

– Ну, хозяин, как на новом месте поживаешь? – весело спрашивал Гао Да-пу. В умных карих глазах его была настороженность. Бегло, но со вниманием оглядывал он собравшихся в землянке переселенцев. – А-а. Федора, Федора! Знакома имя! Почему старое место бросил? Наверно, там земли мало, на новые места надо ходить, там помещики есть, тут нету? Моя дома тоже помещик есть, земли мало, там шибко худо жили.

Гао слышал, что переселенцы уходят со старых мест из-за малоземелья и помещиков. Он знал, о чем надо говорить, чтобы расположить к себе новоселов.

– Наша до`ма совсем худо, наша папка своя стара китайская Расея бросил, на новое место ушел... Своя Расея давно не видала. Ну как, паря Федора, откудава твоя ходи, какой города приехала, какой деревня, какой твоя города фамилья? Че тебя пермяка? Ребята, все сюда таскай! Как не боиза! Шибко далеко ходи! – восклицал китаец и, ворочая белками, ловил малейшее движение окружающих. – Это, однако, твоя товарища, – кивнул он на Егора. – Одна компания, на одном баркасе ходи. Там, Расея, ваша одна деревня жили или разна?

«Да, вот это китаец так китаец!» – подумал Егор.

Он лишний раз убедился, что китайцы – народ живой, это заметил он еще летом, проплывая по границе. Но там он видел китайцев-тружеников – крестьян и рыбаков, а этот был богач, ловкий мужик – с ним надо было держать ухо востро. Он и по-русски говорил так, что заслушаешься.

– Моя на китайска сторона жить не хочу. Русские самые хорошие люди! У меня только коса китайская, а сам я настоящий русский! Только по-русски писать не могу! Как узнаю, где приехали русские, сразу еду помогать. Губернатор Муравьев мне тут велел торговать, всем сказал, что меня обижать нельзя! – строго оглядел мужиков торгаш. – Моя имя русское – Ванька Гао Да-пу.

Однако голодным мужикам было не до рассуждений.

- Ну а мука у тебя почему? – спросил Кузнецов.
- Мука? Мука, скажем, совсем даром: два рубля восемьдесят копеек.
- А ну, открывай мешок-то!
- О, смотри! – воскликнул торговец, распуская жестокое и сухое лицо в улыбку. – Хорошая мука, белая-белая мука, будет вкусный хлебушка.
- Он протянул Егору горсть муки.
- Пшеничная, что ль? Чего-то не пойму.
- Я в Благовещенске такую видал, – проговорил Тимошка Силин, – она с горохом, что ли, не знаю. Кешка сказывал, хлеб из нее черствеет скоро.
- А это что такое? – спросил Пахом, указывая на черную палку, торчащую в мешке.
- Это такой угли, – ответил торговец, – чтобы мука сухой была.
- Ты пошто такую цену ломишь? – вдруг заговорил, поднимаясь с лавки, желтый и тощий дед Кондрат. – Виданное ли дело, родимые, – обратился он к мужикам, – мука с горохом чуть ли не по три рубля?
- Чего кричишь? Чего напрасно? – с горькой обидой в голосе накинута торговка на деда. – Зачем говори три? Два восемьдесят! Кушать не хочешь – не покупай! Весной такая мука десять рублей будет. Эту муку сегодня не купишь – не надо! Моя уезжай! А весна придет – тебе хлеба нету. Тебе весной пропади, умирай, а моя другой раз сюда ходи не хочу.
- Да ты хоть маленько уступи, – подговаривался Барабанов. – Мы бы тогда у тебя всю муку забрали.
- Уступи, уступи! – передразнил Гао. – Эта мука настояща цена три рубля. Моя и так убыток торгуй. Покупай! – кричал торговец, вскакивая на ноги. – Знакомы станем! – Он хлопнул Барабанова по плечу, видимо подражая русским купчикам и стараясь принять вид заливчатый и развязный. – Тебе чего надо – у меня в лавке все есть. Вали ходи, все бери, какой товар есть – все продаю! Моя сам собаки запрягай, таскай сюда. Тебе соболь убивай, лиса лови, моя шкурка бери – расчете станем. Потом опять долг бери.
- Федор достал из темного угла несколько беличьих шкурок и лису-сиводушку.
- Белка – какой зверь! – пренебрежительно отозвался торговка, рассматривая шкурки. – Соболь – хорошо!
- Это ты зря говоришь: белка – хороший зверек, – пытался вразумить торговца Пахом. – В Расее-то самый ходовой мех.
- Конечно, белку могу купить, помогай хочу, – подмигнул китаец Федору и передал беличьи шкурки своему работнику, а сам стал смотреть лису, поглаживая ее, дуя на мех и переламывая шкурку.
- Рослый работник повертел беличьи шкурки в руках и передал их обратно своему хозяину, что-то буркнув потихоньку.
- Самая хорошая белка – десять копеек, а такая белка – пять копеек, – с горячностью проговорил Гао. – Такую белку только русский купец летом на баркасе покупает. Наша такой товар шибко не надо, мало-мало надо. Белка невыгодно торгуй, тебе невыгодно такой зверь стреляй. Белка много убей, а товар получи мало. Все равно ничего нету. А тебе один соболь поймай – деньги есть, товар есть...
- Тем временем и лиса и белки снова попали в руки рослого китайца, и тот упрятал их в мешок.
- Ты хороший человек, – хвалил торговец Барабанова. – Моя не боится тебе в долг давать. Тебе соболя поймай – моя разные товар давай, тебе наша мука кушай, шибко сильный будешь, потом лучок сделаешь, тайга пойдешь, всяка-разный зверь убей. Худой соболь ты поймай – моя два рубли плати, хороса соболь – три рубли, шибко-шибко хороса, паря, – моя пять рублей не жалею. Товар всякий бери, водка покупай – гуляй, – соблазнял он мужиков.

– Ну а лису как же ты ценишь? – спросил Федор, недовольный тем, что китайцы забрали меха, не спросив его согласия.

– Это лиса ничего. Хороса лиса. Такой шкурка можно покупай. – И китаец назначил сходную цену.

Бормотовы принесли торговцу беличьих меха и шкурку кабарги. Пахом был упорней Федора и спорил до седьмого пота.

Егор продал свою красную лису.

Долго торговались мужики с купцами; наконец те уступили, и крестьяне забрали у них всю муку и несколько отрезков бумажной материи, обещая отдать долг к весне мехами либо к осени деньгами.

В разгар торгового в землянке появился Бердышов, только что вернувшийся с охоты.

– Ваня, дорогой, старый знакомый! – кинулся к нему Гао Да-пу. – Давно не видались,шибко давно.

– Э-э, здорово, Ваня! – отвечал Бердышов. – Ну, как торгуешь? Муку продал?

– Провдал, все продал. Тебе чего надо, какой товар? Почему давно в нашу деревню не ходил? Тятка Гришка, однако, сильно скучай. Ангу давно не видел. Папку худо забывать.

Иван вынул из-за пазухи сморщенную соболиную шкурку.

– А ну-ка, глянь!

– Лучком стрелял?

– Самострелом!

– Анга тоже в тайгу ходит?

– Конечно, Анга тоже.

Китайцы вывернули шкурку, тщательно осмотрели ее, передавая из рук в руки и обмениваясь короткими замечаниями.

– Шкурку сам снимал? – спросил торговец Бердышова. – Зачем шкурку сломал? – сердился Гао Да-пу, обнаружив, что соболь попорчен ножом. – Сам не умеешь снимать, спроси Ангу.

Это была обида – посылать охотника к бабе учиться, но Иван лишь посмеялся.

– Ну а вот это как? – вынул Иван из-за пазухи еще одного соболя, вывернутого мездрой вверх.

– Это хороший! – воскликнул довольный Гао и принялся уговаривать Ивана Карпыча купить жене стеклянных бус, морских ракушек или цветного ситцу. – Твоя баба молодая, ей русскую рубаху шить надо. Ангу надо русской бабой сделать, юбку надо, сарафан. Тебе деньги не жалеи.

Бердышов все же не стал покупать материю, потому что у Гао была лишь плохая сарпинка и синяя китайская даба. Он уговорился, что лавочник приготовит ему к рождеству муки и двадцать локтей русского ситца.

– А спирту надо?

– Спирту? – Иван нахмурился, помолчал и, вдруг засмеявшись, ответил: – Что же, давай и спирту. Сдохнуть с тобой! Да уже заодно и ящичек пороху – вот и сочтемся, там за тобой еще за старые меха оставалось...

Иван как-то странно посмеивался. Но в чем тут дело – Егор в толк не брал.

Агафья приготовила торговцам угощение. Они попили кирпичного чайку и стали собираться в обратный путь. Гао Да-пу сложил соболей в мешок. Рослый работник вынес остатки товаров из землянки и погрузил их на нарты.

За два-три часа, проведенные среди переселенцев, для Гао Да-пу стало очевидным, что они живут бедно и голодно.

Он заметил их оживление, когда они увидели мешки с мукой. Нюхом торговца он чуял, что тут ему будет пожива, и он стремился затеять с ними торговлю и ввести их в долги.

Гао был уверен, что со временем переселенцы обживутся и так же, как и в других поселениях, станут поставлять дрова для пароходов, возить почту и охотничать, тем самым добывать деньги. Впрочем, он рисковал. Каждую весну вновь прибывшие переселенцы повально болели цингой. Многие умирали, а сородичи их, оставшиеся в живых, медленно возвращали долги. Как понимал Гао, цинга должна была к весне появиться и на Додье, но он не боялся. Он помнил, что торговля – риск, и старался раздать побольше товара всем мужикам, надеясь с тех, кто останется в живых, взыскать убытки.

– Эй, старик! – обратился китаец к Егору, которого по бороде принял за старика. – Тебе ружье надо, нет ли?

– Ружье-то? Что ж, надо, надо. А у тебя есть, что ль?

– Одна штука есть, – китаец поднял кверху указательный палец. – Моя сам не шибко надо, моя уступи могу.

– Его охота ходи нету, – заговорил другой китаец, показывая на хозяина.

– Моя торгуй, моя тайга не ходи, стреляй не надо.

– У тебя ведь фитильные ружья-то, зачем они сдались? – заговорил Бердышов. – Нет, братка, мы себе ружье летом на баркасе возьмем.

– Ну ничего, – без сожаления отступился китаец от своего намерения продать старое ружье. – Моя другой товар есть, че надо, говори: порох, свинец, крупа, мука, халаты.

Лежавшие собаки, видя, что сборы закончены, зашевелились. Первым поднялся вожак, а за ним и вся упряжка.

Торговцы попрощались с мужиками. Гао, закутавшись в шубу, сел на заднюю нарту. Его работник потянул переднюю нарту, пробежал вместе с упряжкой несколько шагов и, когда псы разошлись, прыгнул на нарту на мешки с товарами.

– Беда этот китаец-торгован! – промолвил Бердышов, кивая вслед Гао Да-пу. – Всякое барахло норовит насовать. Вишь ты, фитильное ружье хотел сбыть. Хитрый же! Ему зимой-то раздолье – один он тут по всей округе. Муку он нынче подходяще оценил.

– Политичный же этот китаец! – покачал головой Федор. – Почтище другого писаря!

– Помещика поминал! – горько усмехнулся дед Кондрат.

Собаки мчались вдоль берега, нарты быстро удалялись. С Амура несли жесткий ледяной ветер. Солнце склонилось за дальние сопки, тайга, красная от заката, раскинулась вокруг.

– Ну, слава богу, теперь с мукой! – с облегчением вымолвила бабка Дарья, когда Егор притащил мешок в землянку.

– Уж теперь настряпаю, – говорила Наталья. – Пирогов напеку. Ягода-то наморожена у меня, ягодного-то пирожка. Отмучились, ребята! Слава богу, теперь молоть зерна не надо!

Зерно оставалось для посева. Радовались и дети и взрослые.

«Теперь бы мне кстати поймать чернобурку, – подумал Егор. – Купили бы у торговца еще муки и на одежду».

Егор стал собираться на охоту.

«Эка он разохотился!» – думал Кондрат.

– Видишь, лавочник-то сказал мне, что надо, мол, зверя ловить... – заметил Егор.

Приезд китайца не только облегчил Егору жизнь, но и оживил переселенцев. Оказывался, и тут есть народ бойкий, торговый, оборотистый.

– Наторговались, родимцы! – бормотал дед. – Теперь в долгу как в шелку.

Дверь вздрогнула от порыва ветра, и в землянку клубящимся паром ворвался мороз.

Глава пятнадцатая

Солнце встало в густом тумане и, поднявшись над лесом, светило тускло. В вершинах деревьев прыгали белки. Под кедрами валялись пустые шишки и ореховые скорлупки.

Федор Барабанов, волоча в глубоком снегу лыжи, забирался на сопку. С тех пор как китайцы побывали в поселке с товарами, он стал больше охотничать. Чуть ли не каждый день поднимался он затемно и уходил на Додыгу проверять свои ловушки. Он расставлял их верстах в трех-четырех от поселка по лесистой долине, где было много лисьих следов. Там же Барабанов постреливал белок. Хорошей охотничьей собаки у него не было, и за ним иногда увязывалась его старая, уже беззубая дворняжка Серко. Обычно Федор стрелял белок лишь в том случае, когда сам их видел.

В погоне за прыгающим зверьком, переходя от дерева к дереву, Барабанов добрался до старого кедрача. Кругом были толстые деревья с красноватыми стволами и длинными иглами. В их гуще исчезла белка, и Федору пришлось долго бить по стволу палкой, прежде чем зверек решился на отчаянный прыжок. До ближайшего дерева было далеко. Белка побегала в ветвях кедра, несколько раз то появляясь, то исчезая, но глухие удары дубины о ствол снова выгоняли ее из густой зелени. Наконец, изогнувшись и жалко опустив лапки, белка со слабым стоном прыгнула через полянку. С испугу она промахнулась и попала не на ветку, а на ствол и ухватилась коготками за лиственничную кору. Она судорожно вскарабкалась вверх и заметалась по голой качающейся ветке. На миг она было притаилась, расстелив свой пушистый хвост. Федор мгновенно выстрелил. Белка перепрыгнула на кедр, но не удержалась в вершине его и стала падать.

«Готова!» – подумал Федор. Но зверек замер где-то в нижних ветвях. Барабанов с силой швырнул туда палку так, что упали кедровые шишки. Следом свалилась раненая белка и забилась на снегу. Федор добил ее и привязал к поясу.

Шишки он тоже подобрал и, пощелкивая орехи, двинулся дальше. «Да-а, вкусные орешки, – подумал он, – только пальцы коченеют. Пожалуй что, и впрямь стоит сюда прийти с мешком».

На другой день он забрал с собою в тайгу Санку и кузнецовских ребят. Те забирались на лесины, рвали шишки или сбивали их, колотя по ветвям палками. К обеду притащили в деревню полмешка кедровых шишек.

Теперь щелканье орехов слышалось во всех углах. Ореховой шелухой и смолистой кожей от шишек, прилипавшей к одежде и к обуви, ребяташки засорили пол и лавки. Не привыкшие щелкать орехи, ребята натирали себе пузыри на языке, но все же не могли оторваться от назойливого лакомства.

Вечером в землянку к Кузнецовым заглянул Бердышов. Егор показал ему новую свою добычу – красно-пегое молодого лисовина. Зверь попал в ловушку, и бревно, прилаженное на приманку, придавило его.

– Чего же, ладно. Продашь китайцу... Тольконими эту шкуру ладом, а то она ломаться станет.

Наталья поставила на стол деревянную чашу с орехами. Иван грыз их, перекусывая орехи поперек, быстро выбирая языком ядрышки из скорлупок.

– Орехи грызть за мной ты никак не поспеешь, – усмехнулся Бердышов, глядя, как Егор кусает орехи вдоль, ломает и скорлупу и сердцевинку, а потом все сплевывает, не сумев разобрать языком, что можно есть, а чего нельзя. – Это еще не такие хорошие орехи: скорлупка толста, щелкать их неловко. А вот у нас в Забайкалье орехи так орехи: скорлупа тоненькая, орешек ядреный, маслянистый. Подсушат их бабы в печи, каленые-то они адали облепиха. Свежие тоже ладны. У нас и масло с них делают и сбойны. Нащелкают девки полную латку, потом заварят кипятком, распаривают, прижухливают веселком. Масло-то отделяется. Эх, у моего отца дома свой завод был: и латки, и камни, и котел! Масло мы делали ореховое. На усдобление идет. Ведь это красота!.. А уж сбойнами до тошноты объедались.

В тот вечер Иван, начавши с забайкальских орехов, вспомнил былую жизнь и долго говорил о своей семье и о родной Шилке.

Он был потомком забайкальских крестьян, которых Муравьев впоследствии записал в казаки. Отец его, небогатый скотовод, земледелец и охотник, всех своих сыновей – их в семье было трое – с малолетства приучал зверовать в тайге. Ивану парнишкой случалось бывать на Амуре и за Амуром. Отца влекли туда слухи о том, что там видимо-невидимо зверья. Однажды Бердышовы заплутались, долго бродили по тундре и, выбравшись на Амур, голодные и обмороченные, наткнулись на китайский караул. Они еле-еле отстрелялись от него и снова ушли в тайгу.

– В те времена маньчжуры строго смотрели, чтобы русские на Амур не выходили, – говорил Иван. – А инородцы эти еще и в те времена хороши были с нами. Мы им на расторжку всякую мелочь таскали: стеклышки, нитки, сережки. Русский, бывало, у них первый гость. Нас почитали. Рисковое дело было промыслить за Горбицей пушнину. Ведь, бывало, тыщу верст прешься, как не знай куда. Ну, уж если бы попались, была бы печаль.

Ушел Иван от Кузнецовых в задумчивости и расстройстве, что случилось с ним всегда после того, как поминал он родину и сравнивал старую свою жизнь с теперешней.

Живя на Амуре с гольдами, он надеялся со временем разбогатеть и богатством вознаградить себя за страдания и бедность. Хотелось ему, чтобы слух о его богатстве дошел до Шилки, чтобы и на родине услышали, как зажиточно живет Иван. В Бельго он начал жить без гроша за душой. Гольды, приютившие его, сами были небогаты. А в понимании русского человека – без земли, без скота и без хозяйства на русский лад – были почти нищи. Иван, оправившись, стал помогать им, как мог. Он жил бережливей их, не позволял торговцам обманывать себя, промыслил с настойчивостью, а не поддаваясь воле случая, как они, из года в год добывал все больше и больше пушнины. Анга быстро переняла от Ивана эту настойчивость в стремлении к богатству и помогала ему.

Но, живя среди гольдов, Иван не мог разбогатеть: приходилось делиться с ними своим достатком, платить их долги, отстаивать их в ссорах с торговцами, что ему всегда удавалось делать если не хитростью, то силой.

Торговцы побаивались Ивана и не перечили ему. Но и он зря с ними не ссорился и со временем стал заступаться за гольдов только в случае крайней нужды.

Почти все бельговцы через жену приходились Бердышову родственниками, и отказать им в помощи он не мог. Когда они проедались или пропивались, Иван кормил их и даже покупал для них товары на баркасах. Только часть доходов от проданной пушнины ему удавалось утаивать от своих родичей, но больших денег он скопить не мог.

С переселением на Додьгу Бердышов освобождался от назойливых родственников. Анга, которая жила мечтой обрусеть и старалась во всем подражать русским, была довольна отъездом из Бельго, хотя и скучала о доме.

Наступала решающая пора, и Бердышовы стали охотничать особенно усердно, зная, что теперь каждый лишний соболев приближает их к богатству. Воспоминания о доме всегда подхлестывали Ивана. «Поди, уж братья мои и товарищи разбогатели, – думал он. – А я все гол как сокол. За шутками и за озорством жизнь-то и минет. Что с того, что я и силен, и понимаю всякого зверя, и никогда еще не струсил! От силы мне и беда, она зря играет, на безделицу меня прет».

Иван понимал, что больше нельзя терять времени. Однако он знал, что от одного промысла ему не разбогатеть.

* * *

На другой день после беседы в землянке ударил сильный мороз. Деревья заиндевели. С реки опять подул жестокий ветер.

Егор поутру пошел к Бердышову, но того дома не оказалось.

– Где он? – с удивлением спросил Кузнецов у Анги.

– Не знай, куда пошел, – уклончиво ответила та, укладывая в мялку шкуру дикой козы.

Егор догадался, что Иван, верно, на промысле.

– На охоту, что ль, пошел?

– Однако, на охоту! – безразлично ответила гольдка.

Пока Егор возвращался к землянке, на усах у него намерзли сосульки, а воротник полубка закуржавел.

Лес стоял как мертвый. Егор нарубил дров и принес несколько охапок в землянку. Печь жарко раскалилась.

Пришел Барабанов. Он в этот день не решился пойти на Додыгу проверить там свои капканы.

Когда туман рассеялся, Егор заметил, что жена пошла с ведрами на прорубь, но что-то увидела, остановилась как вкопанная и долго глядела вверх.

– Гляди, на небе три солнца, – сказала она мужу, вернувшись.

Егор вышел, а за ним Федя, дед, бабка и ребята.

Над вершинами лиственниц явственно светили три красных солнца: среднее – яркое и большое, и два малых по бокам, соединенных друг с другом мерцающей огненной дугой. Боковые солнца то расплывались и удлинялись, превращаясь в огненные столбы, то снова круглели.

– Я уж который раз это вижу, – говорила бабка Дарья. – Как-то утром вышла я по` воду, гляжу, мать пресвятая богородица, из-за горы два солнца лезут. Я сперва сама не своя стала, а потом смотрю, которое обыкновенное-то, поболее сделалось, а другое тает, тает и вовсе погасло!

– Мороз! – сказал Егор. – Как рожки с боков горят!

Холода стояли целую неделю. Потом сразу потеплело, повалили снега, и начались сильные ветры.

Однажды поутру Егор проснулся от шума и треска в тайге. Едва просунулся он в дверь, как снежный вихрь облепил его мокрыми хлопьями, ветер ворвался в землянку. Кое-как Егор выбрался наружу и стал отгребать снег от двери.

Кругом ничего не было видно. Пурга завывала и свистела в лесу, словно по воздуху с размаху секли цельными деревьями, как прутьями. Ветер дул с верховьев. Снег вдруг понесся сплошной лавиной, словно спустившаяся снеговая туча помчалась по земле, заваливая сугробами всякий холмик, пенек и кустик на реке. Но через несколько мгновений прояснело, словно тучи пронесло.

Наталья пошла по` воду.

Едва спустилась она на лед, как опять застлало все вокруг. Снег слепил глаза, бил в лицо непрерывным и жгучим потоком. От быстрого ветра перехватывало дыхание.

Рыхлые снега на тропе уже были глубоки, местами приходилось пустые ведра поднимать вровень с плечами. Временами рывки ветра останавливали Наталью, тогда она оборачивалась к нему спиной, чтобы хоть как-нибудь перевести дух.

Она дошла до снежной воронки, образовавшейся на месте проруби, разгребла снег, надломила тонкий ледок, настывший за ночь, и набрала воды.

Обратно идти было полегче. Ветер дул в спину, подгонял Наталью, подхватывал ее и нес вперед, а полные ведра хотя и вязли в глубоком снегу, но прокладывали сами себе дорогу, так что за Натальей оставалось три борозды.

Только подымаясь на берег, она заметила, что ветер всю хлещет воду из ведер. Она зашагала побыстрее. Вот уже в снежной мгле зачернела дверь землянки, и в тот же миг Наталья поскользнулась на обдутом обледенелом гребне кособора и упала, перевернув на себя ведро.

Ветер сразу схватил воду и заморозил ее так, что вся одежда превратилась в ледяную корку. Ведра с грохотом покатились вниз через снежные волны.

До сих пор Наталья терпеливо сносила всякие невзгоды, но сейчас ей стало так обидно, как никогда еще не было за все годы, прошедшие с ухода из дому. Слезы полились из ее глаз.

– Господи, за что мучаемся! – с горечью воскликнула она, падая в сугроб и закрывая голову руками. Рукавички ее проледенели насквозь, и руки окоченели до жжения. Ветер стал заносить ее снегом.

Кое-как собралась она с духом, поднялась на ноги, вытерла сухим рукавом лицо, огляделась и полезла под откос. В сугробах Наталья отыскивала ведра и снова поплелась к проруби.

– Ты, Егор, ступеньки вырубь к бережку, – сказала она, возвратившись с водой в землянку, – а то, гляди-ка, я обкатилась как. – Она стала очищать одежду от ледяшек.

– В такую погоду снег надо таять, а не на прорубь ходить, – ответил на это Егор.

– Задним-то умом ты крепок, – вспыхнув и утираясь, отозвалась жена. – Да будь ты неладен со своим Амуром! Куда завез да как тут жить...

Наталья расплакалась. Егор был смущен такой вспышкой жены и молчал угрюмо.

Наталья отвернула мокрое лицо. Ей стало нестерпимо больно: вдруг все обиды, все страдания этого безмерно тяжелого года подступили ей к сердцу. Она подумала, как бы пожалели ее там, в России, на родине, если бы узнали, как мучается она с детьми. «Да нет, и не узнают никогда, мы тут как канули в воду». Она вдруг с ясностью почувствовала, что зашла с мужем на край света, что дальше идти некуда, и горше жизни быть не может, и что пожалеть ее тут некому. От этой мысли стало ей так горько, что она скривилась, затряслась и в отчаянии завывала – завывала чуть слышно, как бы не веря, что плач, рыдания могут привлечь к ней чью-то жалость. Егор казался ей в этот миг чужим, постылым. Тут и от слез не было толку, и она выла в тупом отчаянии только потому, что не могла сдержаться.

Егор поник. Жаль ему было жену. С ней прошел он самый трудный путь в жизни. Она была его помощником, другом. Ее теплота, совет, доброе слово грели сердце мужика и рассеивали его заботы. И вот Наталья, жена, работница, мать его детей, поддалась.

– Наташа...

Страшно ему стало, что жена поддалась, и еще страшнее было, что воет, ревет она не для людей, не для него, а про себя, словно никому не желая открыть своих ран.

– Наташенька... жена...

Она завывала чуть громче, отзываясь на ласковую его речь. Сердце ее просило участия, сочувствия, доброты.

Егор присел к ней. Она заревела в голос и сквозь плач стала браниться, но Егор понимал, что она уже не сердится, что это дурные думы, зло, все плохое выходит прочь из доброй души ее и что, выбравившись, выплакавшись, снова станет она сердцем с ним.

Пурга, то ослабевая, то усиливаясь, пробесновалась целый день. А под вечер к Кузнецовым в землянку неожиданно явился Бердышов. Он вышел из тайги поутру и, как оказалось, уж отоспался, успел хлебнуть стакан водки и теперь решил проведать переселенцев. Все были рады его возвращению.

– Как же это ты, Иван Карпыч, домой-то попал, экая погода, ни зги не видать? – спрашивал его дед.

– Маленько не сбился. Однако, тогда была бы беда, – довольно смеялся Бердышов.

Набегавшись по тайге до усталости, он опять был в хорошем настроении. Охота у него была удачная, он раздобыл соболей. После недельного шатания по тайге в одиночку он радовался теплу и людям.

– Отец учил нас не блудить в тайге, приметы передавал. Это как грамота, еще трудней – так мой тесть-то говорит. Вот однажды отец воткнул в сугроб бутылку с водкой и говорит: «Вали по следу, ищи ее. Найдешь – твоя, а не найдешь – отдеру!»

– Ну-у!.. – открыл рот Федюшка.

– А-ах! – воскликнул дед. – Ну? Неужто так и сказал?

Иван усмехнулся.

– И выдрал, значит? – продолжал любопытствовать дед.

– Пропала иль нашел? – спросил в свою очередь Егор.

– Конечно нашел, – безразлично ответил Иван, словно это само собой подразумевалось, – куда денется!

– А-а!.. – разочарованно отозвался дед, словно пожалел, что Ивана в свое время лишний раз не выдрали.

Завыл в трубе ветер, и снег с шумом забил по двери. Дрожал ставень. Лучина затрещала, вспыхнула и погасла. Наталья высекла огонь, зажгла новую лучину и воткнула ее в поставец.

– Экая лютая погода, – заметил Егор.

– Нет, не всегда и тут такие зимы. Это испытание новоселам: как, мол, не оробеют ли?

– Чего же робеть? – возразил Егор.

– Даст бог, окоренитесь, – продолжал Иван, кутаясь в козью шубу и прилегая боком на лавку. – Потомит она годик, а потом отпустит. Только бы не высокая вода летом, можно остров распахать, тогда бы уж все ладно было. А непогода – это пустяки. Вообще-то всегда бывает какая-нибудь лиха беда, когда придут новоселы: пурга ли, высокая ли вода, или другое чего.

Пришел Барабанов и стал у двери, отряхиваясь от комьев снега.

– А тебе, Федор, однако, ловушки теперь не найти, – вспомнил вдруг Бердышов. – Занесло всю твою охоту. Ты когда ее проверял последний-то раз?

– Третьеводни был, да ничего не попалось.

– А на соболей-то ты ладишь самострелы?

– А как же, конечно, да все без толку!

– Ты чего-то не так устраиваешься, – посмеялся Бердышов в сознании своего охотничьего превосходства.

Рванул сильный ветер и с шумом понесся по тайге.

– Экий ветрина! – вздохнул дед. – О господи!..

– Кто по Амуру сейчас едет, тому уж горе-гореваньице, а в тайге все же не так, – сказал Иван, прислушиваясь к шуму.

– Давно слышал я, еще в Расее, – заговорил дед, – что есть будто у нас земля, а населения на ней нет. Еще тогда баили, что станут выкликать в народе охотников на переселение, а не сыщут охотников, пошлют невольников. Земля та будто сурова, не в пример холодной Расеи.

– А вот ведь, братки, не знаю я, где эта самая Расея, – вдруг сказал Бердышов. – Какая она из себя?

– Даст бог, Иван Карпыч, и тут леса порубим, земли запашем, тоже Расею сделаем – поглядишь тогда, – простодушно ответил Егор.

– Вот теперь я который год от переселенцев слышу: Расея да Русь, сам же русским прозываюсь, а где она, эта матушка-Русь, откуда население все идет, – я и не знаю. Забайкалье свое знаю, Шилку знаю. Онон, Ингоду до верховьев – по-нашему это и есть самая Русь. На Селенге бывал, далее – Байкал, в Иркутске дядья мои бывали ходоками от нерчинских мужиков – везде народ по-русски говорит, и мы эти места всегда за коренную Россию держим. – Иван помолчал и усмехнулся. – А оказывается, ниче, паря, я не знаю... Гураны мы, уж гураны и есть, тайга и тайга... самовара не видали.

– Ты, может, и про Питер да про Москву не слыхал? Чего с тобой сделаешь! – молвил Силин.

– Пошто не слыхал! Там император живет, это я знаю, тамока дворцы, соборы, эти города и нам столицы. Да я не пойму только, почто тут-то не Русь? Не одинаково, что ли, с вашей местностью? – хитро прищурился он.

– У нас разве такая жизнь! – воскликнул Федор и стал рассказывать, какие хлеба родятся на Каме, какие там богатые села.

– Я послушаю, как на старых местах народ жил, меня бы, однако, медвежатиной отсюда не сманили. Чего же вы сюда приехали, коли там лучше?

– Чего ты понимаешь про Расею! – вдруг обиделся дед Кондрат. – Это страна великая, народ в ней крепкий, кондовой. Здешний-то край Расее же подчинился!

– Ваши забайкальские-то похожи на бурят, – промолвил Егор.

– Верно, на верхней Аргуни казаки на бурят смахивают, а наши-то, шилкинские, от них совсем отличны. Роды-то наши от первых поселенцев, – со сдержанной обидой возразил Иван. – Кто волей, а кто неволей шли в Забайкалье. Так же, как вы на Амур... У нас деды расейские были, русы волосы имели, еще и сейчас про русы косы да про золоты кудри песни поют, а золотых-то кудрей мало, почитай, ни у кого нет, кроме семейских. А песня-то как поет: «Подойди, родима матушка, русу косу расплети, подойди, родимый братушка, русу косу расплети...»

– Почернел народ, озлился, – усмехнулся дед.

– Это уж потом они маленько почернели. Но все равно родятся беленькими. Пока младенцы – белобрысые.

– Хитрый народ эти забайкальские! – с досадой и восхищением сказал Федор.

– Маленько-то, конечно, хитрованы. Да без хитрости нельзя. Как ты с инородцем станешь жить иначе? Наши забайкальские при границе жили, у них это хитрованство-то как заслон от чужих. Тут на хитрость только и жить. С торгованами, с албанщиками³¹ встречаемся. Тут одни торгоши. Они за работу не уважают, а уж хитрован – первый у них человек.

– Все же сибиряки не похожи на расейских, – шутиливо возразил Егор, видя, что Ивана такие замечания хватают за сердце, – за своих трудно признать забайкальцев-то.

– Как разведка на войне! Прадеды наши пошли вперед, стали жить в Забайкалье, далее этот Амур наши же забайкальские отыскивали. Это теперь потянулся народ из России. На Амуре-то окоренимся, а молодая-то поросль дальше, может, потянется. В Забайкалье легче было, чем тут. Бурята там ха-ароший народ, с ними жить да жить, они русского человека как следует понимают.

– А как китайцы? Что за народ?

– И китайцы народ хороший!

– Ладно, что они тут торгуют, а то бы совсем худо было, – сказал Федор.

– Конечно! Кто бы торговал? Где бы хлеб-то брали? – подтвердил дед.

– Ну, летом, ладно, на баркасе, – продолжал Федор, – а зимой? Амурские-то купчишки – зверистый народ, сам говоришь, жулики как на подбор. Поглядели мы на них в Хабаровке, не дай бог к ним в кабалу попасть. Без китайцев бы тут трудно было. А бельговский лавочник вон какой боец да говорун, такой и обманет – не жалко.

– За присказку-то? – усмехнулся Егор.

– Сдались они тут, как в петровки варешки! – недобро возразил Бердышов.

Егор уже не впервой замечал, что Иван недолюбливает бельговских торговцев.

– Конечно, настанет время, уйдут, наверно, – сказал Кузнецов.

– Вестимо, – подтвердил Федор, – разве продержишься. Тут теперь с Руси полон Амур найдет народу.

– Охота мне повидать Расею, – продолжал Иван задумчиво. – Я когда-нибудь еще поеду туда...

³¹ Албанцики – сборщики дани – «албана».

Глава шестнадцатая

С приходом на Амур крестьяне плохо соблюдали старые обычаи, ели мясо в постные дни и в посты, лишь бы было где его взять; если стояла хорошая погода, то работали и в праздники и по воскресеньям, хотя и помнили эти дни. Они считали себя тут как бы свободными от прежних суеверий и предрассудков. Тут было все не так, как на родине. Старые обычаи и приметы были теперь ни к чему.

Какой же мог быть домовый в землянке! Только в пурге некоторые переселенцы еще по-прежнему видели черта, с чем Бердышов никак не соглашался.

– Все черти тут при гольдах живут, – смеялся он, – у них этих чертей беда, шибко много, а при русских чертей нету. Поразговаривай-ка с Ангой, она их всех знает, где какой.

Забывались и старые песни. Давно уж не певали их крестьяне, и не хотелось петь, чтобы не берeditь душу воспоминаниями о родине.

В Рождественский пост переселенцы вовсе оскормилась. Бормотовы подстрелили в верховьях Додыги секача³².

К рождеству и у Кузнецовых и у Барабановых были мука и мясо, и бабы стали подумывать, как бы отпраздновать праздники, чтобы хоть чем-нибудь оживить свое унылое житье-бытье.

На последней неделе поста морозы отпустили. Стояли ясные, хотя и ветреные дни. Как-то поутру, еще затемно, в землянку к Кузнецовым ввалились Иван и Федор, одетые в полушубки и в дохи. По их движениям, как они рассаживались на лавки, и по их оживлению Егор, лежа на печке, догадался, что мужики что-то задумали.

– Ну, Кондратьич, подымайся, – хлопнул себя кнутовищем по валенку Федор.

– Чего еще затеяли? – привстал Егор.

– Праздники станешь ли справлять? – спросил Бердышов.

– Стало бы с чего их справлять, – отозвался из теплого угла дед.

– Чего тут! Ни попа, ни церкви, – возразил Егор. – Если метели не будет, робить бы, а то тут только зря пройдет.

– Грех в праздник-то робить, – покачал головой Федор. Как он ни был скуповат, но погулять любил, хотя часто жалел после гулянок пропитого и проеденного. – Дело-то не медведь, в лес не убежит. А мы было в Бельго собрались, в лавку. Думали, и ты с нами поедешь – крупки купить да и на рубахи бы набрать надо. Айда! Да и водчонки возьмем, надо же и погулеванить, а то тут вовсе зачумишься.

– И то дело, поезжай-ка, Егор, – подхватила бабка. – Настьке да Наталье на сарафаны бы привез к празднику. А то, как на Амур пришли, еще нисколечко для «женского» не брали.

– Конь у тебя застоялся, – сказал Бердышов, – слышно, как назьмы копытами отбивает. Запрягай-ка, живо промнешь его. Поглядишь, как гольды живут. Ты ведь еще не видел. Лодку тебе надо, уговоришься, сделают весной. Лыжи купишь. Забегаешь по тайге-то! Берегись тогда, звери!..

– Денег-то нету. Набрать товару немудрено, да отдавать-то чем станем? – упорствовал Егор.

– Нам и так поверят. А отдавать когда надо будет, тогда и подумаем, – ответил Иван. – Да вот Федюшку свези, пусть и он приглядывается, – кивнул Иван на паренька.

Тот с радостью вскочил с лавки и опрометью кинулся обуваться. Видно было, что и ему до смерти наскучила однообразная жизнь.

³² Секач – дикий кабан, самец.

Ущербленная луна уже побледнела над лиственницами, когда мужики на двух санях съехали с берега на широкий амурский лед и покатали в Бельго.

Федор лежал в передних санях между Санкой и Иваном. Бердышов показывал дорогу, чуть намеченную по снегу, а парнишка правил. Настоявшийся Гнедко шел крупной рысью. Егор с Федюшкой и Тимошка Силин лежали в задних розвальнях. Егоров Саврасый, бойко перебирая мохнатыми лодыгами, следовал за передними санями, то и дело набегал на них и, потряхивая гривой, пофыркивал над головой Барабанова.

– Вот ты, Иван, все с бельговскими водишься, – говорил Федор. – А ведь Мылки к нам будут поближе, а из мылкинских ни разу никто не был на Додыге, как мы приплыли. И ты про них никогда не поминаешь.

– Между Мылками и Бельго идет вражда, – проговорил Иван Карпыч. – Они как-нибудь еще драться станут. Мылкинские и меня заодно с бельговскими считают.

– Ишь ты! Чего же это гольды не поделили?

– Из-за девок они в прошлом году поссорились. Тут в Бельго есть старик Хогота, у него сын Гапчи, отчаянный парень, он себе украл бабу в Мылках, она была женой тамошнего богатого старика. Потом мылкинские всей деревней напали на этого Гапчи, хотели ее отбить, но ничего у них не вышло. Ну и затянулась эта канитель.

Федору только теперь стало понятно, почему Иван ни словом не обмолвился, когда Егор отобрал у гольдов невод. «Однако, это мылкинские тогда были. А ты, видно, тоже тут не без греха», – подумал он про Бердышова.

По реке навстречу едущим дул морозный ветерок. Через торосники дорога, чуть намеченная нартами и изредка проезжающими санями, уходила под обрывы правого берега. На середине реки топорщились глыбы битого льда, нагроможденного на мели и вмерзшего во время рекостава.

Заснеженные каменные сопки вереницей плыли назад. Крутые и шербатые обрывы их были черны. Через шесть таких сопек открылся вид на лесистую пойму, на пашу³³ и на глубокую падь, ушедшую клином, как в стены, в крутые и щетинистые хвойно-лесные увалы. Над поймой у самого берега высилась небольшая релочка с обрывами. На ней в порубленных перелесках и уютилось несколько десятков хмурых приземистых фанзушек поселка Бельго.

– Эвон кто такой? – сказал Санка, завидев поодаль от дороги человека, который приник на корточках ко льду и махал палкой вверх и вниз.

– Это рыбак, старик какой-нибудь, махалкой ловит рыбу в проруби, – объяснил Иван. – Как пристанем к лавке, ты беги с Федюшкой, погляди. Без наживы, одним кованцем³⁴ таскает. Рыбак, завидя коней, поднялся и стал присматриваться к едущим.

Бердышов показал дорогу к лавке, и вскоре розвальни, поднявшись на берег, подкатали к глинобитному дому с высокой крышей, стоявшему поодаль от стойбища.

Под свайными бревенчатыми амбарами загремели цепями сторожевые черные псы. Ездые собаки подлаивали им.

Купцы вышли из фанзы. Гао Да-пу, спрятав руки в разрезы стеганой юбки и согнувшись, короткими шажками выбежал вперед и остановился, не доходя саней.

– Давно, давно, Ванча, ты в нашу лавку не ходи, – скалил он зубы, поеживаясь. Собрав в жесткие складки крепкое смуглое лицо, торговец поблескивал бойкими глазами.

Там же сустились, унимая собак, его братья. Старший из них был толст, но проворен. Разогнав собак, он подскочил, чтобы поздороваться с мужиками, и стал с размаху хлопать ладонью по их рукам. Одет он был неряшливо. Грязная стеганая кофта лоснилась, на лысине торчала маленькая засаленная тубетейка.

³³ Паша – пойменные луга.

³⁴ Кованец – кованый остро заточенный крючок.

Младший брат, напротив, выглядел щеголем. Из-под распахнутой лисьей шубы виднелся шелковый черный халат, голову покрывала новенькая шапочка с шариком на макушке, на ногах он носил теплые туфли с толстыми войлочными подошвами; ходил он, как-то необыкновенно выворачивая пятки и покачивая бедрами. У него были живые, шустрые глаза и острое тонкое лицо с тяжелой и неприятной нижней челюстью. Несмотря на разницу во внешности, и у грязного толстяка и у щеголеватого юноши был одинаковый вид сытости и довольства. Старший был, как видно, обжора и здоровяк, а младший имел слабость рисоваться и во всем подражать богатым городским купцам.

Иван Карпыч называл их Василием и Мишей, а самого хозяина – Иван Ивановичем или просто Ваней.

Работники притащили два старых овчинных тулупа и накрыли ими коней, как попонами. Щеголеватый Мишка время от времени резко покрикивал на работников, стараясь показать себя хозяином.

Гао Да-пу обнял Бердышова и повел гостей в лавку. Фанза была полна разных товаров, шкур, китайской мануфактуры, посуды с вином. На канах³⁵ стояли лакированные столики. На всем лежал отпечаток благополучия хозяев.

Мужики и торговцы, как обычно во время купли-продажи, заспорили, зашумели, стараясь перекричать друг друга. Брань повисла в воздухе.

Федюшка и Санка, обогрившись, выскочили из лавки и побежали на Амур к проруби. Там сидел горбатый седой гольд, одетый в коротенькую шубейку, и махал своим самоловом.

Едва ребята к нему приблизились, как он выдернул из проруби щучку. Высвободив из-под жабер вершковую крючок, гольд кинул рыбу на снег. Она забилась и запрыгала, но морозный ветер быстро обледенел и усыпил ее.

Ребята, оглядевшись, осмелели и подошли к рыбаку вплотную. Он поднял к ним дряблое лицо с больными глазами и заискивающе улыбнулся, показывая свой самолов. На короткой палке, на конце поводка, была прикреплена деревянная рыбка, обшитая мехом белки-летяги, а повыше ее – железный крючок. Таково было все устройство снасти.

Старик оказался добрым. Слов его ребята не понимали, но он изобразил движениями, как щука играет с деревянной рыбкой и зацепляется жабрами или боком за прыгающий в воде остро отточенный крючок. Самоловы с ненаживленными крючками ребята видели и по дороге у амурских казаков, но такую простую махалку они наблюдали впервые.

С берега сбежали, направляясь к проруби, двое расторопных гольдят. Однако, разглядев чужих, они помчались обратно, и, как ни кричал им старик, они его не слушали и скрылись в одной из фанз. Гольд сам собрал заколовших щук и, ворча, отправился через сугробы, а Федюшка с Санкой возвратились в лавку.

Мужики набрали водки, ситцев, табаку и разной мелочи. Поскидав дохи и полушубки, они, сидя на теплых канах, пили горячий чай. Торговцы поднесли им по чашечке ханшина; бородатые лица переселенцев покраснелись и повеселели.

Разговор шел о землепашестве на Амуре.

– Моя тут маленький огород есть, – рассказывал Гао Да-пу. – Огурец есть, брюква, капуста. Тоже каждый год землю копаем. На Горюн переселенцы первый раз приехали – моя раньше думай, как они в тайге пашню делай? Потом смотри – его тайга рубили, землю копали, хлеб посеяли. Потом другой год хлеб собирали. Его шибко работай – хлеба немножко, совсем мало получи. Моя думай, ваша шибко много лес руби не надо. Надо соболя ловить, соболя поймать – барыш получишь, мука, водка купи – гуляй можно...

Гао Да-пу советовал мужикам охотничать, суля большие выгоды.

³⁵ Кан – глинобитная теплая лежанка вдоль стен дома, шириной в рост человека, под каном проходит дымоход от очага.

Иван, между прочим, узнал бельговские новости. Оказалось, что в стойбище, кроме женщин, детей и нескольких больных стариков, нет никого. Охотники, ушедшие на промысел осенью, из тайги еще не возвращались.

Погостив в лавке, мужики направились в стойбище с намерением выменять у стариков кой-какие необходимые вещи. Покупки уложили в сани, распростились с торговцами. Иван, встав на колени в передних розвальнях, тронул вожжами Гнедого. Мужики двинулись пешком вровень с санями, переговариваясь с Бердышовым.

Сани переехали редколесье, отделявшее лавку от стойбища.

Нарядные гольдки в ярких халатах стали перебегать из фанзы в фанзу или, открыв дымные двери своих жилищ, громко переговаривались между собой.

– Это ведь для нас они, дурехи, вырядились. А то ходят в халатишках из кетовой кожи, – говорил Иван. – Увидали и понадевали на себя шелка и серебро.

– Бабы же! – отозвался Егор.

– Тут сейчас бабье царство, – засмеялся Иван. – Мужья все в тайге, а старики сами всего боятся. Меньшой лавочник, как петух. А мужики где-нибудь для него же добывают меха.

– Как солдатики, – вымолвил Егор. – Эх, бедность, бедность, – вздохнул он, – везде так бывает!

Подле длинной глинобитной фанзы стоял давешний горбатый рыбак. Он корил низкорослую женщину с серебряным кольцом в носу, стоявшую на пороге. Из-за ее желтого халата, расшитого красными узорами, со страхом выглядывала орава ребятишек, мал мала меньше, с глазами, воспаленными от болезней и дыма, с жестковолосыми черными головами.

Иван поздоровался с горбатым гольдом, и тот, оставив игривую молодуху в покое, поспешно заковылял вровень с санями.

У следующей фанзы, покуривая, сидели двое древних стариков. Один из них слепой, другого согнуло в три погибели от какой-то болезни. Иван вышел из саней и заговорил с ними по-гольдски.

Сопровождаемые тремя стариками, мужики вскоре подошли к дому Удоги – тестя Ивана. Жилье его отличалось от других. В углу сложен очаг наподобие русской печки, а пространство между канов устлано вымытыми и выскобленными досками. На канах стояли русские сундуки, а в окна были вставлены стекла.

Айога и ее сынишка Охэ с восторгом встретили Ивана. Хозяйка хлопотала об угощении.

У всех бельговских гольдов вдруг оказались неотложные дела к Айоге, и они то и дело забегали в фанзу. Некоторые из них, посмелее, усаживались в сторонке, у очага, и с таким видом слушали разговоры приехавших, что казалось, никакая сила не смогла бы сдвинуть их с места.

Айога приготовила гостям кашу с сушеной кетовой икрой. Охэ, полнощекый коротыш в ватной курточке, не отходил от Ивана и ластился к нему, терся большой и чистой стриженной головой о его колени.

– Чего же ты на охоту не ходишь? – спрашивал его Бердышов. – Большой уж, свои нарты пора заводить.

– Тятка не берет, – чисто по-русски ответил ему Охэ.

– Пора бы тебе белок стрелять, как же это ты? Шаманом, что ли, будешь, пошто ленишься в тайгу бежать? – дразнил его Иван. – Еще не собираетесь помириться с мылкинскими? – обратился Иван к старикам.

Бали – гольд с бельмами на глазах, со впалыми щеками и редкими волосами на верхней губе, шамкая, стал с трудом говорить, что Хогота хоть и старик, но еще крепкий и до сих пор ходит на охоту. Ему удалось поймать медвежонка, и он теперь выкармливает его, а летом хочет заколоть, устроить праздник, позвать в гости мылкинских и мириться с ними.

– Ты бы, Ванча, помог нам помириться, – смахнул слезу Пагода.

Это был согнутый болезнью старик со страшной головой. У него на темени седой щетиной торчали стриженные волосы, а маковка и затылок были обнажены, голая кожа на них красна, узловата и морщиниста. Когда-то Пагода попал в медвежьи лапы. Зверь сломал ему шейные позвонки и, ухватив когтями затылок, содрал кожу с головы. Согнулся же Пагода недавно от ломоты в пояснице, так что при ходьбе он касался правой рукой земли.

– С тех пор как ты уехал от нас, нам жить плохо стало, – жаловался старик.

– Нынче весной, если не помиримся, беда будет! – Сказав так, горбатый Бата заморгал красными безволосыми веками. – Мылкинские могут у нас всю деревню перебить. С копьями нападут, станут всех колоть.

Мужикам пришлось долго слушать непонятную беседу Ивана со стариками. Наконец Федор не вытерпел и заговорил о деле. Бердышову и самому надоели жалобы гольдов, и он рад был завести с ними другой разговор. Он стал переводить, и мужики через него завели беседу со стариками.

Егор и Федор условились с Батой о цене лодок, которые делал его сын.

Старики брались вязать мужикам невода и сети, делать снасти, шить меховую обувь, шапки, куртки для охоты. Все эти работы они собирались задать своим дочерям, внукам и невесткам. Однако мужики еще робели сделать гольдам сразу так много заказов и не воспользовались их предложениями.

Тимошка Силин сам, без толмача, сторговал себе у Пагоды пару лыж.

Старики были очень рады приезду переселенцев. Они подробно отвечали на все их вопросы и всячески старались удружить им. Старым гольдам было приятно, что и они еще кому-то нужны и что нашлись люди, слушающие со вниманием их советы и наставления.

Мужики погостили в Бельго до вечера, смотрели фанзы, амбары, запасы юколы, нарты, собачью упряжь и ездовых собак, самолосы, самострелы и копыя. Они побывали около дома Хоготы, где в бревенчатом срубе сидел молодой медведь, предназначенный для угощения мылкинцев.

Прощаясь, Иван звал Айогу на рождество вместе с Григорием и Савоськой, если те к празднику вернутся из тайги.

Затемно мужики двинулись в обратный путь. Ударил сильный мороз, мгла окутала реку, лесистые распадки по склонам сопок казались огромными синими птицами, парившими над ледяной безмолвной пустыней. Мужики кутались в шубы и тесней жались друг к другу, но мороз все же находил себе лазейку. Приходилось соскакивать с розвальней и бегом бежать за конями, только так можно было немного согреться.

Егор, отъехав верст пять и набегавшись, повалился на сено и задремал. Спал он недолго и поднялся, весь дрожа от холода. На реку спустился густой туман. Саврасый, побелевший от инея, перестукивал копытами.

– Не спи, Кондратьич, замерзнешь, – услышал Кузнецов глухой голос Тимошки, толкавшего его в бок. – На-ка тебе!

Силин протянул бутылку. Егор пригубил. В груди его полыхнуло жаром. Федюшка тоже выпил несколько глотков, и братья, соскочив с розвальней, побежали за скрипящими полозьями. Тимошка, закутавшись в тулуп, сидел в санях неподвижно, как бурхан.

Жар горел в теле Егора, лицо жгло и ломило от мороза, дыхание перехватывало. С разбегу он опять повалился на сено. Тимошка снова достал бутылку и, потянувши из горлышка, сунул ее Егору. Кузнецов выпил, завернулся в доху и лег ничком. Голова его кружилась, теплая истома полилась в ноги и руки.

– Эй, там! – закричал вдруг Тимошка, обращаясь к передним саням. – Не спите! Какие-то навстречу едут. Слышь, собаки заливаются...

Егор прислушался. Скрипели полозья, екала селезенка у Саврасого. Конь тяжело дышал и шебаршил копытами по дороге. Откуда-то из темноты вдруг явственно донесся собачий лай.

– Берегись, Тимошка! – громко и насмешливо отозвался Иван. – Едут не наши, а чужие! Шибко едут, держись!

Лай становился все громче и ожесточеннее. Вдруг с передних саней послышались испуганные крики Федора, и сейчас же их перекрыли чьи-то чужие гортанные голоса.

– Никак встретились! – воскликнул Тимошка. Он нахлобучил шапку и, на ходу выпрыгнув из розвальней, исчез во мраке.

Саврасый остановился. В тумане послышались громкие голоса, что-то не по-русски говорил Иван Карпыч. Егор пощупал, не вылетели ли из саней обшары, что он вез жене. Нет, целы. Ну и слава богу! Он обошел сани и, проваливаясь в снег, направился по сугробам на голоса.

У передних розвальней он различил Бердышова и Барабанова, переругивавшихся со встречными. В своих огромных шубах те походили в тумане на большие соборные колокола. Они обступили мужиков полукругом, сдерживая своих злобно рвущихся собак.

– Ведь он же кричал тебе, – говорил Бердышов, обращаясь к рослому встречному.

Двое людей в шубах оттянули своих лающих собак с дороги и стали их бить.

– Чего случилось-то? – спросил, подходя, Егор.

– Вожак, кажись, укусил Гнедка за ногу... Как встретились, он захрипел и схватил его, – уныло ответил Федор.

– Не захотел с дороги свернуть! – подтвердил Иван.

Заиндевший конь стоял, понуро опустив голову.

Между тем из темноты подъехали еще нарты. С них слезли двое и присоединились к толпе.

– Гляди-ка, сколько их едет, – почесал затылок Тимошка.

– Егор, бери-ка мое ружье! – сказал Бердышов.

Кузнецов схватил из розвальней винтовку. Один из встречных, небольшого роста, в пышной шубе с высоким воротником, очевидно хозяин, что-то кричал своим, по-видимому приказывая уступить.

Бердышов пристально вглядывался в него.

– Иван Карпыч, да не трожь ты их, ладно уж, поехали, – заговорил Федор, опасаясь, что начнется драка. – Может, не укусил, не видно... Что зря... Не допусти до греха, бог с ним.

Тем временем встречные быстро собрались и с криками погнали собак.

– Ишь, с пустыми нарами поехали, – зло вымолвил вслед им Бердышов. – Не отняли бы, я бы с ними сцепился, насмерть забил, – говорил он, надевая доху. – Это маньчжурец поехал, начальник их, тварюга! До сих пор они из Китая потихоньку на Амур ездят гольдов грабить. И дороги не дает, едет как начальник. Они и русских убивают, глаза им выкалывают!

Бердышов пересел к Егору, и розвальни тронулись.

– Ну, Егор, теперь согрелись, не замерзнем! – вдруг неожиданно весело проговорил Иван. – Можно ехать хоть всю ночь. – И он завалился на бок. – Маньчжурец этот ходит сюда на грабежи. Тайно албан – налог – с гольдов берет, пугает их, а они боятся – платят. Русских, говорит, всех надо убить. Если кто соболя не отдаст, уши отрежет. Раньше они летом приплывали, а теперь норовят зимой, пока полиции нет. Они к весне стойбища объезжают и зимние меха берут, а наш исправник живет себе в Софийске, не тужит. Ему хоть бы что!

– Почему собаки коня схватили? – спросил Федюшка.

– Вожак всегда хватается всякого, кто на дороге встречается. Не любят ездовые собаки, когда дорога занята. Если две чужие упряжки встретятся да ездоки недоглядят – как схватятся, начнут кататься, ну беда, народом приходится их растаскивать.

– Слышишь, Иван, а почему ты знаешь, что это маньчжурец поехал? – спросил Тимошка. – Может, торгаш?

– Нарты пустые, да и народу много. Они помалу боятся ездить. Все равно никуда не денутся, будет время – попадутся, придет их черед. Мне бы только этого нойона встретить, самого бы главного. Уж он старик старый, рябой, а злой же – хуже медведя. Беда, как его гольды боятся. Он в прежнее время на Пиване царевал, потом уж погнали его оттуда, – усмехнулся Бердышов. – Черт его душу знает, не он ли это поехал? Может, я спьяну не разглядел...

В поселке мужики вернулись поздно. Пока они ездили, женщины выскребли и вымыли землянки, перестирали одежку, а бабушка Дарья повесила в угол на икону белое вышитое полотенце. По сибирскому обычаю стены убрали пихтовыми ветвями, и в жилье пахло свежей хвоей.

На другой день началась стряпня. Наталья напекла рыбных пирогов, а со звездой, в сочельник, Кузнецовы всей семьей помолились, выпили ханшина и попели старые песни. Дед оживился и весь вечер рассказывал ребятам сказки.

– Лунь пловет, лунь пловет, – окал он в углу, – сова летит, сова летит...

Попозже пришли Иван с Ангой. Вскоре в землянку собрались все переселенцы. При свете лучины водили хороводы, пели, плясали и разошлись глубокой ночью.

Мела метель. Снежные кудри вились под тускло светившимися окошечками землянок. Хлопья снега, падая на распаленные лица мужиков, таяли и леденели на усах и на бороде.

– Нечистый дух и в праздник покоя не дает, – жаловался Тимошка, пригибаясь и еле шагая против ветра, прячась за широкую спину Пахома.

– В праздник-то самый от него морок, – пояснил ему пьяный Бормотов. – Он тоже это дело понимает.

Егор втайне не любил праздников, всегда жалел бесцельно проходившее за гулянкой время. Тем более тут, на Амуре, где не было ни попов, ни церквей, праздники, по его мнению, были совсем ни к чему. Впрочем, он всегда старался следовать тому же порядку, что и окружающие. Видя желание семьи погулять не хуже людей, Егор не стал перечить; он съездил в лавку, взял вина, гостинцев и созвал гостей. Но даже в это время из его головы не уходили заботы о деле. Работа у него спорилась больше, чем у других. Сквозь бедность и голод Егор предугадывал впереди достаток. Вся его душа, все его радости были в труде, в стремлении к этому достатку, и лишняя поваленная лесина доставляла ему большее удовольствие, чем водка, угощения и бесконечная болтовня мужиков.

На первый день рождества гуляли у Ваньки Бердышова, как под пьяную руку звали на праздниках Ивана Карпыча. Пахом и Тереха Бормотовы взялись корить Барабанова за то, что он сменял им на кабанину плохую муку. Слово за слово, Пахом разошелся и помянул Федору старые грехи.

– Слышал я, пошто ты из дому ушел. Не с добра ты на Амур перекинулся! – кричал он, ударяя кулаком по столу так, что тарелки прыгали. – И тут за прежнее берешься, – стыдил он Федора при народе.

– А ты, Пахом, зря старое вспоминаешь, – заступился за соседа Иван. – Вот сказал бы этак сибиряку, из каких-нибудь не помнящих родства или ссыльнопоселенцев, и тут же с тебя бы душа вон. Чего с кем было на родине, не нам с тобой судить, а тут мы все одинаковые. Крепостных до манифеста и то освобождали, если они заходили на Амур. А мука, – хлопнул он по костлявому плечу Пахома, – какая бы ни была, дороже здесь, чем зверятина.

– Вот это ты верно сказал, – согласился Пахом, тряся бородой. – Но пошто, будь он неладный, горклую-то отдал и не сказал? Сказал бы, ладно уж, все равно мы бы взяли, а то в обман ввел.

Дело чуть не дошло до кулаков. Иван утихомирил Пахома и Тереху.

На другой день после бердышовского угощения большинство гостей его болели, отравившись крепким ханшином. Однако к вечеру мужики, несколько оправившись, снова собрались пить у Тимошки.

Тимошкина жена, сухопарая Фекла, измученная работой и голодом, обычно ворчливая и крикливая, была охотница до самого безудержного веселья, словно на праздниках, под хмельком, когда забывались заботы и печали, старалась она скорей наверстать радости, упущенные в бедной и скучной жизни. Несколько дней перед рождеством она старалась изо всех сил: скребла, стирала, мыла и стряпала из скудных запасов муки рыбные пироги.

Фекла опьянела. Она пела и плясала, ее изможденное худое лицо зарумянилось, она буйно веселилась, топчась с платочком в руках по землянке, выкрикивая плясовую и не обращая внимания ни на кого, словно плясала она не перед людьми, а лишь для одной себя; большие, лихорадочно блестящие глаза ее блуждали.

Братья Бормотовы примирились с Федором, стали обниматься, пороняли на пол дорогие Фекле глиняные чашки. Барабанов, прослезившись, клялся мужикам, будто сам не знал, что мука была прогорклой, и Пахом наконец великодушно простил ему обман.

Гости поели все Феклины угощения, выпили водку, нагрянули в землянке, побили посуду, поссорились, перецеловались и разошлись. Пьяный Тимошка изругал и больно ударил Феклу.

Так минуло рождество, прошел хмель и веселья как не бывало. Снова перед крестьянами были лишь темные землянки, орава полураздетых ребятишек, убогий скарб, худая одежонка и скудные запасы пищи.

Глава семнадцатая

– Ну, Ивану есть с чего гулять, он богатый, а ты куда лезешь? – упрекал Егор Тимошку. Они сидели на релке, на лиственнице, только что срубленной Егором. – Разве нельзя собраться песни попеть, сплясать да и водочку попить, но все бы ладом, не тужиться из последнего. Нет, ведь норовят все вывернуть. Ты, что ль, боишься, что на твой век веселья не станет? Ты думал бы, как робить да робить! Ан робить-то нам неохота, нам бы жар-птицу поймать в лесу. Нищие мы, жрать нечего, а на уме пьянство да гулянство. Нам бы тайгу-матушку чистить, а мы все языки чешем, кто прав, да кто виноват, да что за чем, чтобы причина нам была лодырить. Самих себя обманываем, причину находим: мол, холод ли или еще кто виноват. Языком-то чесать легче, чем робить, сомнениям-то всем твоим грош цена. Э-эх, родимцы, мужички!.. Пошто через Сибирь шагали, али чтобы испиться тут? Китаец-то этот разок-другой даст муки тебе, а после в шею погонит да долг-то обратно потребует. Кто тебе тут поможет, у кого ты милостыню просить станешь? Тут и по миру некуда пойти.

– Правда, Кондратьич! Да и то сказать, где нам с бедности-то ума набратся, кабы нам это понять! Богатый-то, сказывают, и ума прикупит, а бедный так и есть дурак дураком, – вздыхал Тимошка, глядя на ясное небо. Лицо у него маленькое, рябоватое, с клочковатой бородашкой.

– То-то! – хмурился Егор, не понимая толком, что Тимоха хочет сказать.

Подошел Федюшка с наточенными топорами. Егор поднялся, подступил к лесине и стал обтаптывать вокруг снег. После крещенья братья работали от зари до зари. Рубили лес и заготавливали дрова и бревна для будущих построек.

– Возьми топорик да пособи нам, – сказал Егор сурово.

– Дай-ка мне топорик-то, я тоже разогреюсь, – попросил Тимошка через некоторое время, глядя, как бойко и весело братья застучали топорами по березе.

Федюшка засмеялся и отдал топор Тимофею. Тот оживился и заработал с видимым удовольствием.

– А пошто же у себя не робишь? – спросил его Кузнецов, когда лесина с треском повалилась поперек лиственницы.

– Видать, застоялся ты, – засмеялся Федюшка. – Как покраснел! Живой опять стал.

– Чистил бы у себя, вот бы и ожил, а то замерзнешь, – твердил Егор.

– Никак не соберусь, – поскреб в бороде Тимошка. – Ведь я один...

– Приходи нам пособлять, а потом мы поможем тебе. Вот и будешь на людях, и работа пойдет.

– При людях, конечно, веселее работать, – обрадовался Силин, – а один я никак не могу. Как гляну я на эту тайгу, тоска меня берет: экая ведь трущоба, да разве один человек тут может? – смущенно признался он. – Я, может, оттого не роблю, что это все понимаю. Да и как возьмешься, когда все неладно? – с виноватой улыбкой продолжал он, как бы оправдываясь, что позволил себе такое откровение. – Вот теперь Фекле неможется, голова у нее болит, в глазах темнеет, кости ломит, кровь с десен идет, сама она не своя, цинга, что ль, на нее наваливается?

– У нас дедка тоже зубы изо рта таскает, – улыбаясь, вымолвил Федюшка, словно это было смешно и забавно. Для Федюшки в его скучной жизни и дедова немочь была чем-то вроде разнообразия. – Бабка его пользует, – продолжал он. – Ты спроси-ка ее. Она знает траву такую, у нее она засушена, с собой. Будто помогает.

– Это, сказывают, уж каждому надо тут цингой переболеть, никуда от нее не денешься. Лечить ее, поди, зря только время проводить. Наверно, перетерпеть надо – и все. Не стоит и лечиться.

Тимошка все же пошел к Дарье. Старуха побывала у Феклы и велела ей пить пихтовый отвар. Но, несмотря на бабкино лечение, чем теплее становились дни, тем все хуже было Фекле.

Тимошка стал работать, помогать Кузнецовым, а Егор и Федюшка каждый третий день работали на его участке. Тимоха оказался мужиком сильным и работающим. Работая на чужом участке, каждый старался, чтобы не остаться в долгу.

...Дед Кондрат стал плох и уже с трудом выходил из землянки на солнышко.

После Нового года погода стояла переменчивая. То солнце пригревало, и как будто дело шло к весне, и даже однажды в тихий день на солнцепеке подталяли снега; Егор с Федюшкой, чистившие в этот день тайгу, слегка покраснели от свежего загара. То вдруг снова ударял мороз, как и в начале зимы, лес и реку окутывал туман, и холодные ветры осаждали поселье то сверху, то снизу. Однако морозы были уж не такие стойкие, и, если не было ветра, стоило в ясный день солнцу разогреться к полудню, как холод несколько спадал. Все же, по мнению переселенцев, январь стоял студенее, чем на родине.

Федор Барабанов после праздников старательно охотничал. Он уходил теперь надолго, ночевал в тайге.

Санка был постоянным спутником и помощником отца. За последний год парнишка поздоровел, раздался в плечах, нагулял щеки, стал смугл лицом. Он уже начал покуривать табачок, с ребятами разговаривал небрежно, поглядывая на них с высокомерием, и терся около мужиков. Во всем его облике сквозили смышленость и пробуждающаяся хитроватость промысловика. Он ходил вразвалку, лениво и в то же время шустро поглядывал по сторонам бойкими светлыми глазами, как бы чего-то все время высматривая. На промысле он был проворен и приметлив. Ему иногда даже удавалось и такое, что не всегда мог сделать сам Федор. Умел он делать дело и помалкивать, в чем был противоположностью Федюшке Кузнецову, который хоть и старше его и на вид казался рослым, здоровым пареньком, но в душе оставался еще подростком – простым, наивным и добрым.

Побывав у гольдов, Санка и Федька устроили себе такие же самолеты, какие видели они у горбатого Баты. Однако за работой Федьке редко удавалось половить у проруби рыбку. Зато устройство махалки живо переняли другие ребята. Из обломков гвоздей они сами ковали и обтачивали крючки, раскаляя их в печках.

– Какую вы тут кузницу затеяли? – ругала бабка Ваську и Петрована, стучавших у порога. – Может, нужный гвоздь-то стащили. Тут всякая железка дорога.

– Ладно, бабка, – с сердцем отмахивался Васька, увлеченный работой.

– Я тебе дам «ладно»!.. Разве это игра? Вот схвачу тебя за вихры – будешь знать. Вон бери лопату да ступай стайку чисти. Дела полон рот, а им в забавы забавляться.

Санка Барабанов, ходивший с отцом на охоту, смиловился над ребятами и подбил для них белку-летягу, чтобы было чем обшить деревянные рыбки, вырезанные для самоловов.

Когда Бердышова не было дома, меньшие ребята со всякой просьбой бежали к гольдке, с которой водили дружбу с тех пор, как она учила их объезжать собак.

Анга, пополневшая – она была беременна, – садилась посреди избы на пол, ребяташки окружали ее, и она помогала им ладить самоловы.

Однажды веселая ватага ребят ввалилась в землянку Кузнецовых. Плохонькая одежка детей затвердела от мороза и запорошилась от возни у прорубей.

– Ты где это завалился?

Наталья растолкала малышей, подбираясь к Ваське, но не договорила и ахнула, всплеснув руками. У мальчика из-под мышки торчала большая пятнистая рыба, несколько мерзлых щучек он придерживал рукой, приподняв полу шубейки.

– Ах, пострел! Никак сам добыл! – с добротой в голосе воскликнула бабка.

Васька сжал губы и гордо сверкнул голубыми глазами. Побледневшее за зиму, острое, решительное лицо его зарделось.

В дверях появился Петрован с самоловом. Важно и небрежно оглядев всех в землянке и оставаясь безразличным к радости матери и бабки и к визгу Настьки, он стал раздеваться и как бы невзначай поставил махалку на видное место у окошка. Он разулся, повесил ичиги на большой деревянный гвоздь и полез на лавку. Остальные ребята выбежали за дверь и с криком понеслись по морозу к своим землянкам.

Все радовались добыче Васьки и Петрована. Рыба осеннего улова всем надоела, и свежая добыча пришлась кстати.

– Эх ты, кормилец ты мой! – поцеловала меньшого Наталья.

Теперь на ребячью махалку все стали смотреть совсем по-иному.

– Кто же это вам такую снастеньку показал? – спрашивала ребят бабка, трогая рыбку и крючок.

– Федюшка с Санкой у гольдов подсмотрели, да Иванова тетка нам помогла, мы к ней бегали за нитками, она нам балберы пришивала, – рассказывал Петрован небрежно, как о чем-то давно прошедшем.

– А у нас ведь на Каме тоже на ненаживленные крючки ловят, – сказал Егор, возвратившись домой и рассмотрев сыновьи самоловы. – Это, говорят, русские обучили гольдов.

– Не знаю, кто кого, русские ли гольдов, гольды ли русских, – рассудительно отвечал Петрован.

С того дня ребят посылали к проруби за рыбой, как в кладовку. Вскоре ловля щук стала для них такой же работой, как помощь отцу на релке или уход за коровой и за конем.

После рассказов ребят о том, как Анга им помогала, Наталья стала чаще бывать у Бердышовой. Она видела, что гольдка славная и добрая женщина. Анга, тяжело переносившая беременность, за последнее время особенно чувствовала свое одиночество. Русских баб она все еще несколько стеснялась. Иван пропадал на охоте, родные были далеко. Ее влекло к детям, с ними она чувствовала себя как ровня, а они были рады, что во всяком деле у них есть советчик. Но все же гольдка была одинока. Наталья, чувствуя это, потянулась к ней.

Больная Фекла все более и более водилась с Бормотовыми, которые жили большой и дружной семьей несколько поодаль от землянок Кузнецовых, Силиных и Барабановых, саженях в ста выше, ближе к старому стану. Фекле было трудно ходить на верхний конец, и она добиралась туда лишь в случае крайней нужды, но жены Терехи и Пахома Бормотовых бывали у нее постоянно, туда же заходила часто Дарья.

Другая соседка Кузнецовых – Агафья – была женщина грубая, жесткая и завистливая. Наталья и прежде особенно с ней не дружила, хотя и встречалась с утра до ночи по многу раз. Агафья с приездом на Додьгу стала завидовать во всем Наталье: и что та хороша собой, и что Егор ее – мужик работающий, не в пример Федору, прямой, не шатающийся от одного дела к другому. Завидуя, Барабаниха по всякой малости и при всяком случае превозносила себя, своего Федора и все свое и старалась хоть разговорами о своем превосходстве уязвить соседку.

Темнолицая и скуластая, с жесткой складкой губ и низким лбом, плотная и коренастая, Барабаниха была женщиной редкой силы и здоровья. «Жала дома на полоске, – рассказывал про нее еще в дороге Федор, – шаг шагнула – и ребеночка родила». Долгий сибирский путь, во время которого она схоронила двух новорожденных, еще более озлобил ее.

Федор хотя и делал вид, что держит в семье верх, но в душе побаивался жены. На праздниках, возвратившись с гулянки от Бердышовых, он попробовал было под пьяную руку помыкать ею, но она вlepила ему такую затрещину, что мужик только охнул тяжко, улегся на лавку и уж более не заикался.

Барабаниха всегда была зла на кого-нибудь по пустякам со всей силой своей могучей природы и крепкого простого ума.

К Наталье, после того как та сдружилась с Бердышовой, она особенно придиралась. Гольдка среди жителей Додьги была богаче всех, и Агафья усматривала в дружбе Натальи с ней корысть, не допуская мысли, что с туземкой можно водиться из-за чего-нибудь, кроме выгоды.

– Хитрые эти Кузнецовы, гольдячку обхаживают, – как-то поутру сказала она мужу, заходя в землянку. Она чистила курятник, стоявший в землянке, и только что вынесла помет. – Сейчас идет Наталья и несет от нее новенькие обутки, расписные, гольдяцкие. Так я и знала, что она чем-то у них поживиться хочет.

Надевши подарок Анги – новые унты, Наталья пошла по воду. Любо теперь было и поглядеть на свои ноги. Белоснежная сохатина была мелко и искусно расшита яркими нитками и бисером. Ремешки туго перехватывали голяшки, и мех прилегал плотно и красиво. Обутки были мягки, легки, как перышко, и теплы. Сильные Натальины ноги, привыкшие к грубой и тяжелой обуви, шли теперь легко, как в скороходах.

Возвращаясь с полными ведрами от проруби, Кузнецова повстречала у барабановской землянки Агафью.

– Твой-то опять седни робит? – вздохнула Барабаниха, как бы желая сказать: мол, Егор, бедняга, из кожи лезет вон, старается дорваться до богатства.

– Чего же ему не робить? – возразила Наталья, ставя ведра на тропинку. – Погода позволяет. А твой-то опять, поди, в тайгу собирается? – не без насмешки сверкнула она бойкими светло-серыми глазами.

– Да ты, никак, в обновке? – делано удивилась Агафья. – Ну, вот и ладно, а то уж больно ты мерзла в рваных-то, жаль глядеть было. Не зря, значит, ты к Анге бегала. Видишь, и потрафила она тебе. А я не стала бы расписные надевать, – выставила она ногу в загнувшемся, подшитом кожей катанке, – этак-то теплее и красивей, чем в расписных ходить. Да и ноги в них подкатываются, – заключила она презрительно.

– Как-нибудь и в этих пройдем! – Наталья подняла ведра и пошла своей дорогой. – Где уж нам стары пимы таскать! – кинула она через плечо.

После этого разговора Наталья стала чаще бывать у Анги. Иван неделями пропадал в тайге, и женщины часто подолгу бывали вместе. Наталья помогала Анге шить платье крестьянского покроя, с оборками и лифом, и сарафан, научила ее повязываться платком на разные лады, как делают это русские бабы. За беременность гольдка расплнела, лицом стала бела и румяна, щеки округлились, и скулы сгладились.

– Ты теперь на русскую походить стала, – говорила ей Наталья.

Как-то раз вечером Наталья, подойдя к бердышовской избе, увидела Ангу за странным занятием. Над Пиваном ярко светила луна, и торосы на реке горели, как костры, разложенные по льду, а лес и сопки были видны ясно, как днем. Стоя под лиственницами, гольдка держала тарелку с вареной рыбой и с чашечкой водки. Что-то приговаривая по-своему, она разбрасывала кусочки рыбы кругом себя на искрящийся свежий снег, брызгала пальцами водку и так была увлечена этим занятием, что даже не взглянула на подошедшую к ней подругу.

– Ты чего это делаешь? – внезапно обняла ее Наталья.

– Не знаю, – виновато улыбнулась Анга и поежилась, вбирая голову в красивые плечи. Потом она широким и решительным движением выплеснула остатки водки на снег, сбросила рыбу с тарелки и, нахмурившись, сказала Наталья:

– Это старый обычай. Ты не срами меня за это. Рожать-то мне скоро. Пойдем-ка богу помолимся, чтобы бог добро нам давал, – и тихо, таинственно добавила: – Чтобы нам всем ладно было.

– За что же тебя срамить, бог с тобой...

Бабы вошли в избу, засветили сальную свечу и встали на колени перед маленькими медными складнями.

– Молитва говори, – велела Анга, подымая взволнованные глаза к божничке.

Анга крестилась, низко кланялась и, коверкая славянские слова, старательно повторяла молитву. Когда же Наталья смолкла, она поднялась проворно и спросила:

– А другой-то молитва знаешь?

– Знаю.

– Ну, другой молитва другой раз молиться станем, сегодня, однако, хватит.

– Тебя кто молиться-то учил? – спросила ее Наталья.

– Батяка учил, а Иван плохо молится...

– Известно, мужик: гром не грянет, лба не перекрестит.

– Ваша бабка учила. Она много молитва знает, а Иван-то мой плохо знает, он ничего не знает.

Иногда женщины привозили в нартах кадушку воды, переливали ее в печной котел, жарко топили печь и мылись. До переезда на Додьгу Анга мылась редко. В детстве и в юности, до встречи с Иваном, она совсем не знала мыла. Когда-то, первые разы, купалась она неохотно, но со временем вошла во вкус и теперь с упоением плескалась и обливалась водой. Когда Наталья растирала ей длинную смуглую спину, она приходила в восторг и хохотала.

Потом бабы одевались, приводили в порядок избу, ставили сушить корыто и садились ужинать ухой из свежей рыбы, которую Иван выловил подо льдом снастями и наморозил в амбарушке.

Возвратившись с охоты, Бердышов был приятно удивлен переменой во внешности жены.

– С обновкой тебя, что ль? – вымолвил он, высунув поутру лохматую голову из-под мехового одеяла и глядя, как жена обрягается в сарафан. – Поди-ка, щипну тебя.

– А Наталья – боец, – говорил он, натягивая на ноги усохшие за ночь ичиги. – Надо нам с тобою уважить Кузнецовых, гостинца, что ль, ей послать.

– Сохатины-то нету... – Анга расчесывала деревянным гребнем густые сбившиеся волосы. – Однако бы, ангалкой³⁶ рыбы наловить им.

– Одолжить им, что ль, снасти? – в нерешительности спросил Иван. – Пусть ловят. И сетку дам, ведь они мне сказывали, что на родине ловили подо льдом рыбу.

– А может, Ванча, к китайцу бы нам поехать? Наталье-то товару взять?

Анге давно хотелось побывать дома, но причины не было, чтобы поехать в Бельго.

³⁶ Ангалка – сетка (нанайск.).

– Ну нет, к китайцу не поеду, – отмахнулся Иван. – Товар-то им дарить не жирно ли станет?

Анга с сожалением покачала головой. Усевшись на корточки перед очагом, она сложила туда дрова, занесенные в избу с вечера, и стала щепать из сухого полена лучины.

– Ваня, а пошто ты меха ныне у себя держишь, в лавку не везешь? – спросила Анга, склонив голову и лукаво смеясь из-за плеча.

– Маленько обожду. Считай сама: до рождества я Ваньке Галдафу соболей давал, за ним еще оставалось, а чего набрал к празднику, так это пустяки. Куда мне теперь торопиться? Не к спеху, а у них и без меня мехов хватает. Соболю пошел хлестко, гольды им полные амбары натакают. Дал я им задаток пару соболей, теперь они шишей от меня дождутся. Беда! – вдруг ухмыльнулся Бердышов.

– Ты задумал чего? – мягко и счастливо засмеялась Анга... – Однако, чтобы Гао тебя только не обманули...

– С них станется, – вздохнул Иван. А голос был насмешливо-самоуверенный, и Анге казалось, что вышло у него: мол, так я и дался!

Анга догадывалась о намерениях мужа.

Чтобы китаец ничего не подозревал, Иван дал ему из ранней добычи пару соболиных шкурок, из которых одна случайно была попорчена при снятии. Уже тогда у Ивана в запасе был десяток соболей. И потому, что он отнес в барабановскую землянку лишь пару, не пожалев к испорченному приложить пушистого и черного, Анга почувствовала, что муж ее что-то затевает...

В амбаре у Ивана стояли ящики с водкой, Иван ни жене, ни тестю толком не рассказывал, что он задумал. Он всегда все свои предприятия начинал втайне и только при таком условии верил в их успех.

После обеда Бердышов зашел к Кузнецовым.

– Тебе свежей рыбы надо? – обратился он к Егору.

– Мало ли чего мне надо, – возразил тот.

– Эх ты, рыбак! Как же ты на Амур без снастей пришел? А говоришь, на Каме тоже всякий лов ведется. Нет, кабы там было так же, как тут, что эта рыба-матушка нам и хлеб и мануфактура, ты без снастей никуда бы не тронулся.

– Два-то года мы, чай, не по реке шли. В степи или в лесу ловить-то было неводом?..

– А разве в степи нет реки?

– Нету.

– А я всю жизнь при реке, так мне кажется, что и мест без реки не бывает. Калужатины сейчас бы нам с тобой, амуров ли этих. Самая жирная рыба амур-то. Бери-ка, Кондратьич, пешню и айда на реку. Жалко, Федор куда-то пропал, а то бы и его взяли. Ты собирайся, а я за снастью да за ангой схожу – не за женой, а за сеткой. Вот она у меня каким именем названа. Чудилы эти гольды, девку «сеткой» назвали... Я спросил как-то Григория: «Ты пошто ее так назвал?» – «Как же, – говорит, – пусть сеткой зовется, чтобы счастье ей ловилось».

Накануне из тайги подул ветер. Ночью он переменился, и с верховьев опять нагнало холода. День был сумрачный, и даже в полдень стоял трескучий мороз.

– Ненадолго же отпустило. А мы-то полагали, что весна началась, – говорил Кузнецов, шагая с пешней следом за Иваном и за Федюшкой, нагруженными разными рыболовными снастями.

– Не-ет, до весны еще далеко. Тут до шуги-то еще одна зима пройдет.

Неподалеку от острова Иван и Егор проломали старые проруби, выгребая льдинки береговой чумазкой³⁷.

– А ты, Иван Карпыч, откуда знаешь, что тут рыба есть? – спросил Федюшка.

³⁷ Чумазка, или чумашка – берестяной черпачок.

– Как же! Это уж я знаю. Я тут все тропинки в Амуре знаю.

В крайней проруби Бердышов утопил веревку, а из другой зацепил ее «нырилом», длинной палкой с сучком на конце, наподобие багра. Протянув веревку подо льдом между несколькими прорубями, он продернул следом за ней сеть и установил ее. Так же Иван поставил и снасть – длинную хребтину с ответвляющимися от нее поводками. К этим поводкам прикреплены были балберы и большие ненаживленные крючки с остро отточенными лезвиями, рассчитанными на поимку крупной рыбы.

Когда мужики возвратились в поселье, солнце уже село, и где-то в стороне Бельго из синего сумрака выплыла меж склонов большая багровая луна, перепосанная тонким синим облаком. Морозный ветер так нажег и настудил рыбаков, что у Егора ооченели ноги, и он не помнил, как добрался до жаркой и душной землянки.

– Нос отморозил, потри-ка снегом, – сказала мужу Наталья, когда он выложил из мешка пару осетров.

Егор вышел из землянки, надломил голой рукой корку на сугробе, набрал в застывшие пальцы горсть крупитчатого сухого снега и растер им лицо до боли. Однако поздно было оттирать побывавшее в тепле лицо. Обмороз не проходил. Пришлось бабке после ужина помазать ему щеки кабаньим салом.

– Как же это ты недоглядел! – говорила Наталья. – Теперь лицо мерзнуть станет.

– Завтра бери чепан, да езжайте на коне, – наказывал дед. – Поди, и огонь на льду развести можно.

На другой день мужики запрягли Саврасого и поехали на реку. На снасть попала крупная калуга. Подтянутая к проруби, она заходила ходуном. В водовороте то и дело всплывали ее быющиеся плавники и жирная спина с зубчатой хребтиной. Калуга ярилась, но острый крючок, вонзившийся глубоко в белое брюхо, не отпускал ее.

– Кабы не сорвалась, – беспокоился Егор, крепко держа веревку.

– Не-ет. На утине-то зазубрик, никуда не соскочит с него. Только шибко не давай ей дергаться, подпускай снастину-то...

Бердышов изловчился, вонзил в калугу багор. Рыба забилась, вышибая столбы брызг из проруби. Ветер, схватывая их, тотчас морозил, и одежда мужиков покрывалась чешуей из пупырчатых ледяшек, а вокруг проруби намерзала скользкая ледяная осыпь.

– Смотри, Егор, не оступись, а то утащит. Ну, что же ты дуришь? – уговаривал Иван быющуюся калугу, вытаскивая ее на лед. – Сама себе в тягость стала, так разожралась. Столько жиру зря таскать – с ума сойти!

Калуга была хрящеватая и жирная, величиной с небольшую лодку-однодеревку. Взметнув хвост и заиндевелые плавники, она ощерила пасть, оттопырила жабры и выкатила глаза. Рыба застыла в напряженном изгибе, сгорбтив пилообразную хребтину, словно силясь сбросить с себя ледяную корку. Казалось, мороз мгновенно охватил ее, запечатлев иступленное отчаяние. Мужики с трудом, как тяжелое бревно, взвалили рыбину в сани и вместе с мелочью, попавшейся в сетку, отвезли в поселье.

Там было радости и веселья всем семьям. Иван и Егор распилили калугу на козлах, потом большие куски разрубили.

У переселенцев вошло в обычай делиться между собой всякой добычей. Наталья выбрала для Барабанихи самый жирный кусок и сама его отнесла, обезоружив этим завистливую бабу, не пожелавшую даже поглядеть, как рубят громадную рыбину.

По Иванову совету кузнецовские бабы вместе с Ангой затеяли пир. Решили стряпать калужьи пельмени и варить уху. В землянке было людно, шумно и весело.

Бердышов пошел за водкой. Даже Егор, на этот раз намерзшийся и наработавшийся досыта, чувствовал, что утро он провел не зря, и не прочь был выпить и повеселиться. Умыв-

пился и вытерев обветренное лицо полотенцем, расчесав светлые усы и бороду, сидел он на лавке и поджидал Ивана.

Варится рыбка, едет Филипка, —

подпевала под веселый треск лиственничных дров хлопотавшая у котла старуха.

В красной шапке, сам на лошадке, Детей своих благодарить...

Больше всех доволен был хворый дед, ожидая, что от свежей и нежной рыбы ему полегчает.

— Эх, хороша ушица! — приговаривал он за обедом, прихлебывая из чашки.

— Из шуки-то вкусней, — вдруг с сердцем выпалил Васька.

Все засмеялись упорству маленького рыболова.

— Васька, обидно тебе, что мы калугу поймали, застрамили тебя с твоей махалкой и со шуками? Эх ты, ерш! — ткнул его Иван в бок.

— А ты чего дразнишься? Сам ерш! — Голубые глаза Васьки запалились злым холодком. — Вот захочу, наловлю осетров... — Парнишка тут же смолк, ухватившись за голову: отец стукнул его по лбу деревянной ложкой.

Петрован по-прежнему казался ко всему безразличным. Уплетая калужатину, он лениво морщился, косясь внимательными серыми, как у матери, глазами то на пьяневших, смеющихся взрослых, то на крепившегося, чтобы не зареветь, братишку.

— Ну, Петька-Петрован, что молчишь, как дурован? — дразнил его Федюшка.

Глава восемнадцатая

Соболь неумелым ловцам не давался. Единственной шкуркой раздобылся Федор Барабанов, вытащив убитого стрелкой зверька из чужой ловушки. Бердышову он сказал, что сам поймал соболя. Шкурка была рыжеватая, как и большинство амурских соболей; Иван оценил ее в три рубля. Федор отвез соболя в Бельго и выгодно променял китайцу на товар.

Легкость добычи распалила Федора. Он спал и видел удачное соболевание. Целыми днями бродил он с сыном по окрестной тайге, разыскивая соболиные следы и расставляя петли и ловушки. Он похудел, осунулся, скулы его заострились, а глаза поблескивали, как у голодного.

— Что, Федор, с добычей, что ль? — каждый раз окликал его Кузнецов, когда Федор с Санкой выходили из тайги.

— Не спрашивай, Кондратич, — удрученно отмахивался Барабанов и останавливался.

Намолчавшись в тайге, он принимался долго и подробно рассказывать все свои приключения.

— Замаешься ты, гляди, лица на тебе не стало, — заключил Егор, выслушав его. — А тут Агафья одна без тебя лесины валила, робит, чисто мужик. Ты сам-то как, хлеба станешь ли сеять? Не перекинься совсем на промысел.

— Как же я без хлеба-то, куда же?..

— Тайгу, что ль, сохой поведешь? Избу из чего поставишь? Да и место не расчищено, солнышко-то не станет тебя ждать, Кузьмич.

— Затягивает охота, — говорил про Федора дед Кондрат. — Это как картежная игра. Продуться можно — без штанов останешься.

Каждый раз, намучившись в тайге, Федор зарекался охотничать.

— Пропади пропадом это зверованье, ни за что больше не пойду, с места мне не сойти, — клялся он и решал взяться за чистку леса.

Но проходило несколько дней, и Федора снова тянуло в тайгу. Он бросал работу, заготавливал припасы, чинил обувь и, набив котомку рыбой и сухарями и забравши с собой Санку, снова отправлялся на промысел.

Усталые, пробежав двадцать-тридцать верст на лыжах, Барабановы находили свои ловушки пустыми.

– Он, тятя, стороной обошел, – показывал Санка на обходной соболиный следок.

– Вижу, – вздыхал Барабанов и в печали рубил пихтовые ветви, разгребал снег и располагался отдыхать подле костра.

– Хотя бы нам опять гольдский лучок найти, – подговаривался Санка.

– Хитрый же ты, сукин сын, растешь, – ворчал на него отец. – Ты поймай соболя-то, а чужого стащить всякий сумеет.

В неудачах своих Федор в душе винил Бердышова, подозревая, что тот таит от него настоящее устройство ловушек и показывает не то, что надо.

– Может, он шутит надо мной, изголяется или боится передать настоящее правило и только зря меня по тайге гоняет, – предполагал Федор.

На то было похоже. Иван каждый раз высмеивал его за неудачное соболевание.

– Опять никого не поймал? – с насмешливой уверенностью спрашивал он.

– Ведь и ходил соболь, трогал петлю и стрелку спустил, но не попал, – с досадой рассказывал Барабанов. – Значит, чего-то не так мы настораживаем, – значительно вскидывал он брови. – Не все, что ль, ты мне рассказывал, Иван Карпыч? – Он умоляюще смотрел на Бердышова, словно просил его открыть тайну лова соболей. – Скажи: может, какое слово есть?

Иван лишь посмеивался.

– Прошлый-то раз посчастливилось тебе, это прямо счастье ить! Однако, какой-то соболь дурной был. А то в твои ловушки вместо соболей-то все рябчики, да крысы, да бурундуки попадают.

– Помяни мое слово, Иван Карпыч, все же я этих соболей осилю. Не сойти мне с места! Коли не перейму от людей, так сам, своим умом достигну. Тогда уж засоболую. – И Федор, меняя выражение лица, спрашивал Ивана ласково и умоляюще: – А может, возьмешь меня с собой на охоту?

– Вдвоем в тайгу идти – охоты не будет. С Ангой хожу – ее тоже в балагане оставляю, или она сама по себе охотничает. Да как с тобой пойдешь? А если вдруг тигра? Не выдашь? У нас, паря, кто товарища выдал – тому пулю. Ты со мной и сам ходить не станешь, а уж я тебе и так все показал! Какой тебе еще холеры надо?

Федор не добился от Бердышова толку и решил ехать к гольдам учиться у них охоте на соболей. Кстати, нужно ему было заехать к китайцу в лавку, отдать лис и десяток белок.

В тихий день, заложив Гнедка в розвальни, покатыл он с Санкой в Бельго.

– Еще соболь есть – нету? – спросил его Гао, перебирая привезенные меха.

– Нету, братка, эти дни соболевать я не ходил.

Торгаш знал, что Федор ходит на промысел. Гао даже догадывался, что он взял соболя из чужой ловушки. О том, что делают додыгинские новоселы, лавочнику подробно доносили его покупатели – мылкинские гольды, соседи уральцев. Недавно брат Гао, толстяк Васька, был в Мылках, и тамошний богач Писотька Бельды жаловался, что у него в тайге кто-то разорил самострел и украл соболя. Охотники ходили по следу воришки и достигли додыгинской релки. Подходить к землянкам они не решились, но, возвратившись к себе в Мылки, поклялись при удобном случае отомстить новоселам за все обиды и утеснения, причиненные им в эту осень и зиму.

Бердышова ни гольды, ни китаец не подозревали в воровстве. Все знали, что он охотится, как гольд, и в тайге ничем от них не отличается. Гао Да-пу полагал, что это был Федор, незадолго перед этим привозивший ему шкурку соболя. Торговец никому об этом не сказал, чтобы зря не обидеть покупателя, распространив про него дурную весть.

На счастье Федора, между Мылками и Бельго были нелады из-за кражи невесты, и сношений между этими стойбищами не было. Мылкинские сторонились бельговских и своих ново-

стей им не передавали, так что бельговские ничего худого про Федора думать не могли и не знали о краже в тайге.

– Тебе соболя лови не могу, – язвительно и громко заявил китаец.

– То есть как это ты сказал?

– Люди говори: тебе сам лови не умею, тебе шибко хитрый – чужой ловушка трогал.

– Ты что это? – раскрыл Барабанов рот. – Одурел? – криво усмехнулся он через силу, хотя сердце его замерло от страха, что поступок его может стать известен по всей округе. «Господи, прости! Что я наделал!» – с ужасом подумал он, и мысли его заметались в поисках исхода.

– Ловушку трогаешь – хозяин догоняет и тебя убьет, – наставительно говорил торгаш.

– Не пойму я тебя, – чесал затылок Федор, стараясь улыбнуться, но вместо улыбки получилась виноватая гримаса.

Лавочник заметил, что вору стало не по себе.

«Нет, не признаюсь! Я не я, и лошадь не моя, – ободрял себя Федор. – Мало ли кто в тайге мог взять? Какое мое дело, ничего не знаю».

– Сам знаешь, чего моя говори, маленький, что ли? Русский язык не понимаешь, что ли? – раскричался китаец и вдруг, понизив голос, довольно добродушно заявил: – Ну ладно, не бойся, моя никому не говори. Тебе так больше делай не надо. Моя знакомых не обижает, – подмигнул он Федору. – Моя все кругом знает – ничего никому не говорит. Тут Бельго никто не знает, моя никому не сказала, тебя не хочу обижай. Давай лису, уступай дешевле, – неожиданно заключил он.

«Силен тут торгаш!» – подумал Федор, выбравшись из его лавки, как из печки после парки. Удрученный неудачной меной и упреками лавочника, он в раздумье направился к Удоге.

Старик встретил его с распростертыми объятиями. Накануне Удога вышел из тайги после длительной зимней охоты, чтобы запастись пищей и снова идти на промысел. У него было прекрасное настроение, старик наслаждался семейным счастьем; сидя на теплых канах в чистом халате на чистом камышовом коврикe, сплетенном искусными руками молодой жены, он держал у себя на коленях маленького Охэ и с нежностью обнюхивал его стриженую головку. На столике появилась вареная сохатина, тала из свежей рыбы, чумизная каша с кетовой икрой и картонная сулея с китайской водкой.

Айога, довольная, румяная, с блестящими глазами, хлопотала у очага.

Федор подвыпил, и, когда его беспокойство и сомнения несколько пережгло крепким ханшином, он стал жаловаться Удоге на свои охотничьи неудачи.

– Соболя никак мне, братка, не дается. Лису беру, белку дробинкой в глаз попадаю, – привирал он, – кабана этого возьму, только бы встретить, рысь понимаю, всякого зверя, а вот соболя – никак. За всю зиму единую шкурку добыл, только зря распалился.

– Его просто как возьмешь не умеючи-то? – с достоинством, чистым языком говорил Удога. – Соболя ловить – учиться надо, не легче, чем русской грамоте. Меня отец долго учил стрелку ставить. Я был маленький, пошли однажды на охоту, снежок уж был. Зверь опустит стрелку, но в сторону...

– Вот, вот, – подхватил Барабанов, – то-то и есть...

– Надо прямо-прямо на грудь стрелку наводить, – наставляя на сердце палец, показывал гольд.

– А-а, ишь ты! – приговаривал Федор. – Вот оно что!

– Ладили мы, ладили концы на мерку. «Нет, – отец говорит, – плохо». Палкой хотел меня лупить. «Никуда не годишься, – говорит, – никогда охотником не станешь». Вечером сидим мы в балагане, отец курит, грозит меня убить. Беда, – потряс гольд седой головой точно так, как это делал Иван, – горячий у нас отец был. Ну вот... Прошло три дня, на мою стрелку соболя попал. «Ну, слава богу, – отец говорит, – это я тебя учил, ты умный какой парень. Сразу видно, что мой сын!»

– Григорий Иванович, ты бы взял меня с собой на промысел, учил бы ловить соболей, – стал просить Федор. – По правде ведь признаться, мы затем и приехали. В ученье к тебе с сыном, как к дядьку за грамотой.

К Удоге стали собираться его сородичи. На этот раз все охотники были дома. После долгих скитаний по тайге они возвратились, чтобы хорошенько отдохнуть, «погулять», побыть с семьями и, нагрузившись юколой, снова двинуться на отдохнувших собаках в тайгу.

Кроме Григория и его брата Савоськи, бывшего в этот день где-то в отлучке, Федор не знал еще никого из бельговских охотников и всех их видел впервые. За зиму он отвык от народа и теперь с любопытством наблюдал гольдов. Их набралось непривычно много, и старых и молодых, закаленных морозами и ветрами, темнолицых, худых, в одеждах, пахнущих звериным салом, чесноком, псиной и табаком, с китайскими трубками в крепких зубах. Они принесли с собой в тихую фанзу дух тайги и охоты; чувствовалось, что в этих сухопарых, подвижных зверобоях была вся напряженная сила племени, его вечная, неумирающая ловкость, сноровка. Перед Федором был живой клад охотничьих примет, уловов, навыков. Для них не существовало тайн тайги. Мужiku надо было разузнать про многое такое, что озадачивало его на промысле и на что он не мог найти до сих пор ответа. Он силился вспомнить, о чем надо расспросить их, но, как на беду, мысли его разбегались от жадности, как завидующие глаза при виде богатства, и он не мог ничего расспросить толком.

Пришел Ногдима, приземистый, пожилой, но еще моложавый на вид старик с плоским темным лицом. Его черные как смоль прямые волосы и черные горящие глаза придавали ему вид дикий и жестокий. Глядя на него, живо представлялось, как он, сверкая глазами, гоняет по снегам зверя и, настигнув, бьет его копьём в горло.

Ногдима перевалило за шестьдесят, но он был еще крепок, и на черном лице его морщин не было видно, лишь еле заметные светлые бороздки легли поперек лба, да слабые морщинки лучились у глаз.

Появился седоголовый, больной глазами Хогота, о котором Федор уже не раз слышал как об отце похитителя невесты и хозяине медведя, предназначенного в угощение мылкинским. Сын его Гапчи, рослый и здоровенный парень в маньчжурской шапке с бархатным околышем и в красном ватном халате, в который он вырядился по случаю приезда русского гостя, торчал тут же. Еще недавно Гапчи был грозой мужей и похитителем супружеской верности гольдских красавиц. Но после того как он увез из Мылок юную жену богатого старика, он сам стал ревнив и уж более не нарушал счастья и покоя чужих семей.

Явился приятель Удоги – Кальдука, по прозвищу Маленький. Скинув лисью шубейку, старичок остался в залоснившемся дабовом халате с серебряными пуговицами и в улах из рыбьей кожи. Его маленькая головка с жалкой пегой косичкой тряслась на слабой шее, круглое желтое личико Кальдуки с мелкими расплывчатыми чертами выражало легкомыслие и беззаботность, движения были мягки и округлы. Улыбаясь и кивая головой, он подал Федору маленькую руку в кольцах и присел против него за столик.

Кальдука был вечным нахлебником Удоги. Про него говорили, что он прожил жизнь чужим умом. В юности он был парень как парень, только не удался ростом. Старики женили его неудачно, купив ему по дешевке вдову. Она оказалась женщиной грубой, терзала Кальдуку ссорами и капризами, всю жизнь воевала с ним из-за нарядов. Первый ее ребенок был мальчик, но впоследствии она рожала только девочек. Сын Кальдуки погиб уже взрослым на рыбалке, и старик остался в большой семье единственным охотником. Жил он бедно и небрежливо. Выдавая подросших девочек замуж, он ненадолго богател, но вещи и ценности, полученные в калым, живо переходили от него к торгашам.

При удаче Кальдука любил попойнствовать, вкусно поесть. Не думая о будущем, он ловил удобный случай, чтобы набрать у торгашей как можно больше товаров, и вечно был в неоплатном долгу. Выручать же его приходилось Удоге или другим сородичам, которые по доброте не

могли отказывать ему в помощи, хотя и попрекали потом Маленького в расточительности, в лени, в неумении жить. Впрочем, на Кальдуку эти попреки давно не действовали. За долгую жизнь он привык и к помощи родичей и к их попрекам и надеялся на них больше, чем на себя.

Федор вспомнил, как Иван Карпыч однажды, рассказывая ему про причины бедности гольдов, помянул про Маленького. По его словам выходило, что туземцы могли бы жить и лучше и богаче, не будь среди них таких мотов и бездельников, как Кальдука, привыкших жить попрошайничеством, разоряя зажиточных сородичей.

Охотник Кальдука был приметливый, но не крепкий. В добыче он отставал от других, да у него и не было никогда надежды прокормить промыслом себя и всю свою семью. Обыкновенно его забирали с собой в тайгу хорошие охотники, чтобы он вел их хозяйство в балагане и готовил пищу. За это давали ему часть добычи. Зато летом Кальдука блаженствовал. Женщины работали за него на рыбалке от шуги до шуги.

Приплелись древние старики, знакомцы Федора: горбатый Бата и слепой Бали.

Вскоре вернулся Савоська, ездивший на собаках на другой берег ловить рыбу в прорубях. Еще задолго до того, как он переступил порог, слышна была его русская брань и удары палкой по собакам. Айога побежала распрягать воющих псов, и вскоре в облаках пара появился Савоська, небольшого роста, сухой и сутулый, в заиндевевшей, словно заросшей белым мхом, одежде.

Он быстро скинул с себя заиндевевшие кожаные обутки и живо отсыревшую в тепле куртку и, вскочив на кан, начал кашлять долго и хрипло. Кашель, вылетая со свистом из простуженных легких, сотрясал все его щуплое, жесткое тело. Наконец Савоська откашлялся, коротко кивнул головой Федору и, подсев к коротконогую столику, стал пить маленькими глотками водку из чашечки и жаловаться на боли в груди. Застывшее тело старика бил озноб, его маленькие жилистые руки дрожали.

Удога заговорил с братом по-своему, часто упоминая слово «лоча»³⁸. Остальные гольды пытели трубками и лишь изредка прерывали беседу братьев короткими замечаниями. Федор печально слушал гольдов и уж собирался было повторить свою просьбу, когда Удога вдруг обернулся к нему и сказал:

– Вот братка завтра сведет тебя в тайгу, все покажет, он все знает.

Переходя с гольдского на ломаный русский язык, туземцы заспорили между собой, куда и как лучше повести Федора на охоту.

Каждый называл какое-нибудь место: ключ, сопку или падь. Так проспорили они долго, а Федор только удивился, как добродушны и покладисты эти свирепые на вид люди. Спорили они горячо, и каждый, по-видимому, от души хотел удружить ему. И удивительно было Федору, что в их добром отношении к себе он не замечал никакой корысти.

Между тем Санка, наевшись чумизы, откинулся к стене, и, устало полускрыв глаза, с любопытством следил за Савоськой. Разморясь в жаре и непривычно насытившись, сынишка Барабанова давно бы уснул, если бы не этот живой и шутливый старик, иногда смешно коверкавший русские слова. Однако Санка был недоволен, что именно Савоська – больной, иззябший и уставший старик – поведет их в тайгу. Он совсем не казался ему хорошим охотником.

Когда же Савоська подвыпил и стал ругаться по-русски и хохотать надтреснутым смешком, переходившим в кашель, Санке показалось, что смеется он нарочно, только чтобы позабавить народ, и ему стало жалко старика.

«Какой чудной этот Савоська!» – подумал Санка, засыпая. Шум голосов стал отплывать. Санка пошел куда-то по лесной тропинке за Савоськой, потом плавно и мягко провалился куда-то в пропасть и вскоре забрался так далеко, что возврата оттуда не было.

³⁸ *Лоча* – так называли русских народы Дальнего Востока.

Наутро Савоська разбудил Барабанова затемно. Собирая свой охотничий припас, он проворно бегал из фанзы в амбар, переодевался в белую охотничью одежду из лосиных шкур, лазил под крышу, вскакивал на кан и все чаще тяжело кашлял.

Охотники собрались быстро и молча, надели котомки, ружья, вынесли на снег лыжи. Савоська кликнул свою лохматую подслеповатую собаку, и все трое тронулись по бельговскому распадку к седловине.

Собака сильно прихрамывала и время от времени прыгала на трех лапах, держа левую переднюю на весу.

– Что это с ней? – спросил у гольда Санка.

– Медведь ей лапу ломал. Потом шибко мороз был, она мало-мало больной лапа отморозила. Такой другой собаки нигде нету, она все понимает, как человек, только говорить не может.

За день Барабановы пробежали за Савоськой верст двадцать. Гольд привел их к зарослям стелющегося кедра у вершины каменистого хребта. Через ущелье видно было, как далеко-далеко за складками сопки белой равниной расстился Амур.

– Тут соболь живет в норе. У него своя дорога есть, он только по этой дороге всегда ходит. Белку, мышь сам убьет, сам таскает и сам кушает. Вот его дорога, смотри, – показывал старик на соболиные следы. – Шибко далеко этот соболь не ходит, по своей сопке ходит. На большой сопке три пары живет, на маленькой – одна пара бывает.

Старик закрепил на расщепленном деревце лук с прикладом так, что он туго натягивал тетиву. К прикладу он прикрепил вязку из конских волос. Клубок таких вязок вместе со свитками волос и с оленьими жилами гольд хранил в особом мешочке. К тропке соболя спускались сверху несколько волосков. Концы их на уровне соболиной грудки перехвачены были малым волоском, который чуть заметно ложился поперек тропки.

– Соболю бежит, – говорит Савоська. – Этот волосок тронет, стрелка его убьет. – Гольд тронул волосок палкой, тетива сдвинулась, стрелка с силой воткнулась в сугроб, а лук закачался на ветке.

Самострелы Федор с грехом пополам сам умел делать, но хитрость была в точном прицеле стрелы на грудь зверька и в поперечном волоске, который следовало наводить так, чтобы он был незаметен собою. Федору казалось, что он уже постиг тайну устройства самострела, но грубые руки его никак не могли точно навести поперечный волосок.

– Ничего не понимаешь! – сердился Савоська. – Зря с тобой хожу. Ты все равно какой был, такой и есть!

– Дай-ка, тятя, – вызвался насторожить самострел Санка.

Ловким ударом топора он расщепил елку, зажал приклад, навел стрелку на тропку, наладил волосок и обратил шустрые глаза к Савоське, как бы спрашивая у него одобрения.

– Соболю если попадется, тогда узнаем, молодец ты, нет ли, – произнес гольд и, оставив лук, побежал дальше короткими шажками, переваливаясь с лыжи на лыжу.

Лучки он делал на ходу. Видя след какого-нибудь зверя, он обегал растущие поблизости ели, разыскивал на них природные изгибы, обращенные к северу, быстро вырубал из них луковины и натягивал их, перевивая концы оленьими жилами. Следуя за ним повсюду, Санка стал отличать деревья, годные для поделки лучков.

Вечером под ветвями огромного старого кедра охотники разгребли снег и развели костер.

В тайге было тихо. Огонь освещал красноватую кору кедра, несколько лип на увале и лыжи, стоящие воткнутые в сугроб.

Савоська сказал, что не признает никаких балаганов, так что Федору и Санке предстояло дремать всю ночь, привалясь к кедрине и поворачиваясь к костру то одним боком, то другим.

Гольд сидел на корточках близко к пламени и жадно грыз сухую юколу, разрывая ее пальцами и зубами. Отогревшись, он снова удушливо закашлял, дрожа всем телом. У ног его лежала

хромая Токо и облизывала свою черную уродливую лапу. Время от времени Савоська давал ей кожу от юколы. Собака жадно хватала ее и мгновенно проглатывала. Изредка она оборачивалась к Санке, и тот, заигрывая с нею, совал ей в морду тугую сохатиную рукавичку. Токо урчала и скалила на парнишку свои крупные волчьи клыки, а тот улыбался умильно и поглядывал на отца, не то опасаясь, что Федор рассердится, не то приглашая его порадоваться.

– Бродяга-медведь ее лапу совсем испортил, – сетовал Савоська. – Когда самый мороз был, его кто-то напугал. Медведь берлогу бросил, пошел кругом. А я его встретил и погнался. Зверь шибко злой был, как хунхуз! Медведь тоже бывает хунхуз!

Отбиваясь от собак, зверь хватил лапу Токо зубами. Собаке грозила смерть, если бы Савоська в тот же миг не вонзил в сердце медведя пику.

– Тебе тоже хорошую собаку надо, – назидательно говорил гольд.

– Вот то-то и оно! Да где ее взять?

– Учи, сам учи, собака все может понимать. Она – как человек. Наши старики говорят, что собака раньше давно-давно человеком была, только теперь у нее шкура другая. Медведь тоже был человеком. Ночью ты спишь, а он ходит. Тигр, говорят, тоже был человеком. Такие разные сказки есть, – таинственно продолжал он. – Кто на охоту ходит, должен знать. Друг другу рассказывать. – Старик засмеялся и повесил голову. – Буду тихо говори, тут в тайге хозяин скоро чертей гоняет... – (Санку мороз продрал по коже.) – Тут не шибко хорошее место. Старики говорят – тут дурное место, тут амба исиндагуха бывает. Знаешь, что такое амба исиндагуха? Это обход чертей. Черти караул несут, как солдаты. Надо всю ночь сказки говорить, тогда ничего.

Гольд достал из-за пазухи лубяную коробку с табачными листьями, набил дрожащими руками трубку и закурил.

«С этими соболями не без нечистого, чуяла моя душа! – думал Барабанов. – Ванька Бердышов, будь он неладен, однако, гольдяцким божкам в тайге молится. То-то и не хочет с собой никого брать, стыдно ему».

– Савоська, – задумчиво, как бы по-приятельски, заговорил он, стараясь придать своему голосу побольше ласковости, – вот ваши говорят, надо в тайге черту угощение ставить. А мне не надо бы этому Позе кланяться, лучше бы мне своему богу помолиться. Чужой-то мне ни к чему. Это ведь грех по-нашему. Ты сам крещеный, должен понимать.

– Тебе соболю надо – нет? – вдруг закричал Савоська, быстро вскакивая на ноги. Обутое в белые олочи³⁹, они были как тонкие кривые березки. – Зачем говоришь? В тайгу ты зашел, соболя тебе не надо?

«Шаманом, что ль, обернулся, пугает, сверлит глазищами-то... Индо, черт с ним... помолиться, как велит», – испугался Барабанов.

– Тебе Позя молись – завтра твой лучок будет соболю, – твердил гольд.

«Кабы правда, поймать бы соболя, черт его бей, – помолился бы, пустяки это конечно. Но, шут его знает, вдруг не помолишься и добычи не будет?» – раздумывал Федор.

– Ты верно ли знаешь, что соболю поймается? – подловато глянул он на гольда, как бы торгуясь с ним.

– Давай скорее, хлеб у тебя есть – хлеб кидай, все равно сухари можно. Говори: «Мне соболя давай!» Проси его как надо, сам думай, чтобы хороший охота была.

«Разве рискнуть? – подумал Федор. Но ему неловко было перед сыном отступать от закона. – Да и беда будет, если поп узнает на исповеди – епитимью наложит».

– Молись, тятка, – вдруг шепнул Санка, которому до страсти хотелось отличиться и найти зверька в своей ловушке.

³⁹ Олочи – невысокая обувь из лосиной шкуры, мехом внутрь.

– Ах ты, бесенок! – отпрянул от него отец. – Тебе бы только соболя, с малых лет рад от всего отступиться.

Беседа прекратилась. Санка еще немного повертелся у огня и наконец задремал сидя. Голова его то и дело клонилась к пламени, он вздрагивал и просыпался, каждый раз испуганно тараща глаза на огонь. Вскоре Санка уснул крепко и, не в силах держаться, повалился на пихтовые ветви, уткнулся лицом в рукав и захрапел.

Раздумье брало Федора. И хотя он уверен был, что Санка правильно нацелил стрелку и зверек не минует засады, но все же казалось ему, что дело тут нечисто, недаром в такой тайне хранит время ухода на промысел Иван, недаром ему, Федору, до сих пор, несмотря на все старания, не попался ни один соболь. Опять же и рассказам Савоськи веры не было. «Чего-то он тут хитрит, однако, не такой он чудак, как прикидывается... То говорил „тихо надо“, какой-то обход чертей, сказывал, будет, а потом сам разорался». Подумав так, Федор было осмелел и хотел пошутить над Савоськой, чтобы дать ему понять, что понимает, как он хочет обморочить его. Но вдруг Савоська задрожал, отложил трубку и, обернувшись к Федору перекошенное от ужаса лицо, показал на поднявшиеся уши собаки. Токо насторожилась.

– Кто-то ходит! Позя сердится, зачем кричим...

– Свят, свят! – перекрестился Барабанов. – Аминь, аминь, рассыпсья! – ограждался он крестным знаменем.

Гольд и мужик прислушались. Гольд вскоре успокоился, поднял трубку и снова закурил, все время искоса поглядывая на Федора.

Стояла такая тишина, что слышно было, как приливает к ушам кровь. В ее прибое можно было вообразить и отдаленное грохотанье телеги, и вой зверей, крики птиц, стук топора, и даже церковный колокол, казалось, звонил то отходную, то к обедне. Федор старался убедить себя, что все это лишь морок, но все же тревога не покидала его.

– Ох, беда, намаешься с этими соболями! – вдруг тяжело вздохнул он и стал развязывать мешок с хлебом и с сухарями. Он достал оттуда ломоть черствого хлеба и протянул его гольду.

– Ну-ка, брат Савоська, ты это дело лучше моего понимаешь, давай, помолись сам за меня. Чего дивишься? Кидай своему Позе, – подмигнул он с таким видом, словно хотел сказать: «Шут его бей, где наша не пропадала, была не была», и добавил: – Пушай нам с тобой поболее соболей гонит.

Глава девятнадцатая

Как ни велика тайга-матушка, но и в ней человек с человеком встречаются. На четвертый день охоты, под вечер, Иван Карпыч набрел на чужой балаган.

«Это, однако, Родион Шишкин промышляет. Ага! Он мне давно нужен». Для начала Бердышов решил подшутить над старым знакомцем.

– Здорово, Родион! – неслышно подкравшись и заглянув в балаган, гаркнул Бердышов. Залаяла собака.

– Уф, спугал! – Шишкин обронил котелок с похлебкой. От пролитого горячего балаган внутри застлало паром. – Слышишь, Ванька, брось шаманить – сердце оборвется.

– А где тут шаманство? Ты, однако, задумался, вот и не слышал.

Бердышов залез в шалаш и стал снимать с себя ружье и мешок.

– Ну, я-то задумался, а кобель-то мой тоже, что ль, задумался? – ворчал Шишкин, собирая с пихтовых ветвей куски горячего мяса и складывая их обратно в котелок.

– Чудак, я тебя скридал, подкрался, как к сохатому. Я сегодня лося этак достиг, даже видал, как он глазами моргает. Вот вплотную подходил, как к тебе. Зверь и то не слышал, а ведь твою-то собаку я знаю, завсегда ее обману. Однако, ты ее голодом держишь, она тебе в рот смотрела, я и подкрался.

– Варёво из-за тебя пролил...

– Ничего, – успокаивал его Иван. – Не сердчай, сохатина есть, – кивнул он на окорок, подвешенный к суку березы, подле которой налажен был балаган. – Еще наваришь. Надо же маленько и пошутить, а то вовсе в тайге одичаешь, зачумишься с кручины.

Родион долил котелок и поставил на огонь. Это был широкоплечий мужик среднего роста, лет сорока. Грудь у него колесом, лицо обросло темной шелковистой окладистой бородой. Он был жителем ближайшего от Додьги сельца, основанного несколько лет тому назад тамбовскими выселками на устье горной реки Горюна. Родион быстрее всех тамбовцев освоился на новоселье и, сдружившись с гольдами, вскоре стал в своей деревне лучшим охотником.

– Ты как, Родион, по тайге один ходить не боишься? – спросил Бердышов, пуская табачный дым к очагу.

– А кого мне бояться? – отвечал Шишкин, почесывая толстый угреватый нос. – Если мишка встретится, так он меня сам боится.

– Нет, паря, блудне⁴⁰ не попадай.

– Я никогда товарищей не беру. Наши знаешь какие охотники!.. Пристанут: «Пойдем да пойдем вместе!» А я им: «Не пойду совсем». А сам чуть свет уйду в тайгу. А ты сохатого где оставил?

– Нигде не оставил. Удул он от меня.

– Кхы-кхы-кхы-кхы, – сотрясаясь от сдавленного смеха, расплылся Родион во всю бородатую рожу. Его большие уши задвигались. – Кхлы-кхлы-кхлы-кхлы, – не разжимая крупных желтых зубов, издавал он сдавленные, хриплые звуки.

– Подхожу я к нему, лежит он на боку, глазами моргает. Шерсть-то на хребте прямая, стоит, а я думал, бок. Как выстрелил, а он ка-ак вскочит...

– Кхл-кхл-кхл, – смеялся Родион.

– Я между двух лип сжался. Не знаю, как остался жив. Маленько он меня рогами не саданул. Истинная правда!

На большом огне ужин сварился быстро. Охотники уселись возле котелка, хлебная варёво деревянными ложками.

– Ну, как твои пермские новоселы, живы-здоровы? – спросил Родион.

– Как всегда. Покуда баба да старик оцинговали.

– Ну это еще полбеда. Наши-то, вятские, которых за протоку нынче населили, почитай что все цингуют. И что эта цинга на них наваливается, не пойму. Наши старухи им бруснику и клюкву таскают. Им теперь хорошо: есть к кому за помощью обратиться. А каково нам было? Как пришли да оцинговали, а ни помощи, ни совета спросить не у кого. К гольду, бывало, придешь, так он и денег не берет, не понимает их, а дай ему тряпочек. А хлеб пожует, пожует, да – тьфу! – выплюнет его.

– Наши-то лес очищают, пашни станут на релке пахать и на острове. На них глядя, я тоже запашу.

– Без коня-то? – ухмыльнулся Родион.

Иван ничего ему не ответил и только пошевелил лохматыми бровями, словно собирался напугать Родиона, но потом раздумал.

– А зверей-то промышляют они? – спросил Шишкин.

– Помаленьку! Не знаю, скоро ли привыкнут. Они рассказывают, что раньше этим занимались у себя на старых местах.

– Конечно, сперва-то трудно. Вон наши вятские! Нашли берлогу в горе. У всех кремневки, да была еще пешня. Они ее накалят – да в берлогу. Пока несут, она остынет. Медведь убежал – ни одна кремневка не выпалила.

⁴⁰ Блудня – медведь без берлоги, бродящий по тайге; такой зверь опасен.

– А ты уж обжился на Амуре, не вспоминаешь свою Расею больше?

– А чего мне ее вспоминать? Как мы с отцом помещику да соседям землю обрабатывали да из кабалы никогда не выходили? Да веники помещику ломали, он нам по десять копеек платил. Нищему-то чего вспоминать? Я тут как родился. Тут место лучше, чем там.

После ужина Шишкин стал выпытывать у Ивана, каким способом он неслышно подкрадывается к сохатому на близкое расстояние. Все тамбовские охотники считали Ивана человеком, знающим тайны тайги.

– Это надо уметь, – уклончиво отвечал ему Иван. – Ты попробуй сам, своим умом дойди.

– Откроешь, как скрадываться, я тебя, Иван Карпыч, уважу. Ну, рассказывай, как скридаешь?

– А тебе какое дело? – полушутя ответил Бердышов.

Впрочем, если бы Иван Карпыч и захотел, он, пожалуй, вряд ли смог бы толком рассказать, как он подкрадывается к сохатому. Тут во всем: и в умении определить, где и как лежит зверь, и в умении подобраться к нему тихо и быстро из-под ветра, и в каждом движении была у него выработана звериная же сноровка, которую он мог выразить лишь приблизительно.

– Ну, ты чего рассерчал? Словно третьяк, на меня глядишь! Истинно третьяк и третьяк, лоб позволяет, и взгляд тоже.

– Сам-то ты третьяк, шаман, – недовольно ворчал Родион.

– Башка у тебя крепкая, как камень, – шутливо сказал вдруг Иван. – Я когда-то видал, как богатые монголы с тоски башками стучаются. Сидят в юртах – жирные, поперек себя толще, чумные от безделья, нажрут баранины и давай. Башки здоровые, как треснут друг об дружку, как орехи колют. – Иван, подсев к Родиону поближе, вдруг изо всей силы стукнул его своим лбом по голове.

Шишкин загоготал, поймал Ивана за руки и, размахнувшись головой снизу вверх, угодил ему затылком в висок.

– Ну, синяк посадил! – еле вырвавшись, ухватился Иван за голову. – Твоей башкой дрова колоть или свайки у гольдов под амбары забивать. Из такой башки и дума не выйдет! Больно, паря! А ты что думал, когда один сидел? – отталкивал он наседавшего Родиона.

– А что? – Родион остановился на коленях. – Одному-то, поди, тоскливо иной раз, – признался он и, ободренный шутками Ивана, снова стал подбираться к нему.

– Ну, не лезь, вали, вали! Убьешь еще. – Иван шлепнул тамбовца ладонью по лбу. – Разъярился, как тигра... Ну, слушай, я тебе про сохатого скажу, – заговорил он, видя, что обида у Родиона прошла. – Это надо знать, как скридать сохатого. Много я и сам не знаю. Скридаю, как могу. – Он набил в трубку табачных листьев из Родионовой коробки и глубоко затянулся. – А как скрадывать, ты спроси у тестя моего Григория, он тебе скажет. Он это понимает лучше меня.

После горячего мясного ужина табачный дым завесил охотников. Иван вытянул к очагу ноги и, облокотившись, прилег на сохатиную шкуру, служившую Родиону подстилкой. На низком потолке из корья пятнами мерцали отблески пламени. Дым от очага тянуло в отверстие крыши. Балаган был дырявый, но от большого огня и от сытного обеда охотникам стало так тепло, что Родион, подсев к Ивану, скинул куртку и остался в одной легкой рубашке. Собаки, уничтожив остатки пищи, тесней прилегли к охотникам. Родион еще подкинул в огонь смолистых лиственничных поленьев. На минуту показалось, что очаг угасает, но вскоре поленья разгорелись, начали стрелять искрами в потолок и в стороны, пламя вспыхнуло еще ярче.

– К сохатому подходить надо с тыла. Он, когда идет, поворачивается и ложится головой сюда же, откуда шел, и замечает под ветками твои ноги. Это охотник должен знать. Должен сбоку скрадывать его. Он, откуда шел, туда и смотрит. А подходить надо с тыла и сбоку. А когда подкрался, пали – и все... Беда, – неодобрительно покачал он головой, вспоминая свою утреннюю встречу с лосем. – Ка-ак он дунет в чашу, даже тайга загудела.

– Тебе на ночь дрова рубить! – вдруг весело воскликнул Родион, подмигнув Ивану. Он понял, что Бердышов никаких тайн ему не откроет, а лишь зря будет говорить. – Иди и ищи сухую листвянку. – И он потянул Ивана за ногу, обутую в унт.

– Эй, ты, обожди, куда тащишь...

– Кхл-кхл, – скалил зубы Родион.

Он стряхнул Ивана со шкуры на валежник и сам улегся на брюхо боком к огню. Иван в свою очередь потянул его за ноги. Мужики разыгрались, как ребята, стали мять друг друга и возиться на шкуре, перепугали собак и чуть не свернули балаган. Иван свалил Родиона чуть не на очаг и подпалил ему бороду, а Родион ловко сдернул у него с левой ноги унт и выбросил из балагана далеко в снег. Ивану с босой ногой пришлось лазить по рыхлым сугробам. Собаки опередили его: Смелый притащил обутку.

– Как медведи в берлоге, расходились. Ну, будет, будет! – возвратившись в балаган, предупредил Бердышов, видя, что у Родиона опять заиграли глаза. – Ты здоровила какой, как амба⁴¹, верткий, хвоста только не хватает, а то бы я тебя за хвост.

Шишкин все же вцепился Ивану в ляжку, но тот вырвался, схватил топор и убежал из балагана рубить дрова.

Дважды принес он по большой охапке и, уложив их у входа, стал готовиться ко сну.

Родион притих и задумчиво смотрел на пламя, почесывая толстый угреватый нос.

– А что, Родион, – спросил его Бердышов серьезно, – ты с соседями дружишь?

– С какими соседями? С русскими али с гольдами?

– С горюнскими. Ты сказал мне, что они тебе друзья. Видишь, наши гольды сказывали мне, что в Мылках был недавно маньчжурец Дыген. Не слыхал ты? А оттуда он будто проехал к вам на Горюн.

– Как же! Это я знаю, – нахмурил Родион брови.

– Гольды божатся, что он их опять грабит.

– Да ну-у?... Скажи пожалуйста! Ах, язви его в душу! – воскликнул Родион.

– Как бы их отсюда отвадить? Разоряют они гольдов, портят их. Покуда это Дыген где-нибудь поблизости, гольды сами не свои. А начальство наше пропускает. Зимой сидят они у себя в Софийском, жарят в карты, водку пьют, а лед пройдет, приедут на пароходах и начинают кричать. Нет того, чтобы нойону хвост прищемить. Теперь маньчжурец с товарищами, как я слыхал, пошел нартами на Горюн. Там им раздолье. А с Горюна по озерам пойдет к тунгусам. Поймать бы этого Дыгена! – вздохнул Иван, залезая в меховой мешок. – Я давно на него зуб точу.

Закрыв глаза, уставшие за день от напряжения, он стал рассказывать про свою ночную встречу на Амуре.

– Был я хмелен, мы в Бельго у китайцев водку пили. Я в потемках-то не разглядел, кто едет. Если бы знал верняком, что это был кривой маньчжурец, я бы сгреб его и отвез в Софийск, душу бы из него вытряс.

– Вот ты мне что скажи: почему опять Дыген сюда ездит? Ведь он уж стар, ему бы дома на печке сидеть.

– Дыгену туго приходится. Он в карты играть любит. Продуется в пух и прах, все проест, пропьет и едет на русскую сторону за мехами.

– Старый кот, по горшкам ловко лазает!

Охотники еще немного потолковали, и вскоре в балагане наступила тишина. Изредка лишь слышно было, как рушилась в очаге подгоревшая головешка да измученные собаки вздрагивали и стонали во сне.

Очаг угасал понемногу. Становилось темно.

⁴¹ Слово «амба» имеет два значения: злой дух и тигр.

Шишкин заворочался в своем мешке.

– Ты не спишь, Родион? – поднялся вдруг Иван.

– А что?

– Че-то тебя спросить хочу, выглянь.

– Ну, чего тебе? – приоткрылся взлохмаченный тамбовец.

– У тебя, однако, дружки-то среди гольдов есть?

– А тебе на что?

– Ты знаешь, каких Дыген с озер соболей вывезет: черных-черных, один к одному. Таких нет у нас. Он через озера да через хребты пройдет, везде побывает и на Амгунь сходит. Соболя там якутские. Пойдет он обратно, вот бы когда нам с тобой подкараулить его. Тебе бы ловко можно поймать его, ведь ты от Горюна недалеко живешь.

Тамбовец молчал и чесался яростно, по-видимому о чем-то раздумывая.

– А я тебе подход ко всем зверям открою, подумай-ка! Всех охотников на Амуре превысишь, богачом станешь. Сохатого скрадывать научу.

Иван давно искал случая разбогатеть. От охотничьего промысла или от меновой торговли нечего было и думать нажить богатство. Застрелить кого-нибудь из русских или здешних китайских торговцев – не оберешься потом разговоров. Верней всего было, как он полагал, ухлопать Дыгена, который жил в Маньчжурии и сюда ездил тайно. Дыген был маньчжурским дворянином и в старое время совершал поездки в пустынные, неразграниченные земли. Когда-то, как рассказывали гольды, он приехал впервые и привез всем подарки: кому чашку, кому халат, кому безделушки. За подарки он потребовал соболей. С тех пор он часто являлся в сопровождении вооруженных слуг и заставлял туземцев платить ему как бы род дани.

Иван полагал, что убить Дыгена – верное средство разбогатеть. А Китай не может потребовать расследования, если слух об убийстве дойдет туда. Это значило бы признаться, что маньчжурские чиновники разрешают за взятки такие грабительские походы на русскую сторону. Здесь же за убийство Дыгена, который страшно терзает гольдов, все будут благодарны.

Но Бердышов знал: одному ему не перестрелять целый отряд маньчжурских разбойников. Родион – смелый человек, хороший стрелок. «Если не поддастся уговорам, найду что сказать», – подумал Иван.

Бердышов, не ожидая, что ему ответит Родион, оставил его в раздумье, а сам закутался с головой. Вскоре из мешка послышался его густой храп.

Наутро Иван дружески распростился с Родионом и, ни словом не обмолвясь о вчерашнем разговоре, двинулся в обратный путь. День выдался ветреный и морозный. До вечера крутила метелица. Ночь Иван провел, забравшись в дупло старой ели, а наутро снова двинулся в путь. Ветер все крепчал, временами неся снежок. К полудню, когда Иван достиг Косогорного хребта, идти на лыжах стало легче, начались гари. Здесь свежие снега были крепко убиты ветрами.

На Косогорном у Ивана были расставлены сторожки на соболей, и он полез наверх проверять их.

Один из самострелов, к его удивлению, оказался разоренным. Пойманный соболик был украден. На снегу лежала окровавленная стрела, под бугор, в горелый ельник, ушла лыжня.

Бердышов понял по следам, что вор был недавно, и погнался за ним. Он бежал, распахнув меховую куртку и не замечая холода и резкого ветра. Лицо его горело, и лоб под сохатыным мехом истекал потом.

Открытой грудью рассекая морозный вихрь, Иван мчался по уклонам так, что мимо лишь мелькали стволы горелых лиственниц.

Еще больше обозлился он, когда следы свернули по пади к Мылкинскому озеру. Недолго думая, Иван помчался прямо в Мылки.

Глава двадцатая

Стойбище Мылки было расположено на берегу одноименного озера, которое представляет собой обширный залив Амура, простирающийся вглубь тайги. На северном берегу его в переломанных зарослях чернотала, подле глубоких проточек в заветные озерца, кишасшие рыбой, приютились жилища гольдов.

Жгучий мороз рвал и метал над широким снежным простором. За тайгой синели округлые купола дальних сопок, и синие же дымки из труб стойбища метал ветер у подножья леса.

Там, где под берегом из сугробов торчали острые носы и дощатые борта плоскодонных лодок, Иван взобрался по крутому яру наверх. Перед ним желтели мазанные глиной приземистые лачуги. Со всех сторон затыкали, лениво сбегаясь, своры тощих собак. Иван крикнул на них, псы отстали. По свежей лыжне он направился к длинной лачуге с окнами, завешанными снаружи вздрагивающими от ветра шкурами кабарги. Шагах в двадцати от фанзы из высоченного сугроба обильно дымилась деревянная труба, сделанная из полого дуплистого дерева. Подле самой лачуги стояли малые амбарчики на свайках. Под ними виднелись нарты, шесты, палки. На пустых вешалах ветер раскачивал тяжелые связки обледеневших берестяных поплавок.

«Давно я тут не был!» – подумал Иван. Сняв лыжи, он с силой толкнул обледеневшую дверь и вошел в фанзу.

Внутри было полно народу. На просторных канах сидели, поджав ноги, старики-гольды и обильно дымили трубками. Картина была знакомая. Все присутствующие слушали со вниманием сухого старика с седой плоской бородкой и жесткими, колючими глазами. Не прекращая своей речи, старик враждебно посмотрел на вошедшего Ивана.

Бердышов узнал его. Это был хозяин фанзы Писотька Бельды.

У очага хлопотала его дочь, горбуня с прекрасными черными глазами и уродливо тонкими ногами, которые, казалось, вот-вот не выдержат тяжести тела и подломятся. При виде Ивана на ее полных красных губах заиграла недобрая улыбка.

Рядом с Писотькой Иван заметил лысину Денгуры, бывшего родового старосты. Тут же сидели многие другие гольды, хорошо знакомые Ивану, но все они делали вид, что не замечают его и со вниманием продолжают слушать пискливый голосок хозяина.

– Батьго, – тихо поздоровался Иван, как бы не желая нарушать беседу.

Он скромно присел на край кана и стал дожидаться окончания разговора.

Речь шла о том, что надо высватать невесту сыну хозяина.

«Жених-то, верно, и стянул у меня добычу», – подумал Иван, глядя на бойкого, рослого, широкоплечего хозяйского парня, не похожего на гольда.

Писотька был одним из коренных жителей Мылок. На другой год после оспы, уничтожившей старое богатое стойбище Мылки, он возвратился на родное озеро и первым построил себе большую фанзу. К нему переселился Денгура, а потом и все другие мылкинские, оставшиеся в живых после мора.

Писотька был богат. По стенам на деревянных гвоздях висели белые овчинные шубы, ватные халаты, на нарах высились разноцветные свертки шелков; на двух очагах стояло множество чугунной посуды. Повсюду были расставлены искусно сделанные берестяные короба, ломившиеся от всякого добра.

Иван слышал от Гао Да-пу, что Писотька дает убежище маньчжурам, тайно приезжающим на Амур, и ведет с ними торговые дела. Гао Да-пу не дружил с Писотькой, чувствуя в нем соперника. Не любил бельговский торговец и маньчжуров. Китайские купцы и раньше всегда подговаривали гольдов не давать им меха.

Но торговцы лишь втайне противодействовали Дыгену. У себя на родине они были целиком во власти маньчжуров, а поэтому при случайных встречах с ними на Амуре вели себя внешне покорно, любезно и гостеприимно, опасаясь, что те на родине всегда могут беспощадно расправиться с ними.

В одном лишь, как слышал Бердышов, несчастен был гольдский купец Писотька: стоило какой-нибудь из его трех жен родить мальчика, как тот вскоре умирал. Большак же его, которого он собирался женить, не был ему сыном. Смолodu его старшую жену забирали к себе маньчжуры, и после того в срок она родила парнишку. Старик хотел иметь своих сыновей, но, как ни старались шаманы и знахари, дети не выживали. На этот раз младшая жена Писотьки качала в углу лубяную зыбку, закрытую тряпкой, и старательно и громко называла младенца девочкой, что означало, как понимал Иван, что под тряпкой у нее лежит мальчонка.

«Бойтся, чтобы черт не утащил парня, – подумал Иван, – на девку его переделала. Это уж гольдяцкая хитрость известная...»

Между тем гольды смолкли. Им самим хотелось узнать, зачем явился Бердышов. От любопытства у них разговор про сватовство не ладился. Старики умолкли и стали поглядывать на него.

Иван поднялся. При виде жесткого и злого лица Писотьки в нем вспыхнул гнев. Какая-то сила так и толкала его схватить хозяина за глотку и рассчитаться с ним тут же, при всех. Иван негодуя, но довольно сдержанно спросил по-гольдски хозяина, зачем он украл из его ловушки добычу.

Ропот пробежал по канам.

– Следы вора привели к твоему дому. Ловушка была разорена сегодня, и я пришел по свежему следу.

Густые клубы дыма окутывали изможденные лица гольдов.

Вскочил Денгура, продувной торгаш и говорун. Это был тощий высокий старик с лысой головой и худым скуластым лицом. Он еще сохранил живость ума и красноречие. Все более и более возбуждаясь, он стал доказывать Ивану, что «лоча», поселившиеся на Додьге, сами воры и что во всех неладах виноваты они сами.

– Осенью Улугу стал там рыбачить, а один мужик напал на него, отобрал невод и хотел его побить.

– В плечо меня ударил, – поднявшись, робко подтвердил Улугу, кривоногий гольд с плоским лицом. – Я ловил рыбу, русские у нас отобрали бредень!

– А зачем вы сено растащили? – спросил Иван.

– Ну что, Ваня, разве травы жалко? – с кроткой укоризной спросил Улугу.

Гольды наперебой заговорили, обвиняя новоселов в разных поступках.

– Недавно кто-то из них украл из нашей ловушки соболя! – завизжал хозяин фанзы, пуская в ход последний и самый веский довод. – Вы нашего соболя украли, а мы – вашего. Теперь в расчете.

Присутствующие засмеялись.

– Мы тебя в краже не виним, на другого человека думаем, – заметил Денгура, который был осторожнее других мылкинцев и не хотел зря обижать Ивана.

– Откуда же ты знаешь, что соболя взяли наши? – грубо спросил Бердышов Писотьку, уставившись на него исподлобья, как бык.

– Мы тоже по лыжне вора ходили, – сердито ответил гольд. – К вашей деревне вышли... Не знаю, кто теперь нас рассудит, – горько усмехнулся он.

Только тут Иван догадался, какого соболя добыл Федор.

– Ты неверно говоришь, – решительно отрубил Бердышов. – Наши не брали соболя. А невод отобрали – не знали, что это сосед рыбачит. Меня не было, а они подумали, что это чужой человек ловит без спросу.

– А соболя взяли – тоже, понимаешь, не знали, что сосед ловушку поставил? – усмехнулся хозяин.

– А соболя совсем не брали, – упрямо стоял на своем Иван.

– А кто же взял?

– А кто взял? Может, амба взял, – вдруг сделав страшную рожу, ответил Иван. – Черт стащил соболя! – рывкнул он, вскакивая на кан, и с силой ударил себя кулаком в грудь. – Черт! Амба! Ему, может, охота нас поссорить – он украл соболя, а лыжню наладил до нашей деревни, а вы поверили. Он нас ссорит, а мы, как глупые, не можем помириться.

Гольды опешили.

– А ты про черта откуда знаешь? – значительно слабее и уже не так зло спросил Писотька.

– Покуда не знаю, а вот Анга пошаманит, тогда все знать буду. Когда люди ссорятся и обманывают друг друга, всегда амба какой-нибудь виноват, – торжествующе произнес Иван и, оглядев подавленных, притихших гольдов, спокойно уселся на кан. – Бывает же, что черту охота поссорить между собой людей, – продолжал он. – Камлать надо, а не ссориться. Гонять его всем, дружно!

Бердышов хорошо знал гольдов. Видя, что они поддались, он воспользовался их смятием и стал втолковывать, что никто из русских не мог взять добычи из ловушки.

– Надо было сразу ко мне идти, мы бы с Ангой пошаманили и все бы узнали.

Гольды стали переглядываться между собой многозначительно. Многие из них не верили Ивану: как-то трудно было допустить, что соболя стащил черт. Все продолжали подозревать в краже Барабанова, которого хорошо знали по следам старых лыж Ивана, однако удобный миг для спора с Бердышовым был упущен. Никто более не решался оспаривать его слов, тем более что он так хорошо обвинил во всех людских бедах черта.

Этого-то и надо было Ивану.

– А что же вы поздно хватились? Да если бы я узнал, что кто-нибудь из наших украл соболя, я сам бы его застрелил. Но и ты, Писотька, вели отдать мою добычу, а не отдашь – беда будет. – И Бердышов, не говоря лишнего слова, нахлобучив шапку, поднялся и стал надевать ружье.

Угроза подействовала на мылкинцев. Они повскакивали с канов и принялись уговаривать Ивана еще погостить в Мылках. Дандачуй, сын Писотьки, плечистый толстогубый парень, не на шутку перепугавшись, сбегал в амбар и принес оттуда закоченного соболя. Писотька, заискивающе улыбаясь, отдал его Ивану.

– Ну давно бы так, – улыбнулся Иван и, возвратив зверька Писотьке, попросил отдать его работникам, чтобы они сняли шкурку.

Потом Иван разделся, показывая этим, что идет на примирение, прощает вора и хочет погостить у хозяина.

На столиках появилась водка. Бердышова взяли под руки и усадили на почетное место. Гольды тесно окружили его.

– Мы не знали, что это твоя ловушка, – говорили они, – твою бы мы не тронули.

– Ты хороший человек, мы на тебя не сердимся...

– Кушай, Ванча, не будем ссориться, – угощал Писотька.

Иван опять стал объяснять, что невод русские отняли за то, что у них взяли сено, а что накосить его и привезти стоило больших трудов, что скот переселенцев кормится травой.

– А зачем скот? – с любопытством спросил Улугу.

Иван рассказал, как и зачем доят коров.

– Мы не знали, – кротко ответили гольды.

– А зачем молоко? – спросил Дандачуй. – Пусть живут без скота, едят рыбу.

Но всем остальным гольдам очень хотелось поехать в Уральское и посмотреть, как это женщины доят зверей и не боятся. Видно было, что гольды уже не сердятся.

– Нам теперь плохо стало, – жаловался Денгура, со свистом потягивая водку из чашечки. – Мы, старики, стали никому не нужны. Эх, в старое-то время в нашей деревне весело было! А теперь нас всякий обидит, – всхлипнул бывший староста и размазал заскорузлыми пальцами слезы, катившиеся по морщинам.

Он хотел было помянуть Ивану о своих охотничьих угодьях под Косогорой, где Иван промышляет без спросу, но смирился. «Тайга большая, всем места хватит», – подумал он и смолчал.

Бердышов стал уговаривать Денгуру мириться с бельговскими и принять у них выкуп за украденную жену.

– Чего тебе сердиться! Теперь пора уж все позабыть. Гапчи и его отец Хогота пир тебе устроят, целую неделю все бы гуляли, – соблазнял он старика. – Я сам с Ангой приеду. Хогота медведя выкормил. Если ты примиришься с ним, для тебя заколют зверя, всю вашу деревню пригласят. Знай гуляй!

Денгура еще упирался, важничал и поминал нанесенные ему обиды, зато другие старики глотали слюнки, представляя себе угощение из мяса молодого медведя. Все начали уговаривать Денгуру мириться.

– Конечно, что же зря ссориться? – поддакивали они Ивану.

Ко всеобщему удовольствию, Денгуру уломали, и Бердышов взялся быть посредником при замирении. Как только окончится зимний промысел, он обещал съездить в Бельго и сговориться о мировой.

– Какой ты хороший человек! – хвалили гольды Бердышова. – Мы тебя, оказывается, совсем не знали.

– Однако, все-таки и на меня сердились? – посмеиваясь, спрашивал Иван. – Знаться со мной не хотели. Помнишь, как мы с тобой в тайге встретились? – обратился Иван к Улугу. – Я тебе кричу: «Иди сюда!» – а ты только отмахнулся рукой да в чашу.

Гольды засмеялись.

– Это было, – согласились они. – Маленько, конечно, сердились.

– Шибко не сердились, а маленько-то было, – подтвердил Денгура.

– Заодно меня с бельговскими считали, я уже догадался, – продолжал Иван. – А ведь я про вас все время вспоминал. «Что, – думаю, – никого из них нет, не приезжает никто ни ко мне, ни к Анге?» Ну, догадался, что осерчали. Ну да не беда, теперь как-нибудь станем жить дружно.

Погода разыгралась. Ветер налетал на крышу фанзы с такой силой, словно на нее низвергался водопад. Наступали сумерки, и Бердышов решил остаться ночевать в Мылках, надеясь окончательно упрочить этим дружбу с гольдами, а заодно кое-что выспросить про Дыгена.

Денгура, желая уважить Ивана, стал звать его и всех стариков к себе.

Мела поземка. По озеру метались снежные вихри, тайга шумела, ветер гнул голые тальники, как колосья, раскачивал лиственницы и с воем дыбил к их стволам огромные ветви. К стойбищу намело сугробы, местами превышавшие амбары и фанзы, с их гребней при каждом порыве ветра с воем и свистом взлетали тучи снега, осыпая Ивана и гольдов, трусивших гуськом след в след за Денгурой. Ветер бил в спину и в бока, хлопал полами, рвал пуговицы с одежды, тащил с людей шапки, насильно заворачивал их на ходу или вдруг, навалившись на грудь, не пускал их дальше да еще хлестал по лицу сухим, колючим снегом и мелкими ледяшками. Слышно было, как скрипели на увале вековые деревья. Гольды бежали, пригибаясь и увязая по колено в сугробах.

Вдруг все вокруг застлало белым, не стало видно фанз, ни леса, ни озера, слышен был лишь сплошной вой и свист. Лицо Ивана залепило мягким свежим снегом. Начался снегопад.

Кое-как все добрались до двери фанзы. Гольды отряхивали шубы, раздевались и лезли на горячие каны.

Фанза Денгуры была обширна, в стене ее, обращенной к озеру, тянулся целый ряд решетчатых окон, залепленных цветной бумагой. Ярко пылали два очага; на полу светили раскаленными угольями и грели воздух два больших горшка.

Жены Денгуры сгрудились в отдалении, на другом конце канов. Бердышов мог наблюдать их, лишь когда они приносили и ставили на столики угощение.

Внимание его привлекло новое лицо. Это был усатый пожилой человек с резкими чертами лица и с неровными желтыми зубами. Когда Иван подсел к столику с угощениями, незнакомец только что проснулся и, почесываясь, озабоченно прислушивался к шуму бурана. Денгура назвал его проезжим торговцем. Но у Бердышова глаз был достаточно наметан. Ни у кого не допытываясь, он понял, что это один из шайки, сопровождавшей маньчжура, почему-то отставший от своих. На стене между одеждой висело разное оружие, но длинная сабля, полуприкрытая лисьей шубой, никак не могла принадлежать хозяевам.

Иван завел разговор о покупке невесты для сына Писотьки, и старики оживленно стали рассказывать ему все подробности сватовства. Усатый подсел к ним. Он мрачно молчал. Бердышов перехватил несколько его встревоженных взглядов и понял, что маньчжур исподволь за ним наблюдает. Чтобы рассеять всякие его подозрения, Иван после ужина предложил усатому сыграть в кости. Тот охотно согласился и несколько раз подряд обыграл Бердышова. Гольды этому дружно и от души смеялись, сам Иван вторил им, трясая головой и беззвучно открывая рот, а усатый, несмотря на грозный свой вид, улыбался жалко и растерянно. Бердышов понял, что спутник Дыгена сначала испугался его, а теперь доволен, что все обошлось благополучно.

Усатого и впрямь напугало появление Ивана. Он целый день валялся на горячих досках, тепло укрывшись тяжелым халатом, в приятном безделье, как вдруг в фанзу ввалился этот плечистый человек и с ним ватага гольдов, всячески угождавших ему. По облику этот русский – настоящий тигр: таков был его пыливый, хитрый взгляд и нарочитая мягкость, за которой чувствовалась хищная сила зверя. Судя по тому, что гольды так хлопотали вокруг Бердышова, усатый полагал, что он либо богач, либо начальник. Только когда Иван заговорил с ним дружески и предложил играть в кости да еще, не обижаясь, проиграл несколько раз, у него отлегло от сердца, и он разрешил себе поверить, что этот русский не такой уж страшный, как показалось сначала.

Бердышов ни о чем не расспрашивал, несмотря на то, что между ними уже установилось некоторое доверие. Он надеялся в ближайшие дни при случае выпытать о нем все у кого-нибудь из небогатых мылькинских. С этой целью Бердышов пригласил гольдов к себе на Додьгу смотреть свою новую бревенчатую юрту.

Писотька вызвался в ближайшие же дни привезти к Анге своего маленького сына, чтобы шаманка отогнала от него злые силы. Старик закрыл колючие глаза, заплакал горько и стал жаловаться, что все его сыновья умирают маленькими, а шаманы не могут помочь ему в этой беде, и теперь последний его сынишка тоже прихварывает.

– У нас теперь русская лекарка есть, старуха-шаман, она тебе поставит на ноги парнишку, – утешал его Иван.

На следующий день Бердышов стал собираться домой. Гольды подали ему упряжку великолепных рослых псов. Правил ими Улугу, чем Иван был весьма доволен. Распровавшись с гольдами, он повалился на нарты. Погонщик поднял палку и с криками: «Та-тах-тах!» – вихрем пустил псов с косогора на озеро.

Вчерашняя пурга, как заботливая хозяйка избу, выбелила начисто уже начавшие было сереть ледяные поля и сопки. Солнце ярко сияло, снега слепили глаза. Вокруг разлилось спокойствие и величие, чувствовался праздник, отдых природы от диких ветров и морозов. Собаки мчались весело, легко и быстро преодолевали сугробы, через дужку нарт ездовых то и дело запурживало свежей снежной пылью.

– А что, Улугу, – заговорил Иван, когда нарты пошли протокой и Мылки скрылись за чащей голого чернотала, – кому ты теперь меха продаешь?

В глубоком снегу собаки замедлили ход. Улугу, видя, что им тяжело, не понукал их.

– Меха-то? – переспросил он, оборачиваясь к Ивану. – Бельговскому торговцу отдаю, мы ему все должны.

Иван помолчал. Собаки, выйдя на гладкий, обдутый ветром снег, помчались быстрее. Вдали, из-за отходившего в сторону полуострова, как битые зеркала, засверкали тысячами солнц амурские торосы. Далеко-далеко, за ледяной рекой, в голубоватой дымке чернел каменный обрыв у входа в Пиванское озеро. Над ним разметались сопки. Их склоны окутаны были легкой синей мглой, оттенявшей ущелья, пади и перевалы. Слева над горизонтом стелилась красновато-бурая завеса, словно где-то там горели леса.

– А кто же это гостит у Денгуры? – спросил Бердышов, отряхивая воротник от комьев снега.

Улугу смутился и заморгал маленькими глазками. Иван не торопил его с ответом, зная, что гольд все равно ответит и не соврет. Чтобы скрыть свое замешательство, Улугу стал размахивать палкой и громко ругать на разные лады собак. Отъехав еще с полверсты и достигнув берега, где начиналась релка, он вдруг проворно обернулся к Ивану и переспросил его:

– Это который человек в кости с тобой играл? Про него спрашиваешь?

Иван молча кивнул головой.

– Это не купец, – вымолвил гольд со злобой.

Собаки, высунув языки, тяжело дышали, вытаскивая нарты на снежный заструг. Улугу, прыгнув с нарт, помогал им, прихватывая постромки. Преодолев сугроб, он снова вскочил на нарты и погнал упряжку быстрее.

С верховьев чуть колыхнул легкий ветерок. Бердышов, подняв воротник и подставляя лицо теплым солнечным лучам, вытянулся на нартах. Лучи грели по-весеннему, во всем существовании Ивана разлилась лень и приятная истома. Только сейчас стала сказываться в нем усталость от долгих зимних таежных скитаний. Воздух был по-весеннему тяжел и томил, а от жаркого солнца слегка кружилась голова и тяжелело тело.

– Не знаю, почему меха у нас берут, – продолжал Улугу. – Соболя им отдай, рыбу налови, угощай их. Где возьму, как на всех напасусь!

– Один, что ли, он приехал?

– Какое один! – воскликнул гольд. – Целая ватага ездит. Сам кривой старик был. Знаешь его? Злой старик, рябой, левый глаз течет. Он тоже был нынче в Мылках, а потом пошел нартами вниз.

– А помощника оставил в Мылках?

– Конечно оставил!

– Куда же они поехали?

– На Горюн пошли. Вниз они не поедут: там Софийск, Николаевск, русских много. Они по рекам поедут в тайгу, где глупый народ живет, – там напугают, отберут соболей. К тунгусам пойдут. Знаешь, тунгус в тайге живет, ничего не видит, – усмехнулся Улугу темноте и невежеству таежных тунгусов. – Муку, крупу не едят, все мясо да мясо, а если мяса нету, все помирают. Сколько Дыген велит дать – все отдадут.

– Значит, по-твоему, тунгусы дурные, что Дыгену меха отдают? – спросил вдруг Иван.

– Конечно дурные...

– Ну а сам-то ты как? Наверно, двух соболей Дыгену отдал? Ну-ка, признайся. – Иван слегка тронул отвернувшегося в сильном смущении гольда. – Вот то-то, брат!.. Мы других судим, а сами... Собрались бы всей деревней да взяли бы Дыгена в рогатины, как медведя. Чего на него смотреть? Обманывает он вас. Считай: сколько ты ему за свою жизнь переплатил? Эх, Улугу, Улугу!.. – Иван хлопнул гольда по спине.

Вдали за мысом показался дымок. Вскоре стал виден кособок с черными пенками.

– Видать юрты ваши, – молвил Улугу, не оборачиваясь.

Откуда-то издалека донеслось позвякивание колокольцев. Улугу завертелся на нартах, оглядываясь по сторонам.

– Почта поехала, – показал Иван в сторону дальнего берега.

Между торосами рысили запряженные гусем кони.

Глава двадцать первая

Замерзшее оконце в оттепель начинало оттаивать, с него обильно текло. Агафья срубила со стекла лед, протерла окошко, и яркий солнечный свет впервые за зиму осветил темные углы барабановской землянки.

Ребята спорили из-за места на солнышке. Гошка начистил до блеска железную тарелку и забавлялся, пуская зайчиков на стены.

– Ну, вот и веселей у нас стало, – говорил Федор, заходя в землянку с Тимошкой.

С утра они работали вместе, валили лес и пришли голодные и уставшие.

– Томит солнышко-то, – сказал Силин.

– У меня аж в ушах звенит, – подтвердил Санка, снимая вымазанную смолой куртку.

– Солнце-то здесь теплое, а у нас об эту пору так не греет. Кабы не ветры, тут бы уж весна была.

Агафья подала сухари и чугунок мелко рубленого мяса кабарги. Следом появился горшок каши и свежая рыба, добытая Санкой на махалку. С пищей у Барабановых за последнее время стало получше, Федор, охотясь с Савоськой за Амуром, подстрелил кабаргу. Санка поймал на свой самострел соболя, а на третий день промысла Федор взял лису.

Санка и Тимошка доедали чумизу, а Федор глодал кабаржиные кости, когда в землянку вошел Бердышов. Барабанов стал подробно рассказывать ему о своей удачной охоте.

– А ты коня у кого ставил, покуда промышлял? – спросил его Иван.

– Григорий Иванович, дай ему бог здоровья, позаботился. Кормил, шубой его на ночь укрывал, доху не пожалел на коня.

– Ты в лес с Савоськой ходил?

– С ним.

– Это охотник так охотник!

– А у нас, дядя Ваня, почта ночевала, – блеснул светлыми глазами Санка, давно ожидавший очереди что-нибудь рассказать. – У них вчерась конь в тростнике подох. Мы с тяткой шкуру с него сымать поедем.

– Ну-ну, охотник, отцу зверей добываешь, – потрепал Бердышов Санку по русым вихрам.

– Он на свой лучок соболя-то поймал.

– Молодец! Ну, будь здоров покуда, Федор Кузьмич, заходи вечерком ханшин пить, обо всем с тобой и потолкуем. – И, подмигнув Санке, Иван вышел.

К вечеру снова началась метель. Под вой ветра в русской печи Бердышов поведал Федору о своей беседе со старыми гольдами в Мылках. Слабо горел жирник, освещая вымытые добела плахи и деревянную тарелку с соленой черемшой.

– Пообижались на нас эти гольды. Сказывают, нет покоя. Стал я их допытывать, какой же им ущерб от нас. Допытал! – Федор насторожился, полуоткрыв рот и перебирая пальцами темную бороду. – Да-а, – продолжал Бердышов. – Они мне все сказали. Я не поверил сперва. «Как? – думаю. – Быть того не может, чтобы сосед обворовал ловушку у гольдов». Нет, они стоят на своем.

Анга поправила жирник, ушла в угол. Собаки скреблись в дверь. Иван поднялся и впустил их в избу. Они вбежали жадной измерзшейся ватагой, стуча когтями по гладким поло-

вицам. Отряхивая куржу и снег, слабо урча, разбрелись по избе и стали укладываться вокруг стола. С вожделением поводили они узкими острыми мордами, судорожно позевывая и пощелкивая пастями от голода. Эти могучие, выносливые псы никогда не были сыты. Живя в вечном страхе перед побоями, они не жаловались громко на свой голод, а терпеливо и долго ждали, когда кинут им кусок юколы, и лишь слабым подвыванием, полным тоски, выдавали свои желания. Иван не кормил их досыта, чтобы они были спорей на работу и злей. При нем они и грызлись-то потихоньку и терпели друг от друга быстрые укусы в морду и за уши.

Федор недолюбливал эту мохнатую стаю и с опаской огляделся, когда псы обложили его со всех сторон, словно зверя в берлоге.

– Провалиться мне на месте, – хитро и жестко улыбался Иван, и углы его губ дрожали, – а чего я гольдам пообещал, исполню! Отучу вора воровать. Теперь никто во всей округе чужого не тронет. Своим судом станем судить, хоть брата родного за такое дело, душа из него вон, собаками затравлю.

Такие разговоры Бердышова перепугали Федора не на шутку. Его начинала колотить дрожь. На свою беду, он понимал, что растерялся и ничего не может придумать, чтобы как-нибудь вывернуться. Иван тоже все ходил вокруг да около, и тем неприятней становилось Барабанову, что он и в толк не брал, добивается от него чего-нибудь Бердышов или задумал устроить ему какое-то страшное наказание. Федор хотел было уйти домой, но Иван не пустил его.

– Угощаться будем, сиди, что тебе не сидится? Еще чаевать будем.

Серый вожак, словно сговорясь с хозяином, каждый раз, когда Барабанов пытался подняться с лавки, скалил пасть и начинал злобно хрипеть. В полутьме под столом и сзади, за лавкой, куда бы Федор ни поглядел, повсюду белели клыкастые собачьи морды.

– Оказалось, что варнак этот живет у нас, на Додьге, – продолжал Иван.

В печи страшно взвыл ветер, словно там кто-то томился.

– О господи, господи! – вздохнул Федор, озираясь по сторонам.

– Этого у нас еще никогда не бывало, чтобы охотник у охотника взял добычу. За это у гольдов суд. Выкуп берут с вора: котлы, халаты, ружье. А у русских за такие штуки – пуля. Смерть, паря! – сказал, как отрезал, Иван.

У Федора лязгнули зубы от страха.

– Догонят, к лесине поставят и пристрелят. И сам пропадешь, и детушкам позор на всю жизнь. Они-то виноваты ли? Скажи ты, Кузьмич, Санка твой, к примеру? – продолжал Бердышов.

– Иван Карпыч! – вдруг в голос взревел Барабанов. – Не погуби, помилуй!.. Это я соболя у гольдов взял! – кинулся он на колени.

Вожак, злобно скурносившись, рванулся, чтобы цапнуть обнаженными клыками руку Федора, но Иван пнул собаку в брюхо с такой силой, что она перевернулась на спину и захлебнулась бессильным злобным хрипом, а одна рыжая сука взвизгнула со страха и закатилась в собачьей истерике. Остальные псы посторонились, поджимая хвосты и отворачивая морды от хозяина.

Рыдание клокотало в горле Федора.

– Будь милосерден, не погуби!

– Чего же ты задиковал? – Иван усмехнулся, поднял Федора за воротник. – Ты чудак! Барабанов всхлипывал.

– От кого ты прятался, скажи? – говорил Иван. – Да что бы ты в тайге ни сделал, я все узнаю. Я ее, матушку, насквозь вижу, по следу скажу, а следы заметет, шаманить стану – как в воду посмотрю. Собаки у меня и те вора чувствуют, они тебя и не любят. – Он отогнал пинком бродившую вдоль стен рыжую суку.

Барабанов, вздрагивая, бился лбом о стол и бормотал что-то несусразное. Голос его заглушали пурга и шум леса.

Изредка доносился слабый треск падающих деревьев.

– Попомни мои слова, Федор. Покуда твое счастье. Ну, ежели ты еще раз в тайге чужого коснешься, не пощажу. А пока – как ничего не было. Слышь ты, – Иван потряс Барабанова за плечо, – не дикуй... Чаевать станем.

Глава двадцать вторая

Однажды Анга привела в землянку Кузнецовых молодую кривоногую гольдку в щегольском халате и с серебряным кольцом в плоском носу. На руках у нее был заплаканный косоглазый ребенок.

– Бя-я-я... Бе-е-е, – укачивала его мать.

Это была молодая жена мышкинского богача Писотки. Она приехала на собаках вместе с мужем, чтобы полечить ребенка у Анги, но та шаманить отказалась и привела женщину к старухе.

Раздев младенца, бабка ужаснулась его виду. Ребенку было более года, но мать, по-видимому, еще ни разу не мыла его. У мальчика вздулся животик, тело покрылось струпьями.

– Все мальчишки у нее, как родятся, помирают, – объясняла Анга. – Отец говорит: «Кто вылечит – ничего тому не пожалею».

Гольдка что-то с чувством говорила бабке Дарье по-своему, прижимая к груди красивые грязные руки в серебряных кольцах и браслетах.

– Болезнь эта – собачья старость, – поучала Ангу старуха, рассматривая голенящего ребенка. – Наверно, у нее в избе собак много, а она брюхатая шагает через них. Скажи ей, что бабе нужно обходить собаку, а то дитя больное родится, да и купать бы его надо, а то ведь срамota смотреть – грязь на нем на палец. И собака щенка вылизывает, а дитя до чего у нее запакастилось. Вылечила бы я ей дитя, да нету у меня муки, надо калач испечь, чтобы было все как следует...

Анга предложила бабке муки. Пока Наталья затапливала печь, Бердышова сбегала домой, принесла муки и завела квашню.

– Какая понятливая! – удивлялась бабка, глядя, как гольдка ловко месила тесто и катала калач.

Бабкино лечение продолжалось весь день. Наталья натаскала воды и нагрела ее в печном котле. Старуха стала купать маленького гольда. Вначале он с удовольствием барахтался в воде, но вскоре купанье ему надоело, и он расплакался. Бабка вымыла его дочиста, вытерла насухо и, завернув в свою чистую посконную рубаху, положила на подушки.

– Насилу отмыла, – с упреком говорила она гольдке, поправляя седые волосы, выбившиеся из-под платка.

Анга переводила ее слова.

Женщины выгребли печь и на горячем поду испекли калач. Гольдке настрого наказали сидеть смирно. Лечение началось.

Помахав калачом, бабка забормотала заклинания от собачьей старости, потом, развернув ребенка, просунула его через калач, и тотчас же, разломив калач на части, выбросила его за дверь собакам. Потом она посадила голого ребенка на деревянную лопату и, открыв заслонку, что-то приговаривая, сунула его в печку.

Гольдка в ужасе с криком кинулась к Дарье, но Анга остановила ее и стала успокаивать.

Мальчик между тем снова заплакал. Бабка все же трижды совала лопату в печь, каждый раз быстро вынимая ребенка. Наконец Дарья сняла его с лопаты и снова положила на подушки. Матери объяснили, что все лечение окончено. Гольдка стала поднимать старые тряпки, брошенные старухой к порогу, намереваясь снова завернуть в них ребенка.

– Эй, тряпки эти надо выбросить, – сказала Дарья, вырывая из рук женщины лохмотья. – Надо новые брать, эти никуда не годятся, чистые надо, давай-ка толмачь ей, – велела старуха Анге.

Бердышова эти дни дома не было, и Писотька уехал обратно в Мылки. Жена его еще погостила у Анги, перенимая от нее все, чему та сама за эту зиму научилась от русских. Сына она каждый день носила к Кузнецовым и показывала бабке. Ребенок поправлялся, оживал и все меньше походил на маленького старичка. Желтые щечки его чуть зарозовели, стали круглее и крепче. Мать, глядя на него, не могла нарадоваться.

С тех пор мылкинские гольды повадились лечиться у Дарьи. Их нарты, запряженные мохнатыми псами, часто останавливались под берегом напротив кузнецовской землянки. Бабка ворожила, выбивала больные зубы, лечила разные нарывы, болячки, опухоли.

Постоянное общение с гольдами так приучило бабку к ломаному языку, что она даже кошке, стащившей с шестка кусок лосиного мяса, говорила:

– Чего твоя балуй? А? Ах ты!.. Вот я тебя ножом мало-мало секи-секи...

Глава двадцать третья

На рассвете фанза выстуживалась. Женщины поднимались рано, топили очаг и варили в глубокой подвесной сковородке чумизу.

Кальдука Маленький выходил кормить собак. Они обступали его жадной сворой и, подывая, провожали до маленького амбарчика с юколой. Кальдука залезал в лабаз и давал в зубы каждому из псов по темному пласту костей от сушеной мороженой рыбы, остальное съедено было людьми.

Чуть брезжил рассвет. Заснеженные сопки и река были ярко-синими. В глубоких снегах дымились низкие фанзы.

Сегодня Кальдука поднялся не в духе. Ему неприятен был вчерашний разговор с лавочником. У Гао Да-пу за ним накопился огромный долг – в восемьдесят серебряных рублей. И долг этот за последние годы как-то странно и быстро рос, хотя Кальдука брал в лавке то же, что и прежде. Это был опасный признак. С таким долгом нельзя расплатиться иначе, как отдав кого-нибудь из семьи в рабы. Кальдука ничего не понимал в записях торговца, но ему казалось, что должен он гораздо меньше, чем значится в долговой книге. И он пытался уменьшить долг.

Всю зиму Кальдука провел в тайге, лишь изредка возвращался домой, чтобы пополнить запасы юколы. Но что мог он поделать, если хозяин тайги не посылал зверей в его ловушку?

Даже старый осиновый кривоногий бурханчик, служивший еще отцу Кальдуки, был, видимо, бессилен помочь его горю, и гольд, затаив обиду, собирался хорошенько высечь деревянного бога. Но пока Кальдука все еще не решался на такой поступок, откладывая наказание со дня на день, втайне надеясь, что бурхан, может быть, образумится и еще пошлет ему счастье.

Охота кончилась, а пушнины у Кальдуки было мало, и он не мог отдать долг торговцу. Вчера Гао Да-пу велел ему прислать в лавку тринадцатилетнюю дочь Дельдику, за которую Кальдука собирался получить со временем богатый калым.

Вечером, возвратившись из лавки, Кальдука не в силах был сдержать свой гнев. Он раскричался на женщин, наполнявших его фанзу. Их было много в семье: жена – жирная Майога, которую он взял когда-то по бедности вдовой, в надежде со временем купить девушку, но с которой ему пришлось прожить всю жизнь; седая, с больными ногами мать – Уму, вдовая невестка Одака – жена единственного сына Кальдуки, которого уташил Му-Амбани – водяной черт, и четыре дочери, из которых старшая была косая, поэтому до сих пор не нашлось охотника жениться на ней; отдать дочку даром за нищего старик не хотел – хоть какой-нибудь калым надо было за нее получить.

– В моем доме много лишних ртов! – кричал Кальдука. – Никаких соболей не хватит прокормить такую ораву. Долг в лавке такой большой, что торговец забирает в рабыни Дельдику.

И разъяренный Кальдука схватил палку и начал драться. Он таскал толстую Одаку за волосы, бил ее по спине и по заду, потому что Одака была самым лишним ртом. В фанзе поднялся вой. Все женщины заплакали и завывали, услышав, что торговец хочет взять себе маленькую Дельдику. Женские слезы еще более распалили чувствительного отца, и его палка пошла гулять по бабым спинам. Он переколотил всю семью. Досталось даже старухе-матери, а заодно со всеми и осиновому идолу за то, что он плохо заступает за Кальдуку перед хозяевами тайги и зверей.

Накормив собак, Кальдука вышел на берег и посмотрел на Амур. Уж много-много лет Кальдука, если только не промышляет в тайге, по утрам смотрит на реку. Возвращаясь с охоты и завидев великий Мангму⁴², он вскакивает на нарты и громко приветствует его, славя Му-Андури – владыку речных и морских вод.

Мысли старика были печальны. «Сегодня китаец возьмет за долги дочь. Через год-другой за девушку можно бы получить дорогие подарки от жениха. Теперь этого не будет. Конечно, может быть, потом он отпустит ее, но после того, как она поживет в лавке, никто не даст за нее хороший торо»⁴³, – рассуждал Кальдука.

Кальдука окликнул Удогу. Старики присели на корточки возле амбара и закурили. Удога уже знал, что Гао хочет взять Дельдику, и сочувствовал беде сородича. Ежегодно торговцы отбирали у гольдов женщин. Перед концом зимней охоты они торопились выколотить долги с охотников до ледохода, опасаясь, что гольды приберегут меха к лету, чтобы покупать товары на русских баркасах.

В воздухе потеплело. Свежий снег еще не таял, но был влажен и комьями облеплял обувь. Чувствовалось, что весна где-то недалеко. Старики долго молчали, посасывая трубки и озабоченно поглядывая по сторонам, словно чего-то ожидая.

– Когда я был мальчишкой, – заговорил наконец Удога, – давно-давно это было, мы жили на Горюне. У меня уже были свои нарты, отец меня приучал ходить на охоту, дал мне трех собак, я вместе с ними таскал свой припас и юколу. Савоська был еще совсем малыш.

Над хребтами сверкнула солнечная корона. Синева исчезла, словно с реки сдернули покрывало. Сопки пожелтели. Кальдука выбил золу из трубки и позвал Удогу в фанзу.

– Однажды, – продолжал Удога, расположившись на кане подле очага, – мы с отцом отправились соболевать на озера, за Амгунь, к морю. Я тяну свою нарту, он – свою. Нашли сопку, соболиных следов было много. Сам я еще не умел ставить сторожки. Отец насторожил пять лучков: три на себя, а два на меня, будто бы я их сам поставил. Пошли дальше и так везде охотились. Немного времени прошло, вернулись мы на сопку проверить нашу охоту. Под мои самострелы попали соболя, а отцовы стоят, как стояли. Отец говорит мне: «Тебе счастье от этих соболей будет».

– А у меня нет сына, – всхлипнул Кальдука, – некому мне помочь.

На себя Кальдука Маленький не надеялся. Он всегда был беспечным человеком. Если у него бывали меха, он покупал водку, устраивал угощения и наигрывал на муэня – это любимый гольдский музыкальный инструмент – железная подковка. Кальдука закладывал ее в рот. Ударяя по прикрепленной к ней пластинке, похожей на язычок, он извлекал дрожащие печальные звуки. Он мог проводить так целые дни. Если бы его не выручали сородичи, он давно погиб бы от голода. Сам Удога много раз помогал ему, а однажды во время оспы спас Кальдуку: приютил его у себя и долго кормил его самого и всю его семью.

⁴² *Мангму* – так называли Амур народы, жившие в Приамурье.

⁴³ *Торо* – выкуп за невесту.

– Потом мы переехали в стойбище Бичи, но и там нам плохо жилось, – продолжал Удога. – От торгашей покоя не было, они туда повадились ездить. Отец наш был отчаянный. Помнишь его? Вон Савоська в него уродился. Наладил он лодку, нас всех посадил, пошли мы на Мангму. Соседям отец сказал: «Какой бичинский торгош ко мне на новое место приедет за старыми долгами – убью и кровь выпью; с другими буду торговать, покупать у всех буду, ни у кого в долг брать не стану». С тех пор до самой его смерти мы никому должны не были. Потом, когда отца убили, я стал жениться, пришел в лавку к отцу этого торгоша, к Гао Цзо... Хитрый был старик. Я у него стал просить халаты, чтобы торо за невесту заплатить. У меня не хватало вещей до полного торо. Мать не хотела, чтобы я в долг брал, а я ее не послушал – молодой был, дурак, бабу скорей хотелось. Я пришел в фанзу Вангба, к Гао Цзо, встал перед ним на колени, поклонился. У него тогда своей лавки не было, он у Вангба жил.

Кальдука много раз слышал этот рассказ, а некоторые события и сам помнил, но все же слушал Удогу со вниманием.

– Старик сидит на кане, лапшу ест палочками, глаза у него узкие были, он их будто закроет, а сам смотрит. Тихий был, тихий, говорил потихоньку. Я прошу у него: «Дай мне вещи, какие надо». Он отвечает: «Ладно, только не забыл ли ты, что твой отец умер?» Я кланяюсь: «Помню, джангуй!» Гао-отец вздохнул и говорит: «За ним ведь был большой долг...» Я с ним спорить не могу. Раз он так сказал, надо будет платить. Забрал я, чего мне нужно было, ушел, сам дома заплакал. Ну, беда, ой, беда мне была, сколько я мучился! Потом сильно мне хотелось отдать долг, выручить семью, никому должным не быть, как отец велел нам. Как мы ни старались с Савоськой, никак долга скинуть не могли, уменьшался он, но все-таки записаны были мы в книге. Правда, и первую мою жену торгоша никогда к себе не таскали. Брат восстание против маньчжур поднял... Пришлось ему бежать. Потом уж, когда Невельской пришел, брат у него работал. Невельской поймал Гао, узнал все про него, заставил признаться, что ему не должны. Потом на баркасах русские поплыли, я стал проводить их суда: они платили мне хорошо. Молодые офицеры всегда заступались за гольдов и денег нам не жалели, серебро давали. Лавочник при расчете опять меня обмануть хотел, но уж я сам хитрый стал, в Николаевске у русских научился. Не дал себя обмануть.

Удога ушел.

«Вместо Дельдики я пошлю в лавку толстую Одаку», – вдруг придумал Кальдука, и сейчас же ему захотелось привести свою мысль в действие.

– Эй, Одака! – вскочил он, обращаясь к невестке. – Иди живо в лавку, скажи, что я послал тебя вместо дочери. Я не отдам ему Дельдики! – закричал старик. – Ступай, работай на них, спи с ними, а дочку я не дам им портить.

Еще не понимая, что ей велят, но уже чувствуя угрозу, потому что свои пояснения Кальдука подкреплял обычно побоями, Одака, как только старик произнес ее имя, замерла в оцепенении, моргая маленькими, заплывшими жиром глазками. Далее она уже совсем не понимала злую болтовню Кальдуки, и ей становилось все страшней и страшней, по мере того как старик, ярясь от своих собственных слов, приближался к ней.

– Иди к торговцам вместо Дельдики, иди, – подхватила жена хозяина, грузная Майога, толстогубая женщина с большим сизым бугроватым носом и с жирными щеками. Она вздрагивала от злости так, что тряслись щеки, а в больших отвислых ушах звенели кольчатые серьги.

– Пусть хоть лавочники растрясут твой жир, – подхватила, слезая с кана, больная ногами бабка.

Обе женщины накинулись на Одаку.

Они никогда не могли с ней сладить и ненавидели ее. Толстая Одака, живя в их доме, все делала им наперекор. Ее ничем нельзя было пробрать, эту ленивую бабу, спокойно и терпеливо сносившую все обиды. После смерти мужа ей, сироте, некуда было деваться, и она была

лишним ртом в большой семье Кальдуки. Когда старик объявил, что отправляет ее в лавку, женщины обрадовались.

– Тебя давно надо было отдать китайцам, – шамкала старуха, ворочая желтыми больными белками.

Видя, что Одака упирается, Кальдука разъярился и пустил в ход палку. Он схватил Одаку за волосы, с ожесточением стал колотить и наконец вытолкнул ее, босоногую и простоволосую, на мороз.

Дельдика, с ужасом смотревшая на это наказание, от души жалевшая Одаку, вынесла ей шубейку и бутки, и Одака поплелась через сугробы и кустарники к фанзе торговцев.

У всех полегчало на душе, когда черная дверь лавки с наклеенными на ней красными бумажками захлопнулась за Одакой. Между тем в фанзу Кальдуки стали собираться соседи, и хозяин, поставив на кане столик, принялся вместе с гостями за пшеничную кашу.

– Какой амба изводит меня? – жаловался Кальдука. – Сегодня ночью я видел во сне, будто ловлю рыбу на косе, на Ондинском острове, и у меня запутался невод.

Старики, уплетая кашу, качали головами и смотрели на маленького с сожалением: увидеть во сне запутанный невод означало беду.

– Однако, если беда на девок, то виновата Лаптрюка⁴⁴, – заговорил горбатый Бата. – За шаманом ехать придется – гонять Лаптрюку.

– Шаман сам узнает, какой амба. Может, Лаптрюка тут не виновата, – возразил Пагода. – Шаман молиться станет – узнает... Это, кажется, крутит тебя не Лаптрюка, а оборотень Нгвы-Амбани. Чтобы отогнать его, можно не звать шамана, а камлать самим. Надо нарубить ветвей тополя и положить их на каны, когда ляжешь спать. Перед сном надо помахать вокруг себя и проговорить: «Не играй, не мешай!»

Вернулся Удога. Он слушал разговоры про злых духов и молчал угрюмо. Много раз пытался он убеждать сородичей, что все это чушь, сказки!.. С годами даже родной его брат, когда-то бывший бесстрашным проводником капитана Невельского и его офицеров и сам ни во что не веривший, кроме как в бога, и тот стал снова, как в детстве, поминать иногда всякую чертовщину.

В это время до слуха сидевших в фанзе донеслись визгливые выкрики торговца и вопль женщины.

Все кинулись наружу.

По тропинке, протоптанной в кустарниках к лавке, Гао Да-пу гнался за толстой Одакой, пиная ее ниже спины и выкрикивая грязные бранные слова.

– Хитрый Кальдука хотел отдать мне лишний рот, – нарочито громко, чтобы всем было слышно, кричал он. – Беги, беги, вонючка, мне тебя не надо!

Торговец остановился на полдороге между лавкой и фанзой Кальдуки и, глядя, как взлохмаченная Одака улепetyвает к толпе гольдов, прокричал:

– Хитрые, хитрые лисы! Когда надо справлять праздник, просят: «Хозяин, дай водки!» – изогнувшись, представил он просящего гольда. – Когда голодные: «Хозяин, дай чашку пшена!» – А отдавать не хотите, надеетесь на рогатую лягушку?⁴⁵ Посылаете ко мне голодную девку? Нет-нет, – подпрыгивая, взвизгнул лавочник, – отдай молоденькую дочку, а вонючку возьми себе. Сам хочешь получить за дочку торо, а торговец вешайся от убытков. Видано ли, чтобы долги не были отданы ни к Новому году, ни к концу охоты? – И Гао Да-пу, громко бранясь, поплелся в лавку. – Вечером отдавай долг или приводи девчонку, старый лисовин, а то сам приду за ней и отберу ее у тебя! – крикнул он из кустарников, оборачиваясь к Кальдуке.

⁴⁴ Лаптрюка – дух, один из многих.

⁴⁵ Есть поверье, что если охотник найдет рогатую лягушку, то он будет счастлив, станет богат.

Весь день гольды курили на канах длинные трубки, рассказывали разные истории об охотниках, о чертях и спорили, какой именно амба виноват в несчастьях Маленького и чем бы отвести от него беду.

– Никакой черт не виноват в том, что Гао отбирает у нас девушек, – возразил старик Удога. – Помнишь, когда поплыли первые баркасы, шаман Бичинга говорил, что русские – это черти. Если бы они были черти, от них было бы много бед, а оказалось наоборот. Боясь русских, китайские торговцы перестали отбирать у нас девок, теперь они снова хотят приняться за старое.

Все же и Удога не сказал, что надо сделать, чтобы Гао не отобрал Дельдику. Когда-то он храбро ссорился с торговцами и не уступал им ни в чем. Осмелел он после того, как его наградили русские. Он служил у них лоцманом на сплавах, отличился отвагой и знанием реки. Сам губернатор Муравьев не раз хвалил его за усердие. Позже в Бельго поселился Бердышов, он не давал спуска торговцам. Но после того как Иван и дочь Анга уехали на Додьгу, постаревший Удога снова стал побаиваться лавочника. Взрослых сыновей у него не было, сам он охотился все хуже, Савоська тоже сдавал, и у братьев уже не стало прежней уверенности в себе. Хотя они сами не были должниками, у них не хватало храбрости заступиться за Кальдуку.

Вечером, когда тайга побагровела от заката, ветер донес до слуха стариков голоса. К фанзе подошли Гао-младший и Гао-старший с работником Шином. Они стучали палками в стену так, что сыпалась глина и появлялись дыры, в которые валил мороз. Торговцы требовали, чтобы им вывели девочку.

Женщины заголосили. Кальдука Маленький выскочил наружу и заспорил с торговцами. Тогда Шин, рослый и сильный, растолкав гольдов, ворвался в фанзу. Он оттолкнул Удогу, а бойкий Гао Да-лян крикнул гольду:

– Не смей мешать нам, тебя теперь никто не боится!..

И Удога с болью в сердце отступил, сознавая, что он теперь им действительно не страшен. Вряд ли кто из новых русских помнит о бывших его заслугах. Все начальники здесь новые, никто не заступится за него. Надежда была лишь на Ивана, но тот редко наезжал в Бельго, и старых знакомцев, боевых морских офицеров, водивших сплавы, не осталось, все они уехали.

Много потрудился в свое время Удога, и вот теперь его опять никто не знает. Лавочники скорей всех сообразили, что Удога теперь бессилен. Самый младший из них первый сказал ему об этом.

«Да, теперь меня никто не боится», – с горечью думал старый гольд. Рассказы о его подвигах стали лишь преданиями, сказками. Наконец прорвалась злость торговцев, которую они копили на Удогу много лет. Пока что это была лишь дерзость, но как знать, на что решатся они дальше.

В фанзе поднялся ужасный гам. Женщины пытались отбить Дельдику у китайцев.

Глава двадцать четвертая

Бабка Дарья слушала разговор мужиков про охоту.

– Видно, мужики у нас сами лису не поймают.

Придерживая левой рукой фартук, она приподнялась и пошарила правой по черепкам на полке, достала какой-то травы, намяла ее с тестом.

– Кинь на острове, у норы, – сказала она сыну.

Через два дня Егор пришел с мешком и, сняв его с плеча, стукнул об пол чем-то тяжелым. В мешке была лиса-сиводушка. А на третий день попалась чернобурка.

– Целый месяц мы за ней ходили. Кабы не ты, старуха, не поймали бы, – признался дед.

– Лис да лиса, не пробеги мимо, – напевала старуха какой-то заговор, переставляя черепки со своими снадобьями.

В пятницу на первой неделе великого поста к Кузнецовым приехал Писотька с женой. Старик, увидя бабу Дарью, прослезился от умиления, его плоское лицо просветлело, а колючие, подозрительные глаза смягчились. Он поклонился ей в ноги и выложил на лавку соболя и великолепную чернобурку.

– Спасибо, бауска, сибко спасибо, моя сынка вылецил, – мягко и певуче говорил Писотька, обращаясь с непривычными чужими словами, как с дорогими безделушками. – Моя лиса ловил, народ в тайгу гонял, сам бегал, чтобы тебе гостинца таскать. Баба моя тоже гостинца привез.

Гольдка отблагодарила старуху меховыми сапогами. Стоя на коленях, она вынула подарки из кожаного мешка.

– Ну-ка, бауска, говори такое слово, чтобы никогда мальсиска не хворал. Наса тоже саман есть, да он плохо лецил, все моя мальсиска помирал, а твоя, бауска, сибко хороша...

– Мыть ребят надо, купать в воде хорошенько, с мылом, – втолковывала бабка гостям, рассеявшимся на высокой земляной лавке. – Анка Бердышова дала твоей бабе мыла, – обращалась она к Писотьке, кивавшему головой на всякое ее слово, – она теперь сама знает, что с мылом делать. Корыто надо, воду нагревать да купать его, купать. – Старуха делала руками такие движения, словно окунала ребенка в воду. – Его здоровый, шибко здоровый будет.

– Они так-то не поймут, им, поди, показать корыто надо, – с сожалением глядя на гольдов, встала Наталья.

– Ну как не поймут! – возразила старуха. – Они понятливые.

– Конечно, понимай, как не понимай, – подхватил старик. – Корыто долбить надо, потом вода наливай, купай мальсиска-то. Наса то же летом купаться ходит, только зимой не могу, сибко холодно...

Пришли Кондрат, Егор и Федюшка. Благодаря заботам Анги, подкармливавшей Кузнецовых соленой черемшой, мороженой клюквой и толченой черемухой, дед понемногу поправлялся. Чувствовал он себя все еще слабым, но все же, стараясь не быть обузой детям, ходил на релку и работал там, потихоньку раскряжевывая срубленные деревья.

Писотька быстро разговорился с мужиками, проявив особенное любопытство к Кондрату. Оба старика, усевшись рядом, поглядывали друг на друга с некоторым удивлением. Более всего Писотьку занимала седая широкая борода деда, а Кондрата – серебряные кольца в ушах и в носу гольда.

Писотька глядел долго на Кондрата и наконец попросил у него позволения потрогать бороду.

– Ну, трогай, – сказал дед, подняв подбородок и согласившись только из-за того, что гольд привез чернобурку.

– Ай нари!⁴⁶ – умиленно восклицал Писотька. – Серт не знай, какой мяконький твоя борода!

Все уселись за стол. Гости, подражая русским, учились брать пельмени ложками.

Дарья и Наталья от души старались угодить гостям. Гольды прогостили у Кузнецовых до вечера и на прощание приглашали их всей семьей к себе в Мылки.

Так случилось, что Егор стал обладателем соболя и двух чернобурок. Кузнецовы решили отдать долг торговцу и на свою чернобурку набрать в лавке соли, муки, круп. На другой же день, заложив Саврасого в розвальни, Егор отправился в Бельго.

По дороге Егор сломал оглоблю, вырубил в прибрежном лесу новую и из-за этого задержался. Лишь к вечеру доехал он до Бельго. Взявши коня под уздцы, он вывел сани на откос берега и поставил Саврасого подле амбара.

Залаяли собаки. Из фанзы выскочил Гао Да-пу.

⁴⁶ Непереводимое восклицание.

– Цу-цу! – закричал он на собак.

Собаки попрятались под амбар.

Торговец поздоровался с Егором и велел ему идти в лавку, а сам, вытянув шею, стал вслушиваться в какие-то неясные звуки, доносившиеся со стороны стойбища.

Собаки снова вылезли и громко залаяли на Егора. Торговец рассердился и погнался за ними.

– Иди, иди! – грубо крикнул он Егору.

Кузнецов пошел в фанзу. К его удивлению, там никого не было. По-видимому, братья хозяина и работник были в отлучке. Егор снял шапку, пригладил волосы, сел на теплый кан и стал ожидать лавочника.

В дальнем конце фанзы пылал очаг, языки пламени то и дело вылетали из-под котла с бурлившей водой. Пахло бобовым маслом, чесноком, прелью залежалых материй, сыростью и дымом.

Егору не понравилось, как торгош пренебрежительно поздоровался с ним и как покрикивал, словно видел перед собой человека зависимого. Егор знал, что такова повадка у всех торгошей, когда у них что-либо просят. Ему хотелось поскорей показать пушнину и этим доказать, что он приехал не просить товары в долг, а расплатиться.

Гао долго еще ругал разлаявшихся собак, потом с кем-то громко бранился и наконец вбежал в фанзу, сильно хлопнув дверью. Что-то приговаривая по-своему, он присел на корточки у очага и стал греться.

– Ну, что приехал? – не оборачиваясь, спросил он Егора.

За последние года Гао Да-пу насмотрелся на бедствующих переселенцев и не стеснялся с ними. Егор уже был его должником. Торговец знал, что он охотничает неудачно, и поэтому никак не полагал, что у мужика за пазухой лежат меха.

Егор поднялся с кана, разматал кушак, достал из-под рубахи соболя, сиводушку и чернобурок и выложил их на низенький прилавок.

– Ну-ка глянь, чего я тебе привез, – сказал он.

Лавочник вскочил и зажег на прилавке свечу. При виде мехов он мгновенно оживился. Хватая каждую шкурку за хвост и за голову, он тряс их, рассматривая у огня, дул на них, ласково поглаживая своими сухими желтыми пальцами, и, откинув голову, любовался ими с видом знатока.

Егор подумал, что не зря ли выложил сразу все шкурки. «Надо мне было сперва показать одну, а то он вон как вцепился».

Тут Гао опять к чему-то прислушался. Вдруг он бережно положил чернобурок на прилавок и, ни слова не говоря, выскочил наружу.

«Какой ему нечистый мерещится?» – удивился Егор и тоже стал вслушиваться, но, кроме гудения ветра в дымоходах под канами, ничего не услышал.

При свете свечи Кузнецов подробней оглядел лавку. На глинобитных нарах стояли столики-коротышки с посудой и палочками для еды; на полу громоздились тюки и ящики; вдоль одной из стен тянулись полки с разложенными на них товарами; с поперечных балок из-под крыши свешивалось несколько крупных звериных шкур и пучки сухой травы, предназначенной для завертывания ног; посреди фанзы, над канами, висели шубы и огромное фитильное ружье, аршин двух с половиной в длину; повсюду на деревянных гвоздях сушилась набитая травой обувь.

Ветер донес до слуха Егора чьи-то отдаленные голоса. Где-то в стойбище кричала женщина.

«Что-то тут у них неладно!» – с тревогой подумал Егор.

В фанзу вскочил Гао.

– Две чернобурки – восемь рублей, больше не стоят, это не шибко хорошая шкурка, – живо проговорил он, вешая чернобурок на деревянный гвоздь над прилавком.

– Да-а... – протянул Егор.

Торгаш раскрыл долговую книгу.

– Прошлый раз товар брал, сколько должен?

По его расчетам получилось, что и соболя и обеих чернобурок едва хватало на уплату старого долга. Егор попробовал сказать, что нет такой цены на меха, что каждая чернобурка стоит дороже всех товаров, какие он взял, но торговец так нагло и уверенно твердил свое, что мужик умолк.

Торгаш и слушать не хотел никаких возражений. Он охаял обе чернобурки, нашел проколы в шкурке соболя, совал Егору меха в нос.

Кузнецов подумал, что, быть может, на самом деле меха уж не так и хороши.

Пощелкав на маленьких счетах и что-то записав в книгу, торговец согласился отпустить Егору в долг мешок муки и мерку пшена. Он снял с полки выдолбленную из осины мерку и дважды насыпал ее, каждый раз уравнивая крупу палочкой с краями.

Когда Егор увязывал мочалкой мешок, где-то подле лавки, под берегом, послышалась возня. Кого-то, видимо, волочили по сугробам к фанзе. Слышалось тяжелое мужское дыхание, скрип снега, короткие торопливые возгласы и сдавленный женский стон.

Залаяли собаки. Ветер вдруг усилился, могучий поток воздуха зашумел, покрывая все звуки. Дверь широко распахнулась, и на пороге появился разъяренный толстый брат Гао, тянувший за руку маленькую девушку-гольдку. Ветер трепал ее косы и полы халата. Молча, как пойманный зверек, отбивалась Дельдика от толстяка Гао. Она пыталась укусить его за руку, упиралась о косяки, и, только когда торговец подхватил ее за пояс и втащил в фанзу, с ее сжатых губ слетел стон отчаяния.

Следом за Гао Да-ляном, отряхиваясь от снега, вошли младший брат хозяина и работник, вооруженный длинной бамбуковой палкой. Все трое сильно запыхались и о чем-то громко говорили, обращаясь к старшему хозяину. Гао Да-пу тоже закричал.

Толстяк, не стесняясь присутствием Егора, толкнул девочку в дальний угол; она прижалась к стене, закрывая халатиком голые колени и не сводя с торговцев своих больших выразительных глаз, в которых мгновенно отражалось каждое их движение.

Вынося мешок с мукой, Егор услышал, как девочка пронзительно закричала. Возвратившись за вторым мешком, он увидел, как Гао Да-пу что-то ласково говорил всхлипывавшей девочке. Остальные торговцы как ни в чем не бывало расселись на корточках на полу и закурили трубки, не обращая никакого внимания на Егора, словно его тут и не было.

«Девку у кого-то отобрали», – подумал Кузнецов и, не прощаясь, ушел из фанзы.

За свою жизнь Егор повидал много людского горя, но все же сердце его не очерствело.

Он оглянулся. Луна уже поднялась над хребтами и посветлела так, что на ней ясны стали пятна. Небо очистилось, ночь обещала быть ясной. Можно отправляться домой, но Егор решил пойти к гольдам. Его удивляли наглость и самоуверенность торгашей. Он готов был заступиться за девочку, но сначала хотел разузнать хорошенько, что случилось. Он запахнул чепан, повязался кушаком, надвинул шапку и отвязал Саврасого от березы. «Ну-ка!» – тронул он коня и повалился в розвальни. Заворачивая, он заметил, что по кустарникам к нему близится какая-то тень.

Едва Егор отъехал от лавки, как из чернотала наперерез ему, прыгая по сугробам и оглядываясь по сторонам, подбежал гольд, повязанный платком. Егор с трудом узнал в нем Иванова тестя – Удогу.

– Батьго!⁴⁷ – ласково кланялся старик. Важности у него как не бывало.

⁴⁷ Батьго – здравствуй (северонайск.).

– Здорово, Григорий, – отозвался Егор, остановив коня.

Удога повел его к Кальдуке Маленькому. Фанза его была полна народу. Савоська что-то кричал, обращаясь ко всем присутствующим. Мать, бабушка и сестры Дельдики громко плакали.

– Беда, беда!.. – сказал Удога.

Гольды обступили Егора.

– Его девка пропала! – крикнул Савоська и ткнул в грудь Кальдуки.

По маленькому сухому лицу гольда текли слезы, скатываясь на кофту. Он подал Егору руку в медных кольцах и, кивнув головой, улыбнулся.

– Давай говори, – обратился Савоська к Кальдуке.

Но тот не находил сил и слов, чтобы толком рассказать о горе, а лишь кривил губы в жалкой улыбке, заискивая перед Егором.

– Гао-хунхуз, – хрипло заорал Савоська, – у него девчонку отобрал! – Он показал на Кальдуку, кивавшего головой в подтверждение Савоськиных слов. – В лавке ты был? – спросил он Егора.

– Был.

– Маленькую девку видел? Она еще совсем девочка. За этим стариком долг большой есть! Соболя нету, у него сынка нету, сам один охотник, – пояснил Савоська. – Вот сколько тут баба есть – все его баба. Гао Да-пу в эту фанзу пришел, бил старика палкой, девчонку взял. Силком ее таскал в лавку, там черт его знай, что хочет делать.

Среди женщин послышались всхлипывания.

Дело было ясное. Егор понял: ему непременно надо пойти в лавку и заступиться за маленькую гольдку. Пока торговцы обманывали самого Егора, он еще терпел, но тут нельзя было не заступиться. Он поднялся, ощупал топор, поправил шапку, надел рукавицы и взял в руки кнут.

Савоська согласился пойти с Егором. Они вышли из фанзы и, пригибаясь от ветра, двинулись по направлению к лавке. Вскоре сквозь вой ветра и скрип деревьев до их слуха стали долетать пронзительные голоса торговцев.

– Ссорятся, что ль? – остановился Егор, не доходя до лавки.

– Нет, наш торговец всегда так кричи, он такой люди.

Егор велел Савоське зайти за лавку и ждать. Залаляли собаки. Егор дернул дверь. Она оказалась запертой. Он постучал. Оживленный разговор в лавке стих. Егор постучал сильнее.

– Отвори, хозяин! – проговорил Кузнецов.

– Это ты, Егор? – спросили из фанзы. – Чего надо?

Дверь приоткрылась, на пороге появился младший брат.

Торгаш поторопил Егора войти в лавку и плотно притворил дверь.

– Чего обратно пришел? – спросил с канов средний брат, запуская палочки в чашку с лапшой.

– Ночью домой не ходи, что ли, черта боиза твоя? – насмешливо спросил его Гао-младший.

Торговцы засмеялись. Они ужинали, сидя на канах. Насколько мог разглядеть Егор, маленькой гольдки между ними не было. «Что за чертовщина? Куда они ее девали? – подумал он. – С них всего станется». И он насторожился.

– Шибко холодно? – спросил младший брат, глядя, как Кузнецов потер нос рукавицей.

– Холодновато, – ответил Егор, снял рукавицы, положил их на нары и сдвинул шапку на затылок, собираясь заговорить.

– Кушать хочешь? – предложил толстяк. – Лапша есть.

– Кушать мне некогда, – возразил Егор. – А я к тебе по делу, – обратился он к Гао Да-пу и присел подле него на кан.

Торговцы стихли. Тут Егор услышал, что подле него, между стеной и глиняной кадешкой, кто-то шевелится. Он пригляделся. Из-за кадешки торчали детские ноги в стоптанной обуви. Маленькая гольдка спряталась от своих мучителей, только бы их не видеть.

– Это кто у тебя за кадешкой? – спросил Егор.

– Это? – Гао Да-пу вскочил с кана и, вытирая пальцы о кофту, подбежал к кадешке. – Это маленькая собака! – воскликнул он и стал ругать девочку.

– Слышь ты, – тронул его Егор. – Обожди-ка...

Но торговец долго еще кричал на девочку. Егор заметил, что Гао навеселе, от него разит водкой и чесноком.

– Ну так вот, – заговорил Егор, когда Гао Да-пу наконец утих и снова занялся лапшой. – Давай-ка, брат, отпусти эту девчонку домой. Ее там отец с матерью ожидают.

– Зря говоришь, – усмехнулся торговец.

– Ты не смейся, я верно говорю. Ты ее лучше отпусти, пока беды не нажил.

– Ничего не понимаешь, – спокойно заговорил торговец. – Старик Кальдука много в мою лавку должен. Мы Кальдуку любим-любим. Ему трудно жить. Мы берем его девку, ее мало-мало кормим, она работать будет, за чушками смотреть. Мне эту девочку жалко-жалко.

– Ну, уж это ты зря, – недовольно возразил Егор. – Я сам видел, как вы ее волокли. Кабы ты ее жалел, она бы за кадешку не залезла.

– Ей тут очень хорошо. Что мы кушаем, она то же кушает. Спать вместе ложиться будем. Ее сюда клади. – Гао-младший показал на ворох тряпья. – Вместе спать шибко хорошо! – И молодой торговец нагло засмеялся в глаза Егору. – Играй, играй можно!

Егор понял, что над ним издеваются.

– Ах вы, язвы вас в душу! – вдруг озлобился он. – Ребят у гольдов отымаешь? Да как же ты смеешь у отца отымать девку?

Торговцы, повскакав, с криками окружили Кузнецова.

– Вали отсюда! – крикнул Гао Да-пу.

Торговец схватил Егора за плечи и вдруг ловко ударил его ногой ниже спины.

– Че кричишь! Моя сам губернатор знает! – Он еще раз ударил Егора. – Вали отсюда! Муравьев мой приятель был!

– Отпускай девку, или я тебе всю лавку разнесу! – И, как бы в подтверждение своих слов, Егор, оттолкнув торговцев, пинком повалил на них весь прилавок.

Костяные счета, мерки, аршины, баночки с тушью и все торговые записи полетели на пол.

– Вот я тебе покажу губернатора!.. – гремел Егор, топча ногами долговую книгу.

Видя гибель заветной книги, где записаны все долги, Гао Да-пу ужаснулся. Вскочив на кан, он закричал братьям и работнику, чтобы хватали Егора. Гао-младший, Гао-средний и Шин, вооружившись палками и размахивая ими, стали подступать к мужику.

Оглядев разъяренные лица торговцев, Кузнецов вдруг размахнулся кнутом и изо всей силы полоснул всех троих по головам. Удар пришелся по толстяку и по работнику, но младший брат ловко подставил под кнут палку. Ремень завился вокруг нее, и торговец оторвал половину.

– Не тронь! На куски изрублю! – закричал Егор.

Мужик вырвал из-за пояса топор. Торговцы шарахнулись к нарам.

Видя, что они пререкаются между собой, кому первому начинать нападение, Егор, заткнув топор за пояс, вытащил из-за кадешки Дельдику и понес ее из лавки. Девочка, не понимая, что с ней делают, завизжала и забилась.

– Нельзя! – заорал Гао Да-пу. – Моя стреляй! – И он потянулся к фитильному ружью.

Под руку Кузнецову попал кол, которым подпирают дверь снаружи, когда уходят из фанзы, – он пустил его в хозяина. Торговец увернулся; кол угодил в решетчатое окно, морозный воздух хлынул снаружи.

Как только дверь распахнулась, выбежавший из-за угла Савоська схватил Дельдику на руки и помчался с ней по кустарникам к стойбищу.

Гао Да-лян вцепился в чепан Егора, но тот повалил его в сугроб, а сам стал отходить от лавки, отбиваясь от собак. Только в кустарниках, когда собаки отстали, Егор перевел дух. «Ну, слава богу, девку вызволил и сам жив-здоров!» – подумал он. На лице была липкая царапина. Егор вытер кровь.

Вспоминая подробности драки, Егор подумал, что надо было под горячую руку отобрать своих чернбурок. «Они же на стене висят, что бы мне руку-то протянуть!» Почитая сплошным обманом всю здешнюю торговлю, он не видел особого греха в своем намерении. Мысли о чернбурках отравили ему всю радость победы. Егор вспомнил, сколько положил он труда и времени, добывая чернбурку, и как радовались ей дети. И он вот все отдал торгашу чуть не даром.

Чем дальше Егор отходил от лавки, тем обиднее ему становилось, что он так ожесточенно дрался за Ивановых кумовьев, за которых, по правилам, следовало заступаться Бердышову, а для себя не получил никакой выгоды. «Один ущерб: кнут поломали, рукавицы не дали взять... Или вернуться по горячему следу? – Он остановился. – Эх, кабы вовремя, будь я неладен! – досадовал он на себя. – Теперь лис у них уже не отнимешь и к фанзе они не подпустят. – Егор оглянулся на лавку. – Вот нарочно пойду», – решил он.

Оставив кнут на дереве, он двинулся обратно.

На этот раз он решил не входить в лавку и постучал дубиной в дверь:

– Эй, выходи кто-нибудь!.. Оглохли, что ли?

Незапертая створка задребезжала. Никто не отзывался, словно в лавке все вымерли. «Притаились, будь они неладны!» – подумал Егор и снова постучал.

– Иди, иди, а то стреляем! – вдруг крикнули из лавки.

– Я вот тебе постреляю!..

Егор с размаху грохнул дубиной по стене. Посыпалась глина. Собаки огласили воздух новым взрывом лая.

– Выноси обратно чернбурок, которых я тебе привез! – приказал Егор. – Хватит, повисели они на стенке.

– Товар брал! – воскликнул Гао Да-пу откуда-то из глубины лавки. – Чернбурок обратно не дам!

– А если не отдашь, так я тебе камня на камне не оставлю. Кидай чернбурок, или поломаю всю лавку! – Егор снова ударил дубиной по стене.

Дверь распахнулась. Из темноты высунулось длинное ружейное дуло. Грохнул сильнейший выстрел старинного фитильного ружья. Одновременно в лавке раздался вопль. Егор догадался, что при отдаче стукнуло стрелка прикладом.

Кузнецов отошел от двери и притих. Пахло паленым. Выстрелом опалило ему бороду. Немного погодя из дверей высунулась голова Шина. Егор замахнулся, и, будь у него дубина полегче, Шин не успел бы исчезнуть невредимым и захлопнуть дверь.

– Кидай, кидай чернбурок, не раздумывай! – крикнул Егор и принялся колотить дубиной.

Глина на стенах трескалась и осыпалась, жерди на крыше дребезжали и прыгали.

– Эй, Егор! – жалобно воскликнул купец. – Чернбурку отдаю, ты не сердись, наш дом не ломай, мы не стреляем!

– Как это не ломай? А ты детям жизнь ломаешь – это можно?

Торгаши, видимо, признавали себя побежденными, но Кузнецов опасался, нет ли тут подвоха. Прекратив осаду лавки, он остался настороже, стоя между выбитым окном и дверью. Потом он быстро подпер дубиной прикрытую Шином дверь, а сам, вооружившись топором, встал возле окна. Теперь лавочники в своей же лавке были как в западне.

Из окошка выкинули чернобурок. Опасаясь попасть под выстрел, Егор подгреб их к себе топорщиком и спрятал за пазуху.

– Теперь рукавицы кидай!

– Какие рукавицы?

– Сам знаешь, какие рукавицы.

Переговариваясь, торговцы забежали по лавке, видимо разыскивая рукавицы.

– Одна рукавица есть, другой нету! – жалобно кричал Гао Да-пу.

– Ищи другую у кадушки, возле прилавка.

Наступила тишина. Торговцы, видимо, искали.

– Есть, есть! – вдруг весело закричал Гао Да-пу. – Нашел, лови!

Обе варежки вылетели через окошко и упали в снег.

– А соболя надо? – кричали торговцы, видимо готовые все отдать со страха.

– Соболя себе оставь. За долги да за покупки тебе хватит его с сиводушкой.

«И соболя-то им еще много будет, – подумал Егор, – соболя-то хороший».

Подняв варежки, Егор зашел за угол и, все еще опасаясь, чтобы ему не выстрелили в спину, отходя, держался той стороны, где в стенах лавки не было окон.

В кустарниках его повстречал Савоська в сопровождении нескольких гольдов. С молчаливым восхищением они отдали Егору найденный ими кнут и повели мужика к стойбищу.

В доме Кальдуки было всеобщее ликование. Старики наперебой кланялись Егору и лезли к нему целоваться. Савоська оживленно махал руками, рассказывая все подробности освобождения Дельдики. Егора усадили за столик, но он отказался от угощения и стал собираться домой. Кальдука снова опустился перед ним на колени, прослезившись, о чем-то его просил.

– Он дочку просит взять с собой, чтобы ты увез ее к Анге на Додьгу, а то, когда ты уедешь, Гао придет и опять отберет девку. Пожалуйста, вези ее к Ивану, – сказал Удога.

...Было еще не поздно, Егор с Дельдикой тронулись в дорогу. Застоявшийся конь, чуя, что путь ведет домой, бойко побежал по тропинке. Розвальни закачались на сугробах. Луна, как золотая белка, запрыгала в узорчатых вершинах лиственниц. Егор оглянулся на огоньки в фанзе торгашей и шибче погнал Саврасого.

«Так вам и надо! – подумал он. – В другой раз, может, не станете издеваться над людьми».

Глава двадцать пятая

За думами Егор незаметно добрался до Додьги.

– Доехали, – сказал он маленькой гольдке, остановив Савраску подле Ивановой избы.

Дельдика забеспокоилась и что-то залепетала по-своему. Егор помог ей выбраться из розвальней и повел в избу. Притворив за собой дверь жарко натопленной избы, мужик покашлял, но из темноты никто не отзывался. Слышно было только, как, часто и быстро стуча ногой, зачесалась в углу собака.

– Григорьевна, ты дома? – спросил Кузнецов.

– Кто это? – послышался с полатей испуганный и хриплый голос Бердышова.

– Никак, это ты, Иван? Слезь, я тебе гостью привез.

– Чего это тебя в полночь носит?... Анна, поди засвети огонька: кого он там привез?

Бердышова слезла на пол, высекла огонь и зажгла лучину.

– Дельдика! – с восторгом воскликнула она, и обе гольдки радостно бросились друг к другу.

Тем временем Иван Карпыч слез с полатей и, поджав ноги, присел на лавку.

– Ты к китайцам, что ль, ездил? – спросил он.

– К ним, – ответил Егор.

Бердышов достал табак и трубку и, поудобней привалясь к горячему чучалу, закурил.

– Я продрог сегодня, беда, иззяб. И с чего, сам не знаю, будто не силен мороз, – посетовал Иван.

– А я полагал, что ты на этот раз подольше пособолюешь.

– Ничего не попало, – удрученно ответил Иван. – За пустяками проходил, измаялся, ног не чую.

Впрочем, и при удачной охоте он редко сознавался, что взял добычу. Возвратившись с промысла, он обычно жаловался, что все плохо, что напрасно проходил в тайге.

– Ну-ка, ну-ка, рассказывай, – оживился Бердышов. – Григория видел ли?

– Как не видел! Кабы ты знал, Иван Карпыч, чего там сегодня стряслось...

– Значит, это ты неспроста девчонку-то привез? Э-э, да у тебя морда покорябана. А что это, синяк?

– Такая там передряга была! – вздохнул Егор.

Бердышов сразу повеселел.

– Как дело к весне подходит, пора гольдам долги отдавать, так торгаши за их девок берутся. Это уж известно. А это гольдам – острый нож.

Егор стал рассказывать про свои приключения.

– Так ты, оказывается, и мехами раздобылся? Ладно, значит, у тебя старуха лекарит. Это хорошо, теперь мылкинские на нее молиться станут, – заключил Иван по-своему рассказ Егора.

Кузнецов, между прочим, помянул, что обеих чернобурок он отобрал обратно и привез домой.

– Теперь боюсь, как бы чего не вышло, – не дай бог, они жаловаться станут.

Бердышов от души хохотал, слушая Егора.

– Здорово ты им задал!.. И не бойся, ничего не станется, – говорил он, вытирая слезы, наворачнувшиеся от смеха.

– Сам посуди – восемь рублей за пару чернобурок!

Иван Карпыч слез на пол и обулся.

– Ладно, что девку привез. – Он подошел к Дельдике, сидевшей на табуретке, и потрепал ее по голове. – Пусть живет, Анне будет помощницей. Хорошая девка! – вдруг засмеялся он. – Без обмана... Если бы не ты, некуда бы ей деться. – (Дельдика замерла от его прикосновения и, не смея шевельнуться, косилась на Ангу.) – Так восемь рублей тебе Гао не пожалел за шкуры? – обернулся Иван к Егору.

– А сам-то ты не продаешь ему свою добычу?

– Не продаю и не стану продавать. Больше ему от меня соболей не видать. Вот пойдет с Хабаровки почта, соберу свои меха, доберусь до Софийска или до самого Николаевска. Хочешь, и твоих чернобурок отвезу?

– Можно, конечно, – согласился Егор.

Иван вышел проводить его.

Ветер менялся. Небо затягивало тучами. Луна купалась в белых пенистых волнах.

– Эх, отошала у тебя коняга! – Иван похлопал Саврасого по заиндевелой спине. – Чего это бока-то ей как сшило?

– Корма нет, без овса стоит.

– Ничего, скоро оправится.

– Разве что! – ответил Егор и, взяв Саврасого под уздцы, направился к своей избе. – Завтра приду к тебе.

– Приходи, – отозвался Иван и заскрипел дверью.

Дома у Кузнецовых не спали. Наталья послала Федюшку распрячь коня и внести муку, а сама накрыла на стол. Дети слезли с печи и уселись на лавке. Для них не было большего удовольствия, чем слушать отца, когда он откуда-нибудь приезжал. По его рассказам они узнавали окружающий мир, людей.

Егор умылся и сел за стол. Он ужинал ухой, черствым хлебом. Лучина, воткнутая в светец, освещала русское лицо его со светлой бородой и острыми глазами. Егор рассказал, как поссорился с торговцами.

– Анга тоже сказывала про этих купцов, будь они неладны! – поддакнула мужу Наталья. – Окаянные, что делают с гольдами, а те терпят.

– Торговля: не обманешь – не продашь... – заключил лежащий на полатах дед.

Когда все легли спать, Наталья убрала посуду, потушила огонь и легла подле мужа.

«Завтра чуть свет побегу к Анге смотреть гольдскую девчонку», – решила она.

С содроганием она думала о судьбе, которая ждала Дельдику, если бы за нее не вступился Егор. Муж представился ей смелым, сильным, ее умиляло, что он подвергался опасности из-за маленькой гольдки. И она обняла его крепко, как, бывало, обнимала, когда только что вышла замуж.

* * *

Наутро Егор принес Бердышову своих чернобурок и просил продать их повыгодней.

– Уж постараюсь для тебя, Кондратыч.

День был ясный, солнечный, с крыши обильно капало.

– Как теплеет-то! – говорил Егор, глядя в оттаявшее окошко. – Успеешь ли до распутицы?

– Еще холода будут, – возразил Иван. – Это только немного отпускает, а как ветер подует, ударит морозище, снова закрутит пурга. Беда, как зима сызнова настанет! Амур еще не скоро тронется.

– Нартами ты бы живо отмахал.

– Забота с собаками, да и в городе трудно с ними, – возразил Бердышов.

Он не хотел ехать один с дорогим грузом.

– Тепло-то тепло, но ненадолго, – снова заговорил Бердышов, выходя из дому. – Сейчас самое время для цинги. Ты смотри, Егор, не оцингуй тут без меня.

Санка Барабанов протрусил мимо них верхом, направляясь к проруби поить коня.

Федор встретил мужиков у землянок.

– Все почту ждешь? – спросил он у Ивана.

– Скоро должна быть.

– Дед у нас занемог опять, – сказал Егор.

– Надо баб гонять в тайгу, чтобы клюкву, бруснику искали, рыбу свежую надо есть, не вымораживать ее, сырую хорошо бы, тоже помогает мясо сырое, хвою пить надо. Разные средства есть против этой цинги.

– По-ошта едет! – вдруг прокричал со льда Санка.

– Где увидал? – отозвался отец.

– Эвон...

– Обознался ты! Ничего не видно!

– Чего обознался! – кричал Санка, отъезжая от проруби. – Вон она! – Парнишка показал рукой и, ударив коня ногами, поскакал обратно к берегу.

– Верно, колокольцы слышать, – согласился Иван. – Востроглазый он у тебя, нас переглядел. Туда вон сколько верст будет!

Часа через полтора к поселю подъезжали груженные кошевки. Ражие детины в собачьих дохах правили конями, запряженными попарно, гусем. В кошевках виднелись ружья.

– С этакими не пропадешь, – рассуждал Федор, – покатишь, как у Христа за пазухой, хоть тыщу с собой вези.

– Эй, здорово, паря Ванча! – сказал, ломая шапку, передний ямщик.

Переселенцы высыпали из землянок на талый прибрежный снег встречать приехавших. Ребятишки пустились бежать наперегонки с почтовыми конями.

Дед Кондрат вдруг заплакал и пошел в землянку.

– Ты чего это? – спросил его сын.

– Кабы восточку с родимой сторонки-то... – скривившись, пробормотал старик.

Глава двадцать шестая

С первыми теплыми днями цинга начала валить новоселов одного за другим. Заболели бывшие еще недавно такими здоровяками братья Бормотовы. У Пахома из распухших десен выпадали зубы. Тереха еле волочил ноги, лицо вздулось, побагровело. Сама не своя ходила Пахомова жена Аксинья.

Анга при всем своем желании вызволить переселенцев из беды не могла всех их накормить соленой черемшой и мороженой ягодой. Запасы ее кончились. Из последнего давала она блюдец черемши больной Тимошкиной жене или семьям Егора и Федора.

Анга посылала Дельдику с бормотовскими бабами за Додьгу, на болото, искать под снегами клюкву или в лес по бруснику. Приезд маленькой гольдки пришелся кстати. Дельдика теперь хозяйничала за отяжелевшую, располневшую Ангу, ходившую последний месяц, была ей во всем старательной и услужливой помощницей. Как раньше русские бабы обучали Ангу хозяйничать, так теперь сама она обучала всему этому Дельдику.

Однажды Егор позвал Барабанова ловить сазанов подо льдом.

Федор охотно согласился рыбачить. Все утро мужики провели на льду неподалеку от поселья. Возвращаясь в обед домой, рыболовы заметили вдали, на снегах, движущуюся черную точку.

– Кто-то едет снизу, – вымолвил Егор.

– Гольд на собаках, – отозвался Санка.

– Видишь, что ль?

– Нет, не вижу, – ответил парнишка, – а шибко быстро бежит.

Точка скрылась за торосами, и переселенцы разошлись по землянкам. Немного спустя Егор вышел еще раз поглядеть, кто же все-таки едет.

Из торосников, которые тянулись верст на пять, на простор гладкого снега вылетела собачья упряжка. Псы мчались во всю прыть, направляясь наискось к землянкам.

«Какой-то гольд к нам торопится, – подумал Егор. – Не от Ивана ли?»

Поравнявшись с кузнецовской землянкой, ездок в шубе соскочил с нарт, завернул их за дужку прямо на поселье и густо рывкнул на собак:

– Кой!

Псы свернули в сторону и снова рванули нарт. Судя по низкому, густому голосу, ехал русский.

На косогор взлетела дюжина огромных золотистых псов. Тут-то Егор разглядел седока. Упряжкой правил здоровенный курносый поп в мохнатой китайской шубе.

– Торо! – воскликнул поп, втыкая палку в снег.

Нарты остановились.

– Бабушка, свет ты наш, отец родной! – выбежав из землянки, восклицал прослезившийся Барабанов.

– Заходите в жило, бабушка, – приглашал Егор, осторожно подступая к упряжке, – а мы управимся с собаками.

– Умеешь разве? – спросил его поп.

– Да как-нибудь.

– Нет уж, давай я сам, – возразил священник.

Из всех землянок выскочили переселенцы и обступили попа. Он возился с собаками, изредка поглядывая на собравшихся. Сермяги, рваные шапки, лапти, куртки «крестьянского», еще в России катанного сукна, бледные лица, всклокоченные бороды, лихорадочно блестящие глаза, худенькие полуодетые ребята, девочки-подростки, строгие и молчаливые, как взрослые бабы, темнотицы изможденные женщины с нахмуренными бровями, вот-вот готовые безудержно зарыдать и заговорить о своих бедах, – все это уже было знакомо попу, не впервые видел он нужду, голод и болезни переселенцев.

– Как поселье-то назвали? – весело, густым басом спрашивал он, приглядываясь к лицам мужиков.

– Да еще без названия живем, – угодливо ответил Федор. – Так Додьга и Додьга прозываем.

– Сами-то с Урала, слышал?

– Оттель, батюшка.

– Ну вот и поселье-то Уральским надо называть.

– Да так и зовем! – сказал Егор.

Управившись с собаками, священник подозвал Кузнецова, которого сразу отличил как мужика крепкого и покладистого.

– Веди к себе, богатырь, – вымолвил он. – У тебя стану. Как зовут-то тебя?

– Егором, батюшка.

– В честь святого Георгия-победоносца, – улыбнулся поп.

– Он у нас округ гольдов и китайцев побеждает, – прыснул Илюшка Бормотов.

Все с недоумением посмотрели на парня, словно спрашивая его, зачем он нарушает торжественность минуты.

– Уймись, ты! – Агафья ткнула Илюшку под ребро так, что у того дыхание перехватило. – Нетёс!

Мужики вошли в землянку Кузнецовых. Бабы захлопотали. Запылала печь. Переселенцы тесно уселись на лавках. Поп, отдохнувши, помолился, бабы тихо плакали, мужики хмурились. Всем им молитва напомнила о родине. Только ребятишки, позабывшие церковную службу, слушали попа более с любопытством и страхом, чем с благоговением.

Амурский «наездной» увидел в этот день всех переселенцев.

Когда к Кузнецовым пришла Анга, поп бойко заговорил с ней по-гольдски, как природный гольд. Жизнь здешнюю он знал не хуже Бердышова, но был разговорчивее его и отвечал охотно на любой вопрос. Он знал, как чистить и корчевать тайгу, советовал крестьянам приглядывать по окрестности места под заимки, объяснял им, когда и как лучше пускать палы, понимал толк в хлебопашестве, в охоте и рыболовстве; священник был знаком с большинством амурских торговцев, знал, когда, в каких селениях и какие бывают цены на товары, сам разбирался в мехах, как заядлый пушник. Он меньше всего говорил о божественном и более толковал о хозяйственных делах, ободрял мужиков, уверял, что тайги и дичи страшиться не следует, что здешний край – золотое дно и что тут только лодыри не разбогатеют.

На следующий день поп отслужил молебен в землянке Кузнецовых, помолился об исцелении болящих, покропил водой стены и самих хозяев, потом обошел все землянки, сараи и скотники, освящая строения, кропя коров, коней и птицу.

Анга заказала себе отдельный молебен с водосвятием и по совету Дарьи попросила попа прочесть молитву за путешествующих, чтобы Иван благополучно вернулся из города.

Вечером поп крестил «дорожного», родившегося на плоту, сына Силина и «амурскую», родившуюся на Додьге, дочь Пахома. Крестным Феклина «дорожного» стал Федюшка, а крестной – Анга, выполнявшая все обряды с особенным усердием. Приезд попа ободрил больную Феклу – в эти дни она стала выходить из дому.

Несмотря на то что, по сути дела, поп помощи переселенцам не оказывал, приезд его подействовал на них благотворно. У них побывал свежий человек, который хотя и наскоро, но все же вошел в беду каждого, выслушав всех, дал много полезных советов и своими молебнами доставил крестьянам торжественные минуты, которых они давно уже не испытывали. Они верили, что теперь им станет лучше, и от этого, казалось, чувствовали себя поздоровей.

Помочь цинготным поп был не в силах, но обещал походатайствовать в городе, чтобы на Додьгу прислали фельдшера.

Между прочими делами поп, как оказалось, имел из города поручение от пароходной конторы договориться с мужиками о поставке дров для пароходства. Он объявил цены на дрова, условился, какая семья и сколько подражается выставить сажен, а в довершение всего роздал небольшие задатки.

Наутро, благословив на прощанье всех жителей Додьги, поп укатил на своих собаках дальше, объезжать приход, разбросанный на сотни верст.

– Вот те и поп! – печально усмехнулся дед, глядя на реку, где бабушка помахивал палкой и покрикивал на собак. – Да это не поп, а жиган. Эх, Сибирь, Сибирь!.. – жаловался старик. – Попы – и те торгованы...

Ничто не радовало старика на новоселье. Здешняя жизнь казалась ему ненастоящей, словно она только снаружи была подделана под российский лад, а в сердцевине оставалась чужой и непонятной. Здесь все было не так, как привык он видеть и понимать на родине. Он вырос и состарился на пашне, политой потом его отца и деда, и настолько привык за свои шестьдесят лет к родной природе, что только ее и считал настоящей. Видя, что тут слой перегной тонкий и близка глина, он не верил, что здесь земля будет долго родить хлеб. Снега тут таяли поздно, лето было жарче, чем на родине, зима студеней и ветреней; почва, где ни ступал дед на берег, все лето оставалась мокрой; приметы погоды не сходились ни с одним праздником; леса были завалены гниющим буреломом и заболочены; травы росли быстро и, превращаясь в дудки, не годились на корма; богатства края – рыба, меха, леса – не радовали деда, словно он видел их в сказке или на картинке, а не наяву.

Здешние жители, как и все сибиряки, по его мнению, поголовно были жиганами и варнаками.

– С чего бы им иначе сюда идти? – говорил дед. – Либо сами убежали, либо сослали их на каторгу.

И наконец даже здешний «наездной» священник, о существовании которого дед слышал прежде и которого ожидал он с нетерпением, оказался таким же варнаком. Более всего поп допытывался, добывают ли переселенцы меха и подражаются ли заготавливать дрова для пароходства, и менее всего поминал про бога.

Молодые мужики не заметили в священнике того, что увидел дед. «Откуда им знать... И этим довольны – много ли им надо? – думал Кондрат. – Молодым-то кто помахал кадилом, тот и поп».

Сыновья и внуки, видя, что дед печалится, старались хоть немного оживить его.

– Тепло уж на улице, солнышко-то пригревает, – заговорил с отцом Егор.

– Греет, да плохо. У нас солнце об эту пору ниже, а теплей, – возражал дед. – Тут хоть солнце и выше, а земля студеней.

– А ты чего, дедка, в избе сидишь? Иди на солнышко, – говорил Васяка. – Весна на дворе.

– Много ты знаешь, пострел, какая бывает весна-то! Вот у нас дома весна так весна!..

– Сегодня уж теплей.

– Не знаю, доживу ли, нет ли до весны-то? – задумчиво говорил дед. – Ты-то доживешь, а я-то уж поспел...

Глава двадцать седьмая

Из Николаевска-на-Амуре в обратный путь Иван Карпыч тронулся на паре гнедых забайкалок, купленных им у казака-лошадника.

На восьмой день пути, не доезжая нескольких верст до устья Горюна, он попал в сильную пургу. С утра дорогу переметала поземка, ветер разошелся, нагнал тучи. К полудню началась сильная метель, и во всю ширь Амура, как хороводы белых теней, заходили снежные вихри. Вскоре начался обильный снегопад. Дорогу завалило снегом, дальше ехать стало невозможно, и Бердышов, завернув коней, с трудом добрался до маленького стойбища Гучи, расположенного неподалеку от устья одной из горюнских проток.

На Гучи он застал всех жителей в величайшем смятении и страхе. В последние дни к жилищам гольдов повадился тигр. Он таскал собак и свиней, а в последнюю ночь долго ходил вокруг одной из фанз, по рассказам гольдов, стучался в дверь, мяукал, наконец разорвал лапой бумагу и, сломав бамбуковый решетник в маленьком окошке, просунул лапу в фанзу, скреб ею по канам, намереваясь, как предполагали туземцы, утащить кого-нибудь из спавших.

Хозяева, подняв циновку, показали Ивану многочисленные и глубокие царапины от когтей зверя на глиняной поверхности кана и на досках.

Гольды, почитавшие тигра как божество, не смели стрелять в него и относились к его посещениям с суеверным страхом, полагая, что это наказание ниспослано им за какие-то грехи.

Стояла такая погода, что ехать дальше, до Тамбовки, – верст восемь-десять – нечего было и думать. «Утащит эта тигра моих коняг, – опасливо подумал Иван, распрягая своих низкорослых лошадеенок и задавая им овса. – Однако, не вовремя я сюда попал». Но делать было нечего. Иван поставил коней подле самой фанзы под ветром, накрыл их старыми хозяйскими шубами, чтобы они не мерзли, а ночью несколько раз выходил к ним с заряженным ружьем. Ночь прошла спокойно, и собаки проспали до утра, не подымаясь. Ночью метель стихла, возшел месяц, день обещал быть ясным.

Под утро, когда хозяева проснулись и было кому разбудить Ивана в случае опасности, он решил поспать и завалился на нары у самого окошка. Бердышов сразу крепко уснул. Спал он недолго и сквозь сон вдруг почувствовал, что кто-то скребет его за бок. «Тигра!» – мелькнуло у него в голове. Иван мгновенно очнулся и вскочил.

– Ну и крепко ты спишь! – оскалилась перед ним бородатая рожа Родиона. – Ты чего? Испугался, не признаешь, что ли? Это же я, я, Шишкин... Ты, поди, думал, что тигра тебя за бок?

– Ты откуда взялся?

– Все оттуда же... А ты куда запропастился? Я тебя который день ожидаю.

– На что я тебе?

– Поднимайся, поедem тигру бить, – отвечал Родион.

– Куда?

– Она сегодня ночью на Чучах чушку поела, поедem со мной на ту сторону.

– Куда же я поеду? Видишь, у меня кони стоят!

– Ванча, поедem, прошу! – молил Родион. – Как я могу на одного себя надеяться?

Родион с утра поехал из Тамбовки за сеном, которое у него на одном из островов было заматано в стогах. Добравшись до Чучей, он услышал от гольдов о ночном нападении тигра и поспешил обратно, чтобы забрать с собой несколько человек охотников и убить зверя. Проезжая мимо Гучи, он увидел, что гольды поят у проруби чьих-то коней. Он свернул в стойбище, чтобы посмотреть, кто там остановился, и, к радости своей, встретился с Иваном.

– Гольдам только дай с конями повозиться, шибко любят, – смеялся Родион, рассказывая, как он заметил, что в Гучи есть кто-то чужой. – Своих коней у них нет, а охота бы и им на коне ездить.

Иван молчал, видимо что-то обдумывая. Вдруг лицо его оживилось. Он усмехнулся какой-то своей потаенной мысли, быстро и хитро глянул на Родиона:

– Ладно, доставай лыжи.

– Давно бы так! – обрадовался Шишкин.

– Ну а если эта тигра нас сгребет, кому оба моих коня достанутся? – шутливо сказал Бердышов.

– С тигрой этой у нас такое чудо было, – рассказывал Родион. – Она залезла на зады к Овчинникову, мы ее караулили, пьяные, да не слышали, как она забралась в скотник. Сильвестр залез на крышу, провалился меж жердей да ка-ак ухнет – и прямо на нее. Тигра испугалась – и бежать. Ей бы его за шиворот... Потом в переулке ее ожидали, самострел ставили, как на медведя: два кулака на коленку, чтобы ей в сердце пришлось. Но какой рост у нее, не знали – и ошиблись. Ранили ее, она ушла. Долго не было, а вот теперь опять у гольдов появилась. Надо, парень, нам ее уничтожить, а то она скотину давит.

Родион не досказал, что между своими охотниками он похвастался убить «эту тигру», и поэтому никак не хотел упускать зверя. Разделить часть победы с Иваном ему было выгодней, чем со своими, поэтому, встретив его, он решил не ездить в Тамбовку.

У хозяев охотники выпросили две пары лыж и сошку. Бердышовских коней, чтобы зря их не маять, решено было оставить у гольдов. В Чучи мужики поехали на Родионовой кобыле.

– А где у тебя ружье? – спросил Иван, усаживаясь в розвальни.

– Я по сено ехал, не взял, – усмехаясь, признался Родион.

– Так какая может быть охота? Ты смеешься надо мной?

– Прошу, поедem! – умоляюще заговорил Родион. – Я на Чучах у гольдов отниму ружье.

– Да они не дадут тебе ружья: тигра – это бог для них.

– Ванча, силой отыму! – Родион тронул вожжами кобылу.

Отступать было поздно. К тому же охотничья страсть заговорила в Иване.

– Ладно, я тебе потрафлю. Верно, нам с тобой надо поучиться стрелять вместе. – И он подмигнул Родиону.

Шишкин закурил и утих.

– Ну а у тебя, Родион, что новенького? – спросил Иван, когда сани выехали на дорогу. – Про Дыгена слышал?

– Слышал мельком: едет он по Горюну, гольдов обирает, – протянул Родион.

Иван поднял брови и многозначительно кивнул головой в ту сторону, где Горюн вытекает из гор.

– А у меня к тебе дело из города. От исправника.

– Что такое? – встрепенулся Родион.

– Вот я скажу тебе сейчас. – Иван не торопясь закурил. – Исправник велел мне Дыгена поймать и доставить в город. И тебя назначил мне в помощники.

Родион остолбенел и долго молчал. Он был отважный охотник и меткий стрелок, но душой прост и доверчив. Он верил Бердышову. Новость, сказанная Иваном, озаботила его. Приказ исправника – закон.

– Надо их захватить, но так, чтобы никто не видел, – продолжал Иван.

– Как же это можно сделать? – воскликнул Родион. – А мимо деревни как их повезем? Да и зачем такая тайна?

– Это мое дело. Ты только помоги мне их поймать. А не поможешь – худо будет и тебе и мне. Уж кто-то донес про нас с тобой в город, будто мы с Дыгеном заодно гольдов грабим. Ведь у тебя дружки среди гольдов есть?

– Дружки-то есть, но ведь я никогда... – начал было оправдываться испуганный тамбовец.

Иван перебил его:

– Я-то знаю! А люди думают, что если к гольдам ты едешь – значит на грабеж. Ты уж лучше остерегайся. А то люди наговорят на тебя.

Родион помолчал в раздумье.

– Иван! – сказал он. – А почему полицию не пошлют его ловить?

– Полиция на лыжах ходить не умеет, – отвечал Иван. – Да и стрелять будут – могут промахнуться. От них убежать нетрудно. А про нас с тобой все знают, что мы охотники хорошие и что от нас никто не убежит. Всюду настигнем. Только, паря, это дело следует держать в тайне. Маньчжурца надо схватить тихо. А то у него есть друзья в вашей деревне, а это дело политическое. Начнется чего доброго война с Китаем.

Родион в беспокойстве молчал. Его тронуло, что в городе такого хорошего мнения о нем, но, с другой стороны, все это было мужику не по душе, и служить исправнику, которого он не любил, тоже охоты не было, а отказаться, конечно, нечего и думать.

– Придется нам с тобой ехать на Горюн, куда-нибудь за быки, там его и подкараулить, – продолжал Иван. – Гольдов надо взять с собой. Донял Дыген и их и китайцев. Все народы его возненавидели.

– У ноанского торговца чего-то выпытывал, язык ему вытягивал, иголками колол.

– Н-ну?! За что?

– Китайцы сами не знают. Я мельком слышал, что ноанский торговец где-то золотишко добыл. Вот из-за этого... Но в точности не знаю.

– Золотишко? – переспросил Иван.

– У Дыгена один спутник помер на озере, оцинговал, да один больной, рассказывают – морок на него навалился. Вместе с этим больным их всего пятеро. Скоро Юкану выйдет с Горюна, его можно взять с собой. С ним будет братан его Василий, тот, который капитана водил с экспедицией. Может, они помогут.

– Юкану я знаю, – ответил Иван. – Я слышал, что он торгует с тунгусами, соболей у них скупает. Они к нему на оленях с озер выходят. Мне помнится, он тебя охотничать учил?

– Было, – ответил Родион. – Давно, первый ли, второй ли год, как я приехал, пошли мы на охоту – человек шесть гольдов и я с ними. Юкану тогда медвежью дорогу нашел. Стали мы гонять медведя, а Юкану отстал, потом слышим: «Бах...» Он палит сзади, кричит: «Кой, кой!» Мы прибежали, а он давай нас всех ругать. Я последним прибежал. Он кричит на меня по-своему, а я еще тогда ничего по-гольдски не понимал. Потом мы догнали этого медведя, стали стрелять, пуля ему попала в ногу. Он заревел – и на нас. Юкану кричит по-русски: «Не стреляй, надо копьем колоть!» И ка-ак ружье с размаху бросит в снег! Ну, мы, все семь человек, с копьями вперед. – Родион снял рукавицы, растопылив пальцы, протянул руку, изображая, как охотники накинулись с копьями на зверя. – Медведь здоровый был, сразу три копыя сгреб и сломал. Ну, тут Юкану крепко его ударил прямо в сердце. Юкану смельчак, ничего не боится. И Василий тоже не робкого десятка, не выдаст. Ружья есть у обоих.

– Это Юкану тебе про золотишко рассказывал? Я давно знаю, что там, на речках, золото есть. Еще мой дядя до Муравьева бывал на Амгуни, нашел россыпь.

Родион молчал, помахивая вожжой над крупом кобылы.

– Да-а, однако, этот Дыген богатство везет с собой, – вздохнул Иван.

За разговорами незаметно добрались до Чучей. Кобыла трусцой затащила их на косогор. Несколько жалких фанзушек расположились подле устья горной речки. По долине ее рос густой лес. Кругом виднелись белые раскидистые ясени, безобразные столетние тополя, осины, огромной толщины дубы, клены, черемуховые деревья и голый кустарник, торчавший повсюду из сугробов. А над всем этим чернолесьем высились кедры и ели, иссиня-черные на снежных

откосах гор. На островах посредине речки густо рос тальниковый лес с тальниковым же кустарником, который был переломан и повален целыми рядами в ледоход, местами завален льдинами и занесен снегом.

Чучинские гольды оказались неразговорчивыми. Тигра они боялись как огня и наотрез отказались помочь охотникам. Кое-как Родион упрямил их хотя бы посмотреть за конем. Уходя из фанзы, он потянулся снять со стены кремневку, но гольды в ужасе закричали:

– Ой, ой, куда берешь? Зачем берешь?..

– Дай, говорю! – кричал Родион, хватаясь за ружье.

– Ой, амба нельзя бить! – вопили гольды, опасаясь, что тигр станет им мстить, если дадут охотникам оружие.

Они обступили Родиона тесной толпой. Оглядывая фанзу безразличным, как бы смущенным взглядом, Родион заметил под крышей разные охотничьи рогатины и копья; он вдруг ловко вскочил на кан, выхватил из-под потолка геду и кинулся было вон из фанзы.

Гольды с криками набросились на него.

– Зачем берешь? Зачем берешь? – орали они, хватаясь за геду.

Родион из всей силы дернул копье, вырвал его и, как безумный, выскочил наружу; проворно надев лыжи, он во весь дух помчался следом за Иваном, лыжня которого ушла в кустарники.

– Дурная у тебя смекалка, – сказал Бердышов, когда Родион догнал его. – Лучше ничего не придумал: с палкой на хищного зверя!

– Обратно, Ванча, сразу нельзя идти: позор, гольды подумают, что мы испугались.

– Зря ты меня сюда затащил, – проворчал Иван и быстро пошел вперед.

– Четкий след у нее, – говорил Родион, кивая на следы тигровых лап на снегу и стараясь узнать, сердится ли Иван.

– Ишь как снег-то хвостом бороздила, – примирительно ответил Иван. – Чего-то тащила, присаживалась.

– Чушку у этих гольдов унесла, где мы коня оставили, а они ее, тигру, берегут, от нас еще охраняют, чудак!

– Грех им против тигры идти, сомнение берет, как бы после чего худого не стало. Вроде как тебе же на Дыгена, – ухмыльнулся Иван.

Долго шли мужики по следам тигра, с напряжением всматриваясь в чащу, прислушиваясь ко всякому треску и шороху. Зверь был где-то близко. Шишкин и Бердышов наткнулись на кровавые следы его пиршества. Тигр не отходил от стойбища далеко – похоже было, что он сам следит за охотниками, притаился в засаде. На счастье, лес был тут не так густ, и зверь не мог подобраться незамеченным.

Тигр запутал следы. Побродив по долине, охотники решили отдохнуть на обширной поляне, посреди которой лежала огромная ель, поваленная ветром и полузанесенная снегом: тут все видно вокруг, и зверь не подкрадется незамеченным. Охотники сняли лыжи, стоймя воткнули их в сугроб и уселись на корточки. Рядом с лыжами Родион поставил в снег копье. Иван достал кисет, и оба мужика закурили трубки.

– Покурим да и пойдем обратно, – сказал Иван. – Хватит на сегодня, набродились. Слава богу, что не встретили. Ты как дите.

– А куда торопиться? Все равно нам теперь дня два ждать в Тамбовке. Лучше тут лишний день пробудем, чем в деревне каждому глаза мозолить.

– Так где теперь Дыген? В Ноане? – спросил Бердышов.

– Сегодня к вечеру должен бы быть в Бохторе. Стар этот Дыген, а отчаянный. Теперь ему годочков шестьдесят, если не больше, а он все еще ездит. Редко они набегут на нашу сторону делают, но здорово гольдов грабят.

– Постой, – шепнул Иван, вскакивая, и, схватив ружье, взвел курок.

– Ты чего?

– Тигра!

– Где?

– Под елкой, вон хвостом вертит. Где затаилась, подле нее сидели!.. Молчи! – Иван отбежал от елки.

Родион, выдернув копьё из сугроба, последовал за ним.

Зверь шевелился под елкой, злобно колотя хвостом по ветвям. Родион приготовил копьё. Иван отломил толстый сук и кинул его прямо в зверя. Огненно-пушистый хвост захлестал по еловым рассошинам, сбивая снег с ветвей. Зверь готовился к бою.

– Кошка, – вымолвил потихоньку Родион.

В тот же миг тигр выскочил из-под ветвей. «Ну, это смерть», – подумал Шишкин, крепко сжав геду в руках и встал подле Ивана.

Зверь сделал два огромных прыжка. Иван прицелился в глаз зверя, полный мутной злобы, и спустил курок. Раздался выстрел.

Зверь снова прыгнул, но, перевернувшись в воздухе, повалился в снег и забился в дикой ярости. Он ухватил когтями и зубами пенек и стал терзать его в предсмертных мучениях; щепы летели во все стороны. Родион ударил его в морду копьём. Зубы зверя лязгнули о железный наконечник. Родион вырвал копьё из окровавленной пасти и с силой вонзил его в ухо тигра.

– Эй, шкуру не порти! – глухо закричал Иван.

Но Родион еще раз ударил тигра. Иван подбежал и выстрелил зверю в глаз.

Зверь стал утихать.

– В самую бровь угодил, – сказал Родион, рассматривая рану. – Ловко ты прицелился, а то бы нам с тобой не миновать смерти.

– Отойди, а то она схватит тебя, – предостерег Иван.

Словно в подтверждение его слов, зверь еще раз вздрогнул. Охотники отпрянули. Судорога пробежала по телу тигра, вздымая волнами пышный красно-черный мех. Вытянулись и шевельнулись лапы, показались когти, словно зверь потянулся спросонья.

– Готова.

– Теперь издохла, – вымолвил Родион. – Как она на нас озлилась!

– Не заметили бы мы, как она хвостом вертит, накурились бы досыта. Это она табачного дыма не стерпела, а то бы так и пролежала под елкой. Паря, эту бы тигру кинуть к вам в Тамбовскую губернию, вот бы пошла потеха!

– А ты почему осип, Ванча? – вдруг засмеялся Родион, глядя на Бердышова. – Э-э, тебе бы сейчас в зеркало посмотреться.

– Как же! Тамбовские мужики на весь Амур страху напустили, – отшучивался смертельно бледный Иван. – Ну ничего, гроза пронеслась! А, оказывается, вдвоем с тобой можно зверовать! Теперь пойдем на других зверей...

Глава двадцать восьмая

Родион давно дружил с гольдами; и, когда случалось ему идти куда-нибудь далеко в тайгу, он обращался к ним за помощью. Поэтому никому из тамбовцев не показалось странным, что за последние дни в гости к Шишкину повадились горюньские гольды. Все замечали, что он куда-то собирается, но куда именно, никто не спрашивал – Родион все равно не скажет.

Когда после удачной охоты на тигра у Шишкина зажился Иван Бердышов, для всех стало очевидно, что оба заядлых охотника что-то затеяли.

Родион с Иваном в ожидании вестей о маньчжуре исподволь готовились к предстоящему походу на Горюн.

Родион по многу раз рассказывал своим односельчанам, как он вышел «с палкой на тигру». В довершение своего хвастовства он однажды вывесил тигровую шкуру перед своей избой на зависть своим соседям и соперникам по охоте – Спиридону и Сильвестру Шишкиным.

На третий день к вечеру приехали гольды Юкану и Василий. По их словам, Дыген поутру выезжает из последнего стойбища, где он прожил два дня.

– Откуда знает? – удивился Юкану, когда Иван, войдя в зимник, где остановились гольды, поздоровался, назвав его по имени.

Юкану был рослый, краснолицый и усатый, более похожий на чубатого казака, чем на амурского гольда.

– Знаю, знаю! – загадочно усмехнулся Иван, пожимая его заскорузлую руку. – Батьго, батьго!

В зимнике, просторной теплой избе, где никто из Шишкиных не жил и где зимами ква-сили шкуры, шили сбрую, шубы, обувь и готовились к охоте, мужики просидели с гольдами до поздней ночи.

Гольды ненавидели Дыгена и согласились помочь Ивану. Он о чем-то долго беседовал с Юкану наедине.

Затемно Родион и оба гольда выехали на двух нартах из Тамбовки, направляясь к устью Горюна. С ночи падал снежок, на льду намело порядочные сугробы, нарты двигались медленно.

– А вот теперь скажу тебе правду, – сказал Бердышов Родиону. – Исправник велел нам с тобой этих грабителей перестрелять.

Родион испуганно взглянул на Ивана.

– Смотри не выдай. Дело государственное.

«Час от часу не легче, – думал Родион. – Вот запутают меня...»

Василий, ехавший на передних нартах вместе с Иваном, всю дорогу не давал ему покоя, клянча у него за свои услуги в придачу к серебру разные вещи. Болтливый и назойливый, он не походил на своих соплеменников. То просил Ивана купить жбан водки, то слишком хвалил его охотничий нож, добавляя, что ему самому хотелось бы иметь точно такой же, то вдруг спрашивал, чем станет угощать его Бердышов, если он приедет гостить к нему на Додьгу.

«Какой попрошайка!» – подумал про него Иван.

Василий всем своим поведением показывал Ивану, как он для него старается: гольд безжалостно колотил собак, то и дело кричал, что надо ехать быстрее, потому что они везут богатого, доброго человека, который ничего не жалеет для бедных жителей Горюна. Не находя иного способа выказать Ивану, как он поступает ради него своим удобством, Василий старался всячески потесниться на нартах, хотя для двоих места вполне хватало.

Наконец Василий надоел Ивану, и тот пригрозил, что не даст ничего, если он будет клянчить.

Гольд поморгал большими веками и сначала хотел что-то возразить, но сдержался, по-видимому решив получить подарок. По мучительному выражению, появившемуся на его лице, видно было, что молчание стоит ему великих усилий. Наконец он, видимо, успокоился, сел боком к Ивану и запел.

На моих собаках лоча едет,
Ханина-ранина, —

бойко выводил он.

Звуки песни напомнили Ивану самодельную скрипку, которую ему случалось слышать в Бельго.

Мы джангуя повстречаем,

Ханина-ранина, —

потихоньку заунывно продолжал Василий.

Сам я драться с ним не стану,
Ханина-ранина...
Джангуйни навстречу мчится,
Ханина-ранина,
Мое сердце встрепенулось,
Ханина-ранина.

— Где ты его видишь? — спросил Иван.

— Далеко... Так поется, — ответил Василий по-русски. — Еще маленько проедем, там встретим.

Нойон Дыген пропал,
Ханина-а ра... —

взвизгнул гольд и на полуслове затих.

Издалека послышался ожесточенный собачий лай. Нарты проезжали под черными обрывами горы Голова Рябчика. Собаки, тяжело дыша, с трудом преодолевали снежные валы.

— Дыген едет! — крикнул сзади Юкану. Он слез с нарт и, чтобы облегчить работу собак, пошел пешком.

Лай становился все явственнее. Иван слышал, как вожак встречной упряжки злобно заливался на все лады, — он требовал уступить дорогу. Собаки Юкану и Василия залаяли в ответ.

Из-за скалы выползли нарты. Десяток собак, впряженных елочкой, с трудом их тянули, барахтаясь в глубоком снегу. По судорожным движениям псов, по высунутым языкам, которыми они время от времени прихватывали снег, по тощим, провалившимся бокам с включенной мокрой шерстью видно было, что собаки тянут из последних сил.

Впереди на нартах сидел человек в шубе с мохнатым воротником. Его шапка и плечи были завалены толстым слоем снега. Он все время держал над собаками длинную палку, как бы угрожая им. Нарты ехали прямо. По тупому, безразличному выражению лица и по безумному взгляду, устремленному куда-то вдаль, нетрудно было догадаться, что от долгих таежных путешествий на этого маньчжура напал «морок». Он сидел не шевелясь, тупо всматриваясь вперед, как бы силясь что-то припомнить. Собаки сами себе выбирали дорогу, погонщик лишь изредка, словно очнувшись от своих видений, с силой ударял палкой по собачьим спинам. Среди длинных мешков, привязанных к нартам, спиной к собакам сидел другой человек, голова его была укрыта высоко поднятым воротником.

Третий шел на широких лыжах. Вдали, из-за скалы, появилась вторая упряжка.

Сердце у Ивана застучало. Он скинул доху, пододвинул к себе заряженное ружье и велел Василию сворачивать. Взрывая груды рыхлого снега, нарты встали поперек дороги, чуть отступя от нее.

Сидевший на мешках оглянулся и, увидев встречных, что-то закричал погонщику, но тот, казалось, ничего не слышал. Тогда он проворно соскочил с мешков, к нему присоединился бежавший на лыжах: они стали бить собак и тянуть упряжку в сторону.

Иван и Родион смотрели на них и не трогались с места.

Родион был храбрый человек, верный своему слову. Он никогда не выдавал товарищей. И на этот раз, хотя вся эта затея не нравилась ему, он готов был, как ему велели, стрелять.

Видимо полагая, что русские боятся ехать мимо собак, спутники Дыгена пытались отвести своих псов от дороги. Тем временем приблизились вторые нарты. В них сидел рослый толстогубый маньчжурец, а из-за его спины виднелась чья-то заснеженная шапка, украшенная собольими хвостами.

В рослом погонщике Иван узнал одного из тех встречных, с которыми он спорил ночью под Бельго из-за покусанного собакой барабановского коня. Когда нарты подъехали ближе, человек этот проворно слез на снег и вцепился в хребтину остервенело рвавшегося вперед жожака.

Иван, обернувшись к Юкану, показал на рослого детину.

Между тем встречный в собольей шапке отряхнул снег с воротника и обернулся, по-видимому обеспокоенный длительной задержкой. Иван увидел знакомое рябое лицо, кривой глаз и седые усы, свесившиеся по углам рта. Это был Дыген. Лицо его, с тех пор как Иван видел его в последний раз, пополнело и стало благообразней.

«Вот когда ты попался!» – подумал Иван. Он еще дальше отъехал от дороги и, махнув рукой рослому погонщику, крикнул:

– Проезжай!

Встречные перебросились короткими замечаниями, погонщик повел жожака вперед, согнувшись, держа его за шерсть загривка и за поводок. Нарты приближались к Ивану. Жожак, оскалившись, залаял на него. Собака за собакой пробегали мимо Бердышова.

В широких тяжелых нартах виднелись кожаные мешки, тюки и шубы. Поравнявшись, Дыген уставился мутным глазом на Ивана. Он узнал Бердышова и, как видно, встревожился.

– А-на-на! – вдруг с жаром выкрикнул Бердышов по-гольдски.

В руках у Юкану сверкнула длинная сирнапу – палка с зажатым в нее клинком. Василий быстро кинулся к чужим постройкам и перерезал их ножом, а Юкану ударил по голове рослого погонщика. Упряжка запутала его в поводках и, с воем ринувшись вперед, потащила по снегу.

Иван, как зверь, рывком кинулся к нарте нойона.

Дыген пронзительно закричал. Он силился обернуться к своим спутникам, но тяжелая теплая одежда мешала ему. Иван застрелил его в упор. Родиону сбоку видно было, как старый разбойник тряхнул простреленной головой, откинулся на спину, перевернулся и повалился ничком в снег. Следом за ним, словно убитый тем же выстрелом, рухнул со своих нарт погонщик первой упряжки и, провалившись в глубокий сугроб, остался лежать неподвижно. «Не с испугу ли помер? – подумал Иван. – Вот как бывает! Или притворяется?»

– Эй, Родион, не зевай! – вдруг крикнул он. – Стреляй!

На первые нарты вскочили двое спутников Дыгена. Один из них погнался за собаками, а другой, чтобы облегчить сани, на ходу выбрасывал грузы. Однако по целине, в глубоких снегах псы продвигались медленно.

– Стреляй, Родион! – прикрикнул Бердышов.

Родион дважды выстрелил из штуцера и, не дав им далеко отъехать, выбил одного из нарт.

Погонщик, на ходу кидавший мешки, упал.

Его товарищ, яростно колотя собак палкой, быстро удалялся. Юкану и Василий надели лыжи и, вооружившись копьями, побежали вдогонку.

Иван опустился перед Дыгеном на колени и расстегнул на нем лисью шубу. Под ней была стеганая шелковая кофта с серебряными шариками-пуговицами.

– Ну, теперь надо разобраться, сколько он жиру нагулял, во сколько наши грехи оценены.

За поясом Дыгеновых ватных штанов Иван нашел вместе с разными мелкими вещами небольшой, но тяжелый мешочек. Развязав его, он высыпал на руку кучку золотого песка.

– Эй, смотри, чего нашлось, – обратился он к Родиону. – Золотишко!

Подождал побледневший Родион.

Иван вытаскивал из мешочка мелкие шербатые самородки.

Издалека донеслись слабые крики. Мужики обернулись. Остановив собак, Юкану и Василий расправлялись с последним спутником Дыгена.

– Ну вот и все! Отвоевались! Вот и забили тигру. Та, паря, с шерстью, кошка была, а тигра-то, вот она лежит!

Глава двадцать девятая

Пурга намела в Тамбовке сугробы вровень с избами.

«Завалины было потаяли, – думала Таня, с трудом пробираясь по глубоким сугробам, – а вот опять буран».

Девушка забежала к соседям. Арина Шишкина, высокая худая женщина, стоя у стола, разливала молоко по крынкам.

– Дуняши нету? – спросила Таня.

– Сейчас зайдет.

– Татьяна, что ли, пришла? – не поворачивая головы, спросил Спиридон.

Татьяна обернулась.

В углу при свете сального огарка мужик зачищал напильником железо, делал какую-то новую часть к ружью.

Спиридон, или, как называли его соседи и родичи, Спирька, тоже страстный охотник. В свободное от полевых работ время дни и ночи напролет возился он с оружием, а потом неделями ходил по тайге.

– Что ж, отец-то еще не приехал?

– Нет еще, – ответила Таня. – А Дуня пойдет к нам?

– Пусть идет, – отозвалась Арина. – Носит в такую погоду! – проворчала она.

Зашла Дуняша – тонкая и стройная белобрысая девушка-подросток. У нее худенькие плечики, широкое лицо и глаза, глубоко сидящие под белесыми бровями. Она в лаптях и в белом холщовом платье.

Таня заговорила с ней вполголоса.

– Чего же Родион-то не едет? – снова спросил Спирька.

В Тамбовке все мужики были охотниками. Зверей они били еще на родине, в тамбовских казенных лесах. Придя в Сибирь, тамбовцы селились сначала по Лене, но там им не понравилось, и они в шестьдесят первом году перешли на Амур, на Горюнский станок.

Вскоре после водворения на новом месте охота стала предметом увлечения всего мужского населения Тамбовки, от мала до велика.

Охотились тамбовцы зимой и летом, добывая зверя всеми способами, полагая, что в тайге его хватит на века. Этой страстностью и безрассудным хищничеством они отличались на промысле от урожденных сибиряков, для которых охота – обычное дело, та же работа и которые знают, что зверям и в тайге бывает перевод.

Между тамбовскими охотниками не первый год идет спор, кто же из них лучший охотник. Родион в эту зиму добыл зверей больше всех, но признать его лучшим охотником Спирьке обидно. Спирька сам знаменитый охотник. Его зовут все Лосиная смерть. Такое прозвище сильно льстит ему, и он желает поддержать свою славу. «Родиону просто счастье, как в карточной игре, – думает он. – Ему удача с тигрой. Она объявилась в деревне, когда его и не было. Мы с Сильвестром и с Санькой Овчинниковым должны были взять, на сеновале сидели, караулили, почти подбили. Нет, ушла и все равно Родиону попалась. А по правилу тигра должна быть наша! Нынче только и разговору везде, что про Родиона, он хитрый, к Бердышову как-то подъехал и с ним дружит».

Спиридон бросил железо на стол, потушил огарок, поднялся. Мужик лет тридцать пять. Он чуть выше среднего роста, сутуловат, со светло-рыжей бородой, которая в сумерках кажется черной.

– Да как же ты, Татьяна, не знаешь, куда он подевался? Не на охоту? – допытывался мужик.

– Не знаю, – потупив голову, ответила девушка.

– С ума все посходили с этой охотой! – пробормотала Арина.

– Ну, айда, – шепнула Дуня, подтолкнув подругу.

Девушки выбежали. Здоровые и крепкие, старшие дочери в семьях, девушки-подростки Таня и Дуняша целыми днями работали, как батрачки. Нравы в Тамбовке были суровые, родители ни в чем не давали девкам воли. Только на работу могли они тратить свои молодые силы. Зато много было радости, когда удавалось им убаться с родительских глаз долой.

– Ну, держись, Танька! – весело воскликнула Дуняша.

Таня пустилась наутек. Дуня была выше, сильнее; легко прыгая по глубокому снегу, она догнала подругу и повалила ее в снег.

– Тебе за тот раз!

– Опять ты...

Пурга заносила их.

– Вы что, девки, с цепи сорвались? – услышали вдруг они знакомый голос.

В волнах несущегося снега стояла бабка Козлиха. Про эту старуху говорили, что она умеет колдовать и ворожить.

– Чего делают! – воскликнула старуха.

Утихшие девушки поднялись, отряхиваясь от снега.

– Бабушка, вы как на улицу выходите, бурана не боитесь? – бойко спросила Таня.

– Вот я тебя!.. – пригрозила старуха. – Мать-то дома?

– Она к вам собирается, – соврала Таня.

– А-а, – дружелюбно отозвалась Козлиха. – Пусть идет. Скажи, пусть придет.

Старуха пошла своей дорогой.

– Вот теперь тебе будет на орехи!.. – сказала Дуня.

– Сегодня нам с тобой доплясывать. От того разу осталось недоплясано... Ну, отстань, хватит, а то голосу не будет.

– Мать-то уйдет?

– Уйдет, – уверенно ответила Таня.

– А то скажет: «Девки, в пост-то песни орать!» – всплеснула руками Дуня.

– Ишь, метелица...

– Сейчас хоть вечерку с гармонью – никто не услышит.

– Ух жарко!.. Пурга крутит, – едва переводя дух, вбежала Таня в избу. – Несет, как на крыльях. Мама, иди, тебя Козлиха спрашивала. К себе звала...

Петровна управилась с делами и ушла. Таня уложила маленьких братишек, переменяла лучину и уселась на лавке. Выражение истомы и нежности появилось на ее грубом лице, в голубых глазах. Русые пряди липли к смуглому лицу, ресницы и брови были влажны. Щеки горели от ветра и снега. Как бы не в силах сдержать волнуемого ее чувства, она заголосила сразу громко, ясно и протяжно.

...Девушки пели, потом, по очереди подыгрывая на бандурке, плясали друг перед другом.

Малыш закричал во сне, сбрыкал толстое одеяло. Таня положила бандурку, присела на кровать, прикрыла братишку, приговаривая нараспев:

Ба-а-аю, ба-а-аю...

Оконце не прикрыто ставнем, и в стекло бьет метель. Из теплой избы смотреть страшно, что там делается. Дуняша задумчиво перебирала струны самодельной бандурки. Таня сказала ей:

– Сегодня Терешка на проруби спросил, почему мы с тобой к его сестре не приходим.

Она села на лавку и обняла подругу.

– Больно он нужен! – с пренебрежением ответила Дуня.

Терешка – сын богача Овчинникова, рослый, бойкий парень – поглядывал на Дуняшу и пытался, как говорится, ухлестывать за ней.

На днях подруги приходили к Овчинниковым. Терешка стал заигрывать и залепил Дуняше все лицо снегом. Она обиделась. Даже вспомнить неприятно.

Сейчас подруги наслаждались тишиной, спокойствием, уединением. Можно было помечтать всласть, наговориться о чем хочешь: взрослых нет, в избе тепло и так хорошо, работать не заставляют сегодня. Отца нет, и мать Таню не неволит, противная прялка убрана.

Дуня и Таня хоть и живут под строгим надзором родителей, но в обиду себя не дают. Они еще не сломлены жизнью и обе полны светлых надежд.

Что Терешка! Опротивевший соседский парень, грубиян! Он драчун, бьет парней. Правда, бывает, и ласково заговорит, но чаще он девчонок норовит схватить за волосы, ущипнуть.

Куда занесет девушек судьба? Что их ждет? Кто их суженые? Еще годик, и выдадут их замуж... Уж поговаривают об этом отцы и матери, и страшно становится. Конечно, любо стать невестой, просватанной, шить наряды... Песни будут петь... Но страшно...

– А вдруг ночью увидит кто-нибудь наш огонек, – говорит Дуня, – и заедет к нам. Молодой да красивый...

Подруги обнялись крепко, глядя на черное окно. Пурга выла, никто не ехал, ничего не случилось в жизни особенного.

– Отец сказал, что надо в тайгу собираться. Скука смертная! – молвила Дуня.

У Спиридона сыновей больших нет, он берет с собой дочь на охоту. Дуня умеет настораживать капканы, но стыдится рассказывать об этом в деревне, говорит, что отцу готовит обед в балагане. Тайги она не боится, были случаи, что ходила по ней ночью, на что не все мужики отваживаются. Ей только странно, что парни не так смелы. Чего же бояться?

На столе книги. Дядя Ваня Бердышов оставил их.

– Это что? – спросила Дуня.

Девушки почти неграмотны, с трудом разбирают буквы, помогая друг другу.

На картинке нарисована девица в бальном пышном платье, в шляпе и накинутом плаще, а перед ней стоит, опустившись на колено, молодой красавец. Что это? Кто они? Понятно девушкам, что парень стал на колени в знак любви и уважения. Хотелось бы самим стать грамотными, узнать, что написано.

– Спросить бы у дяди Вани, он скажет, – сказала Дуня, – он грамотный.

– Счастливый дядя Ваня! Он все знает, везде бывает, – молвила Таня.

Долго рассматривали девушки картинки.

– Давай сходим за Нюркой, – предложила Таня, – покажем ей.

– Ее не пустят.

– Да ну, пойдем! Утащим...

Девушки накинули шали.

Пурга на дворе не была такой страшной, как казалась из избы. Едва девушки отбежали от ворот, как со стороны реки из-за сугробов появились черные собаки, три нарты и люди.

Из неприкрытого ставнем окошка избы мерцал огонек, и лучи его падали на несущийся снежный вихрь. Нарты поравнялись с воротами и остановились. Трое в лохматых шубах вышли на свет, направляясь к калитке.

– Кто же это? – с тревогой в голосе спросила Дуняша.
– Тебе чего надо? – стремительно подбежала Таня и встала в калитке, заступая приезжим дорогу.

– Родион дома?

– А тебе зачем?

– Куда он ушел? Моя дело есть, без погоды. Наше шибко холодно.

«Китайцы!» – подумала Дуня.

– Ничего не холодно. Тепло на улице, – сказал Таня. – Видишь, мы раздевшись бегаем.

– Че твоя совсем дурак? – сказал китаец. – Помирай хочешь?

– К гольдам езжай, у них ночуй. Их деревня рядом, вон огни горят.

– Моя знакомый!

– Ты, что ли, Ванька Галдафу? – приглядевшись, спросила Таня.

– Ну, чего, узнала? – заблестел тот глазами. – Здравствуй! Моя Ванька Галдафу... Здравствуй! – стал здороваться он с девушками. – Ты какая красивая. – Он хотел ущипнуть Дуню за щеку.

– Ты смотри, я как брякну по морде, – отпрянула девушка.

– Играй, что ли, нельзя? Наша знакомый!

– Ну, заходи и заводь собак, – сказала Таня.

Толстяк обратился к одному из спутников и что-то сказал, как показалось Тане, по-русски. Приезжие, не открывая ворот, провели собак и нарты через калитку.

– Один-то будто русский, – потихоньку шепнула Дуня.

Девушки, оставив дом и спящих ребятишек на китайцев, сбегали за Петровной. Та позвала Спиридона, чтобы говорил с гостями.

– А это чей же парень с вами? – спрашивал Шишкин у Гао.

На лавке сидел белобрысый рослый молодец с тощим скуластым лицом, красным от смущения и мороза.

– Знакомый! Его отец – мой друг. Фамилия Городилов. В деревне Вятской живет.

– Куда же вы? – обратился Спиридон к парню.

– В город, – быстро, как приказчик в магазине, ответил парень и вдруг смутился и заморгал белесыми ресницами.

– А имя Андрюшка, – продолжал китаец.

– Пожалуйста, заходите ко мне, – сказал Спирька. – Рады будем... А как у вас нынче покосы, тоже топило?

Петровна подала ужинать. Городилов отвечал кратко и неохотно. Он осторожно брал хлеб, ломал его маленькими кусочками и жевал неестественно медленно. Спирьке это не понравилось. Шишкин пытался расспросить, зачем он едет в город и как нынче живут мужики в Вятском.

Девчонки зорко наблюдали за приезжим парнем.

Спирька понял, что от вятского не добьешься толку, и заговорил с китайцем:

– Что, Ваня, на Горюн не поедешь?

– Нет, там чужой река! Там другой хозяин – Синдан.

– Видишь ты! Значит, у вас разделяются по купцам эти гольды, как крепостные за помещиком.

Гао и Андрей переночевали в зимнике.

Когда Спиридон пришел утром к соседям, Андрея там не было. Он, как оказалось, ушел к Овчинниковым. У него было к богачам какое-то дело. Похоже было, что Андрюшка привез им спирт.

В тот же день в Тамбовку приехал другой торговец, по прозвищу Ченза. Гольды так называли его. Он был с речки Хунгари, впадающей в Амур выше Уральского. Ченза возвращался

с низовьев Амура. Там обычно торговал его брат, но недавно он захворал и поручил Чензе собрать долги.

Толстяк Ванька и Ченза, щуплый, исчерна-смуглый китаец с сухим, узким лицом и с проседью в черных усах, открыли скупку мехов в Спирькиной избе. Мужики приносили свою добычу.

Спирька по просьбе Петровны показал им шкуру убитого Родионом тигра. Китайцы сразу же назначили хорошую цену, но Петровна отдать не согласилась.

После обеда торговцы собрались ехать. Андрей запрягал во дворе своих собак, надевал на них хомуты.

– Бедненький! Он в работники к китайцу нанялся! – шутливо молвила Дуня.

– Ну чего выставились? – грубо спросил парень. – Не видели, как собак запрягают?

Дуня с укоризной улыбнулась. Парень не понимал шуток.

– Боится, сглазим, – со сдерживаемой насмешкой уронила Таня.

– А вот нарочно буду смотреть! – подбоченилась Дуня и вытаращила глаза на парня.

В калитку вошел рослый, худой и краснощекий Терешка Овчинников.

– Девки, не смейтесь над ним, – сказал он. – Андрей с рублем. Захочет – так всю Тамбовку нашу сдвинет с места.

– Надсадится, – отозвалась Таня.

Приезжий парень разогнулся и, жалко моргая, словно собираясь плакать, уставился на Терешку. Белые, как лен, брови выступили на густо покрасневшем лице его.

– Ой, девки, зачем вы его обижаете? – умоляюще шептала, трогая Дуню за рукав, толстая черноглазая Нюрка. – Ой, уж как не стыдно вам!.. Просто какие-то бесстыжие...

– Тятя, а кто он такой? – спросила Дуня отца, когда торговцы уехали.

– Парень не дурак! Китаец говорит, что он повез в город спирт продавать. Тихоня, все краснеет. Я его просил продать спирту, так он мне дал бутылку, а больше не дал. Говорит, мало осталось. Я их знаю! Ему, видишь, невыгодно мне продавать. Он из молодых, да ранний. Гляди, он все моргает, а в городе знаешь какие деньги огребет... Он бы и вовсе не сказал, что спирт везет, кабы Ванька не сознался, кто с ним путешествует. И Овчинниковы его ждали. Будут гольдов спаивать. Вот так и живем на новом месте. Одни хлеб сеют, а другие контрабандой занялись. Их послушаешь, так все тут только и делают, что пьют. В реке, по их словам, не воде бы течь, а спирту.

Вечером Спиридон беседовал с соседом-приятелем – тамбовским богачом, мужиком огромного роста, Санькой Овчинниковым и со своим родичем Сильвестром Шишкиным.

– Давай с тобой возьмемся и превысим Родиона, – говорил Спиридон. – Я полагаю, что надо захватить эту тигру живьем и представить в Николаевск начальству, чтобы по всему Амуру объявили, какие мы охотники. Отправят ее в Петербург на корабле, а? Как ты, Сильвестр, мыслишь? Однако, и там такой животной нету.

– Как ее возьмешь? – угрюмо возражал Овчинников. – Она нас сожрет...

– Пушай попробует, – отозвался Спиридон. – Но, если уж поймал ее живьем, Родион не будет над нами насмехаться. Живьем еще никто тигру не ловил!

– Давай мы у Родионовой тигры усы выдерем? – сказал Сильвестр. – Слышал, что китайцы сказали? Самая цена в усах да в костях! Они лекарство из костей делают для стариков.

– Нет, я на это не согласен. Не годится, – отвечал Спирька.

– Я выдеру сам, а ты молчи! Вот придет Родион, и больше хвастаться ему нечем будет... Тигра останется без усов!

Но ни Сильвестр, ни Спирька не привели замысла в исполнение – усы у тигра ночью выдрал Терешка Овчинников по наущению отца.

Глава тридцатая

Ночью Таня слыхала, как приехал отец, что-то таскали в зимник.

«Грузы, что ль, тятя возить подрядился?» – подумала девушка.

Отец и Иван распрягли собак, покрикивая на них.

– Ты, Иван, ввел меня в грех, – сказал Родион, входя в зимник.

– За товарища надо согрешить... – усмехнулся Бердышов. – Забудем! Исправнику не вздумай сказать!

– Ка-ак! – изумился Шишкин.

Мужик совсем пал духом.

– А будешь жаловаться – самого тебя затаскают, – продолжал Бердышов.

– Не про жалобу речь, – ответил Родион. – В какое дело я попал!.. – Он сел, опустив плечи.

Иван уговаривал Родиона взять часть пушнины из запасов Дыгена:

– Бери! Все равно мне не увезти. Что ж, бросать, что ли? Подумаешь, паря, в какое дело ты попал! Как не стыдно говорить так! Я ведь не жалуюсь, а тебе не совестно изменять товарищу, сожалеть, что помог?

– Да уж что тут! – махнул рукой Шишкин. «У меня дети, что я могу сделать с Ванькой? – размышлял он. – А с полицией не дай бог связываться. Лишь бы не узнали сами. Теперь век буду в кабале у Ваньки».

У Родиона было такое чувство, словно его запутали в силки.

– Но ты не совестись. Мы с тобой, по справедливости ежели рассудить, Горюн от разбойников избавили, славное, паря, дело сделали, для своих же друзей старались. Осознай-ка!

Родион понимал, что Дыген разбойничал бы без конца, а полиция бездельничала бы. И при том беззаконии, которое было на Амуре, поймай Дыгена и привези его в город – горя не оберешься. Самих же затаскали бы по полициям. Вот и выходит: не убей – он бы ездил грабить, а убил – грех! Куда ни кинь – кругом клин.

– Все же я свою часть пропью! – сказал Родион. – Мне такого богатства не надо!

* * *

– Без ног вернулись, еле живы, спят, завтра уж спросим, – говорила Петровна всем мужикам, заходившим проведать, с чем вернулся Родион.

Она видела, что муж ее и Бердышов привезли в мешках много добра и мехов. Она опалась, что дело тут нечисто, и это беспокоило ее. Петровна проплакала все утро.

Днем, желая узнать, что делают мужики в зимнике, она понесла к ним самовар. От того, что она увидела там, голова пошла кругом. Груды черных соболей были разложены по лавкам. Тут же лежали ружья, куртки с золочеными пуговицами. На столе, на каком-то чужом платке, грудкой было насыпано золото.

– Что же, это вы купили или как? – окончательно расстроившись, спросила она.

– Ты помалкивай, – тихо ответил Родион и кинул на жену такой яростный взгляд, что Петровна сразу ушла.

Добыча была поделена и уложена в мешки. Мужикам досталось по сотне соболей, более чем по полфунта золота, кроме того, шкуры рыси, выдры, лисы, оружие и шубы убитых маньчжуров. Собак Иван отдал приятелю.

– Теперь у тебя упряжка – красота! Полетишь, как ветер. Смотри только не попадись – голды узнают китайских собак. Ты им уши посрезай, выстриги, как баранов.

– Пусть узнают... Все равно не утаишь.

К полудню в зимник зашел Митька. Мать не решалась сама позвать отца к обеду и послала за ним сына.

– Ты где пропадал? – спросил Родион.

– На той стороне – у гольдов в деревне был на празднике, там в медведя играли, – ответил парень.

– Я ему никогда не запрещаю с гольдами гулять, пусть дружит, – пояснил Родион Бердышову. – Что, водки много было?

Митька сел на лавку и, рассказывая про праздник, как бы невзначай водил по мешкам ладонью.

– Что это вы привезли?

– Пойдем обедать. – Родион строго взглянул на сына и поднялся.

– А ты, паря, запасливый, – говорил Иван, заходя в горницу и увидев расставленные на столе бутылки. – А тут еще книги мои... – заметил он.

– Книги ваши очень девицам понравились, – приговаривала, суетясь, Петровна.

– Вот все тут. Ничего не жалею. Что имею, все для тебя выставил, все остатки. Мяс много, как жить без водки? Жирное без водки не идет.

– Теперь я знаю, почему Овчинниковы тебя богаче, хотя ты и лучше их охотник...

– Куда мне! – перебил Шишкин. – Я так не могу. Они торгуют, а я чего заведу – прожру, пропью. Они гольдов обирают, а я пожалею, позову к себе, напою их. Хоть я и бедный, но зато я староста, потому что охотник лучше их. У нас закон – лучшего охотника выбираем.

– Пожалуй, так и золото прожрешь.

– Черт его знает! Я и сам еще не знаю, куда его девать. Спрятать ли, с рук ли его.

– Ну, думай ладом! – усмехнулся Иван.

Затеяв все дело, Бердышов нашел в Родионе помощника рьяного, страстного в борьбе против нойонов. «Уж сорок лет мужику, а он все зубы скалит, борода то и дело разъезжается. У самого ребята выросли, а он все еще удалец!»

– Ты, Родион, как малое дитя, а жаден все же.

– Я сам замечаю, что как-то мне все баловать охота.

– О господи, господи! – вздохнула Петровна. – Ты и в Тамбовской губернии такой же баловень был.

– Нет, там я про баловство не думал. Там кусок хлеба тяжело давался. Я детства не видал – на помещика работал! А на Амур пришел и как-то нравом переменялся.

– Под старость лет стал забавы наवरстывать, которых сизмальства не достиг. Тебе все забавы!

– Я слыхал про тамбовцев... – сказал Иван, усмехнувшись. – Это не они ли с дубинками за громом бегали, думали, нойон поехал, ограбить его хотели?

– Нет, это орловцы-дубинники: гром гремит, а они думают – барин едет. «Ванька, – говорят, – айда догоним его с дубинами». А китайцев у нас нет.

– Паря, что такое? – удивился Бердышов. – Неужто у вас никаких нет народов, кроме русских? Занятно бы поглядеть!

– Вот я смотрю на тебя – чудная у тебя морда... Мельком на тебя взглянешь – азиат... Бурят или будто тунгус. А приглядишься – нет. Русский человек... глаза, ноздри... А заговоришь, глаза блеснут – опять будто дикарь...

– Одичал! – притворно сокрушался Бердышов.

– Вот ты мне что скажи, – спрашивал после обеда Родион, – есть черти или нет? А? Я полагаю, что нет. Чертей бабы придумали, чтобы было на кого сваливать. Но все же я признаю, что иной раз не все бывает чисто. Вот вчера мы ехали, и горы были по левой стороне, потом смотрю – горы справа пошли. Где верх, где низ – понять нельзя, будто другой рекой едем. А потом все обратно установилось.

- Да, такое дело не без чертей, – смеялся Иван.
- Чертей я не признаю! Ты тоже для баловства про них говоришь. Ты любишь людям головы морочить. Я знаю, сам ни в чох, ни в сон не веришь.
- Я думал, ты чертей испугаешься – на Дыгена не пойдешь.
- Э-эх! – Родион ударил кулаком по столу. – Пусть знают, как сюда ездить! Манзы просят про такое дело – на тебя молиться станут. Китайцы его сами ненавидят. Только надо ожидать, когда узнают.
- Скажи по душе: все же страшновато?
- Да как сказать... Маленько есть. Да ежели тигров сожалеть, то тогда они нас поедят самих. Ваня, а ты домой не езд.
- Верно, паря, тебя нянчить останусь.
- Ванька, оставайся, скоро пасха, мы всю деревню песни петь заставим, бабам платков пообещаем, девчонкам пряников: гулянку сделаем... Я знаю тебя, ты все врешь! – вдруг воскликнул Шишкин. – Хитрый, тварь! Когда ты на реке нойона встретил, почему не сгреб? Молчи, не дам тебе соврать. Ты его нарочно отпустил.
- Нет, правда, я не знал. Какая мне выгода его отпускать?
- Ты давно в тайге шляешься, понимаешь, когда кого бить. Ты его отпустил, чтобы он жиру нагулял.
- Как же, паря, это надо знать, когда зверя бить, – засмеялся польщенный Иван. – Зачем бы мне тогда драться с ним?
- Для устрашения! Я верю, ты желаешь, чтобы нойоны сюда не шлелись. Конечно, может быть, ты потому на реке дрался, что хотел мужиков в свою компанию завлечь, сообразил повернуть их на драку. Сам пример подал, чтобы согрелись вместе.
- Чудак ты... А что, у вас в ключе выдры есть?
- Не заговаривай зубы... Я и так могу замолчать. Пойдем прогуляться. Наплевать на всех! Мужики вышли на двор.
- А тигру-то кто испортил? – спросил Иван. – Смотри, из морды усы повывергивали. Плохо дело... Ей без усов не та цена. А за усы китайцы все дадут.
- Родион кинулся к шкуре.
- Ах, твари! Это они! Баба говорит, Ванька Галдафу ее смотрел... – И Родион побежал в избу. – Кто китайцам шкуру показывал? – заорал он на Петровну.
- Спирька тут возился с ними.
- Сейчас пойду, сгребу его за шиворот, сюда приволоку. А ты чего смотрела? Как у тебя избу не утащили? Ну, погоди, будет от меня Спирьке.
- Иван вдруг засмеялся беззвучно и замотал головой.
- Ты чего? Овода напали?
- Паря, смеху! Ты бы знал, чего только про тебя не говорят!
- Мало ли! – смутился Родион. – Уши большие – слушай.
- Ты, рассказывают, в тайге у гольдовских божков водку выпиваешь. Пьяный отшель выходишь...
- Оба мужика покатались со смеху.
- Ну, все это пустяки, – весело сказал Родион. – У нас рядом Халбы – гольдяцкая деревушка. Там у них в лесу ящики стоят. В ящиках такие черти усатые размалеваны – куда тебе... А у меня там друг шаман. Если ящики пусты, он пошаманит, настрашает гольдей, чтобы несли в тайгу водку. Мы, бывало на другой день пойдем с ним опохмеляться – из этих ящиков всю водку и выпьем. А гольды обрадуются, думают, что ее черти выпивают.
- Как же тебе шаман признался?

– Я сначала не верил гольдам, они говорили, что Позя пьет. А я думаю – не может быть. Выследил шамана, когда он прикладывался, захватил его у самого ящика. Ему деваться некуда было.

– В Халбах второй день в бубен жарят, орут, дверь заперли у Хангена и никого не пускают, – стал рассказывать Митька. – Только не Ханген, а заезжий шаман шаманит.

– Родион, пойдем поглядим, как шаман шаманит, – сказал Иван.

Вечерело. Мужики вышли из дому.

Родион лег на брюхо и полез под крыльцо.

– Ты чего, молишься, что ль?

– Я камень хочу достать. Подшутим над ними, кинем камень в окошко.

Иван повеселел.

– Ты погоди, надо бы обутку старую достать.

– Митька, сходи поищи на задах какую-нибудь старую обутку, – сказал Шишкин сыну.

– Чучело бы сделать или бы какой сучок, чтобы на бурхана походил, – предложил Иван.

Митька принес старый унт. Иван положил в него камень, набил сеном.

– Угадай в шамана! – говорил Родион. – В заезжего-то! Знать будет, как у нас шаманить.

Мужики пошли в гольдскую деревню.

– Га-га-га! – орали в одной из фанз.

Родион подошел к окошку и стал всматриваться внутрь.

– А не убьют они нас, если поймают? – спросил он.

– Темно? – спросил Иван.

– Не шибко темно. Печку закрыли.

– Что-нибудь видишь?

– Только что тень ходит, прыгает, а больше ничего.

Крики стихли. Судя по разговору, шамана угощали водкой. Снова забил бубен. Заорал шаман.

– Да, это не Ханген, – сказал Шишкин.

Бердышов продавил решетник окошка и с силой запустил обутку внутрь фанзы. На миг наступила тишина. Иван скинул свою козью куртку, накрылся ею с головой и полез в окошко. Родион держал дверь. В фанзе поднялся ужасный вой.

Бердышов поймал заезжего шамана, содрал с него шапку, ударил по голове, забрал со стола жбан с водкой и выскочил в окошко.

– Ну, теперь беги! – крикнул он Родиону и со всех ног побежал к берегу.

Шишкин спешил за ним. Мужики спустились под обрыв. Сзади выстрелили несколько раз. Иван вскрикнул.

– Ты что? – спросил Родион.

– Только чуть живой, – пробормотал Иван.

– Врешь...

– Ей-богу!.. Пуля... попала... Вот дошутились...

Приятель вернувшись домой.

– Что случилось? – заходя в зимник, спросила Петровна.

– Старого белья дай, – ответил ей Родион. – Гольды его подстрелили. Всадили пулю.

– Это на счастье! – молвил Иван. – Ты свидетель... Вот теперь я чуть что славно отбрешусь... Мол, Дыген первый начал драку, и меня подстрелили, стреляли в спину... Молчи. Мы с тобой еще наживемся на этой пуле. Спасибо гольдам! А маленько бы повыше – до свидания бы! Как раз следом бы за Дыгеном!

– Значит, еще рано, еще долго пропьянствуешь.

– Нет, я много пьянствовать не собираюсь...

– И что ж ты, без конца будешь жить?

- Не знаю, кто следующий меня стрелит!
- Кто-нибудь найдется...
- Мужики пошли в избу.

Глава тридцать первая

- Митька, – разбудил Родион сына, – айда за Спирькой... Сейчас спрошу его про тигру. И Сильвестра мне предоставь...
- Явился Спиридон и Сильвестр. Шишкин налил им по стакану водки.
- Я не пью, – ответил с достоинством Спиридон.
- Пей, я тебе велю! – Иван содрал со Спиридона куртку и усадил его за стол. – Тебе завидно, что мы тигру убили? Не завидуй! Садись пей...
- Не хочу я твоего угощения.
- Садись, сосед, – сказал Родион. – Хлеpci.
- У меня пост...
- Гляди, какие у него разговоры! Ты что – писарь? Откуда в тебе такая грамотность, чтобы рассуждать про других? Ты про себя думай. Ну, забудь все. Давай по-братски чокнемся.
- Ну-ка, Петровна, вставай, – разошелся Шишкин. – Танька, созывай девчонок!
- Пост, окаянный ты! – всплеснула руками Петровна.
- Чего же, что пост. А мы будем как господа.
- В праздник гулять всякий дурак сумеет, а вот ты попробуй в пост.
- Дождать праздников мочи нет. Пускай твари знают... На самом-то деле! Что за издевки? Почему нам часовню, церкву ли не построят? Пусть знают, что мы через это вовсе сопьемся. В пост будем гулеванить. Верно?
- Кто неграмотный, так и не знает, пост ли, – заговорил Сильвестр.
- Верно, вот я, к примеру, – подхватил Спирька, – я и вовсе не знаю, что сегодня вторник, а что в воскресенье пасха. Откуда мне знать? Чего с меня возьмешь, темный – и все тут. Хоть от кого отоврусь.
- Гольдам на Мылке церковь хотят построить, а русским нет, – говорил Родион. – Это что такое? А мы как? Инородцам церкви, а мы в темноте...
- Это же как водится. У гольдов меха, с них попы наживаются, – сказал Спирька.
- Давай нарочно в пост напьемся и гулянку устроим, – сказал Сильвестр, – а попу скажем, что ошиблись, не знали, когда пасха.
- Кхл... кхл... просчитались!
- Верно. Им, может, совестно будет!
- За этим должен поп смотреть, а его нету. Пусть нас господь накажет, зато видно будет, как мы страдаем.
- А то маленько еще поживем и одичаем.
- На Ваньке Бердышове и так уж шерсть растет.
- Уж дивно вылезло.
- Тигра и тигра: пасть позволяет!
- Вот только что пасть поменьше.
- Митька, лови курицу, кабарина надоела. Иди девчонок позови, они хорошо поют, – обратился отец к Тане. – Митька! Наша гармонь у Овчинниковых. Живо! – шумел Родион. – Скажи: ко мне исправник едет.
- Иди Дуньку позови, она хорошо поет, – сказал Спиридон, обращаясь к Тане. – У нас настоящих девок нет, еще не возросли, – повернулся он к Ивану. – Есть новоселки, так те далеко, на том конце деревни.
- Сами еще молодые! – подхватил Шишкин.

Пришла Дуня. Собрались заспанные девчонки и уселись в ряд на лавке. Явился Мишка. Грянула гармонь. Девчонки затаили песню.

– Петровна, у тебя ладный голос, подтягивай.

– Вот поп узнает, проклянет.

– Пушай проклянет. Ванька уж и так давно проклят. Поп – ученый человек, он все поймет...

– Гуляй, Мишка, ее не слушай, баб черти придумали. Дергай шибче, давай забайкальскую! Митька, дуй за Овчинниковыми, пушай принесут спирту, у них в амбаре есть. Э-эх... эх ты... Ну-ка, Дунька!

– Дунька, спляши хорошенько, – пьяно сказал Спиридон, – девчонки еще молоденькие, а славно пляшут.

Девчонки взялись за руки и затопали. Дуня стояла в нерешительности, видимо раздумывая, плясать или нет ей в такой день, да еще при тетке.

– А я про вас все знаю, – вдруг сказал Спирька.

– Врешь, ничего ты не знаешь. Гляди на него, какой выискался!

В избу ввалились великаны братья Овчинниковы.

– А ты, Дунька, чего не пляшешь? – спросил Спирька.

– Куда я в таких валенках?

– Скинь их!

Дунька сбросила валенки и, босая, сутулясь от стеснения, вышла на середину избы.

– Ну что? Гулеваем? Давай, давай, – бубнил Санька Овчинников.

Белобрысая, в белом коротком платье, с белыми ногами, Дунька заплясала посреди избы. Скуластое лицо ее зарделось.

– Ловко, Дунька!

Она от похвал приободрилась, подняла голову и, разводя руками, заплясала смелей.

– Вон Ваньку выбери.

– Гляди, Дунька-то! Молоденькая, молоденькая, а какой змеей вильнула.

– Эх ма-а, забайкальские казаки! – закричал Иван, пускаясь в пляс.

По тому, как ловко и с каким притопом Бердышов прошелся по кругу, видно было, что мужик он еще молодой и бравый. Он надулся, вытаращил глаза, лицо его побагровело.

– Гляди, Ванька чего вытворяет.

– Экий бурхан пляшет!

– Брюхан, истинно брюхан...

Гармонь затихла.

– Вот поп придет, окаянные... Когда гулянку затеяли, – ворчала мать.

Бердышов и Дунька, взявшись за руки, уже после того, как умолкла музыка, сплясали несколько коленцев, как бы не желая уступить друг другу конец танца.

– Ты тигру показывал? – спрашивали за столом Спирьку. – Скажи по совести: кто ей усы выдернул?

Иван вдруг схватился за голову и грузно пошатнулся. Дунька засмеялась и взвизгнула.

– Ты чего это?

– Вы, дяденька, маленечко меня не придавили, – закрывая ладонями грудь, промолвила Дуняша.

– Ты что закрываешься? – грустно усмехнулся Иван. Он взял ее за руки и развел их, наклоняясь к ее шее.

Дуняша вспыхнула.

Иван, покачиваясь, отошел к столу.

– Хоть бы и я тигру показывал, а что? – говорил Спирька.

– Что! Усы повыдергивали! Куда тигра без усов? Ты думаешь, она нам легко досталась?

– Бороду бы тебе выдергать, – пробасил Овчинников, желавший отвести от себя подозрения.

– Скорей всего, что китайцы выдернули, – говорил Сильвестр. – Мы только в шутку об этом говорили, но ничего не делали.

– Родион, встретишь Ваньку Галдафу, повыдергай у него косу: это, наверно, он, – сказал Иван.

– Ну что, весело у нас?

– Как не весело! – засмеялся Иван. – Придется на пасху оставаться.

– Вот приятель! – хлопнул его Родион по спине. – Только без обмана: гулять так гулять.

Иван долго еще гостил в Тамбовке. Тамбовцы радушно принимали его. Кто-то распустил слух, что Иван и Родион нашли в тайге клад. Все наперебой звали их к себе.

В первый день пасхи на широкой, недавно протаявшей лужайке, на берегу, между Горюном и избами, мужики, парни и девушки играли в «беговущку».

Иван, причесанный, в одной рубаше, без картуза, поплевывал на обе ладони, перекладывал с руки на руку длинную жердь и подмигивал белобрысому Терешке Овчинникову, державшему в руках тугой и тяжелый, как камень, маленький кожаный мяч.

Бердышов был трезв, но прикидывался подвыпившим и потешал всех.

Терешка подкинул мяч. Жердь со страшным свистом пронеслась у самого его носа, не задев мяча. Иван, видно, и не собирался бить по мячу, а хотел напугать Терешку. Тот обмер и побледнел. Иван пустился бежать. По нему били мячом, он увернулся, кто-то из бегущих навстречу с силой пустил в него перехваченный мяч. Иван прыгнул, как кошка, схватил черный ком в воздухе и с размаху на бегу врезал им по брюху бежавшего навстречу Родиона так, что слышно было, словно ударил по пустой бочке.

Все захохотали.

Родион пустился за Иваном с кулаками. Все бегали, мяч летал в воздухе.

В другой раз Иван так ударил, что мяч ушел чуть ли не за Тамбовку; пока за ним бегали, Иван успел вернуться на место.

Терешка, когда ему приходилось подавать мяч, теперь отступал подальше, даже если бил и не Иван.

К обеду, раскрасневшиеся, веселой шумной толпой гости вошли в дом Родиона.

– Что в этой книге, дядя Ваня? – спросила Дуня у Бердышова.

– Стихи!

– Видишь ты! О чем же?

– Мне сказали: «Читай». Я купил книги, – говорил Иван. – Буду потеть, вместо тайги... Городские любят, когда складно сложено. Кто влюбится, читает своей... Вот смотри, вырастешь, ищи себе грамотного...

Вечером в избе Родиона собрались все соседи. Женщины – празднично разодетые, в белых кофтах с расшитыми рукавами. Приодетые девчонки в сарафанах.

– Бабы наши осипли на рыбалках, голосу ни у одной не стало, – говорил Родион.

– А девки хорошо поют, – сказал Сильвестр. – Еще рыбу не ловят!

– У нас невесты еще не выросли, – пояснял Родион. – Есть из новоселок, а наши еще маленькие, но поют хорошо.

– А подрастут, можно сватать, – подхватил Спирька. – Находи нам женихов хороших.

– Только бы не бандистов. Ищи загодя!

Плясали бабы, мелькали платочки. Петровна проплыла по избе. Вышла в круг Дуня. Сегодня она в белых рукавах и сарафане, в толстых чулках и ботинках.

– Весело у вас! – смеялся Иван. – И девчонки у вас славные. Я всем женихов найду. А одну, как подрастет, сам просватаю!

– А ты не хотел на праздники оставаться, – хлопнул его Родион по спине.

На прощание Шишкин крепко поцеловал Ивана, просил приезжать еще.

Голубые озера стояли на льду Амура, и похоже было, что уже нет пути. Иван ехал на риск.

– Иван Карпыч, погоди, – окликнул его на дороге полупьяный Спирька.

– Чего тебе?

– Я тебя уважаю. Я все знаю и никому не скажу. Я сон видел, – таинственно заговорил мужик, – будто пошел я ловить калуг, а на прорубях вместо рыбы...

На огороде ходили Спирькины жеребята. Молоденькая кобыленка подошла к перегородке и потянулась к Иванову жеребцу. Буланый задрожал и, раздувая ноздри, стал обнюхивать ее. Кобыленка жадно тянулась трепетными губами к его морде.

– Смотри, кони милуются. Жеребенок, а покрыться хочет, – перебил Иван.

– Это тебе мерещится все! Не покрыться, а жеребенок просто играет... Глупости все на уме...

Иван проворно слез, вспугнул жеребенка, с жестокостью ударил жеребца кнутовищем по морде и опять лег в розвальни.

– Ты шибко пьяный сегодня, – сказал Иван Спирьке. – Чего городишь – я не пойму. В другой раз потолкуем. Ну, будь здоров!

– И тебе не хворать, – снял шапку Шишкин.

Иван погнал коней.

Едва поравнялся он со Спирькиной избой, как из ворот выбежала Дуня. Увидевши коней, она ахнула и замерла.

– Ты чего, плясунья, ахнула?

– Маленечко вам дорогу не перебежала.

– Смотри, а то я бы тебе бичом, – проезжая, весело молвил Иван. «А ведь славная девчонка подрастает», – подумал он.

Через два дня, где верхом, а где вброд, бросив по дороге розвальни и навьючив тюки на коней, Бердышов с трудом добрался к Уральскому.

Глава тридцать вторая

Когда Федор вошел в лавку, на полу лежала такая груда мехов, что ее не обхватить было обеими руками.

– А-а, Федор! – воскликнул Гао. – Ну, как поживаешь? У меня сегодня братка домой пришел, он далеко ездил.

– Здравствуй, здравствуй! – вскочил с кана младший брат.

– Сиди как дома, – сказал старший торговец, усаживая Федора за столик. – Чай пей будучи? Почему не хочешь? Зачем напрасно? Чай пей, лапшу кушай, лепешки у нас шибко сладкие, язык проглотить можно! Пожалуйста, сиди, наша мало-мало торгуй.

Такое дружеское, простое обращение богатого китайца было приятно Федору. Его встречали как своего, показывали радость, угощали и не стеснялись вести при нем свои дела. Как и предполагал Федор, торговец, после того как его поколотил Егор, заметно переменялся.

«Эх, вот это богатство! – с восхищением смотрел Барабанов на груду мехов. – Вот как ведут дело! Куда Ванька лезет? Никогда ему за ними не угнаться. Вот это жизнь! Чистое дело – торговля!»

Он вспомнил Додьгу, переселенческие землянки, отошальных земляков, тяжелый их труд на релке... А тут шум, толпа народу, возгласы хозяев и охотников, меха на полу и на канах. Все это было ему по душе. Федор и раньше слышал, что китайцы вывозят с Амура много мехов, но только сейчас, при виде такого вороха пушнины, он понял, что это означает.

Повсюду лежали и висели вывороченные мездрой кверху желтые, как пергаментная бумага, белки с голубыми и черными пушистыми хвостами. На прилавке высилась грудка собо-

лей. Младший торговец и работник разбирали их, откладывая отдельно черных и желтых, и составляли пачки штук по двадцать в каждой.

«Ловко придется, скажу, что Ванька против них задумал... Вот схватятся, – со злорадством подумал Федор. – Они у него все расстроят...»

Гао Да-пу опять не церемонился с гольдами. Все равно теперь меха пошли. Он что-то насмешливо говорил старому охотнику Ногдима. Гольды то и дело качали головами, усмехались и переглядывались друг с другом. Заметно было, что они сочувствуют сородичу, но остроумная речь торговца овладела ими, и они понимают, что вряд ли Ногдима сумеет настоять на своем.

Ногдима лишь изредка что-то тихо и неуверенно возражал. До сих пор он представлялся Федору человеком твердым и решительным. Его плоское черное лицо с острыми глазами в тонко изогнутых косых прорезях, сильные скулы, тонкие, словно крепко сжатые губы – все это, казалось, выражало свирепость, упрямый, крутой нрав, уверенность в себе и в своей силе.

Но перед торгашом Ногдима оробел. Он ворочал мутно-желтыми, в кровавых прожилках белками, стараясь не глядеть на хозяина, как бы чувствуя вину перед ним, и возражал все слабее и слабее.

«Гольды некрепкий народ, – размышлял Федор. – Видно, Ванька Гао, чего захочет, вдобит им. Это надо знать и мне».

Наконец гольд махнул рукой с таким видом, словно соглашался на все. Он отдал меха, вышел из толпы и уселся в углу.

– Кальдука, иди сюда! – взвизгнул торгаш.

Все засмеялись.

Маленький выбрался из толпы. Голова его дрожала. Улыбаясь трусливо и заискивающе, он кланялся.

Торговец протянул руку под прилавок. Маленький решил, что хозяин ищет палку, чтобы поколотить его, и повалился на пол. Лавочник вытащил пачку табаку. Шутка удалась. Все оживились.

Подскочил младший брат и поднял Кальдуку Маленького.

– Что ты? Наша помирился... Больше ругаться не будем! – смеясь, говорил Гао Да-пу по-русски, а сам косился на Федора. – Кальдука, вот я тебе этот табак дарю! Я тебе ничего не жалею.

Федор сообразил, что это говорилось для него. «Считают меня заодно с Егором. Ну и пусть!»

Торгаш закрыл долговую книгу. Гольды разошлись.

– Ну как, ловко я Кальдуку напугал? Моя так всегда играй. Только играй... Моя никогда настояще не бей. Гольды зря говорят, что моя бей. Моя их не бей. Моя их люби!

– Наша только вот так всегда играй, – подхватил младший брат. – Мало-мало шути, играй. Без пошуты как жить? Нельзя!

– Ну, Федора, как думаешь, почему Егор не приходит? – спросил Гао Да-пу. – А? Он разве помириться не хочет? Разве можно так жить? Друг на друга надо сердиться, что ли? Убить, что ли, надо? Так будет хорошо?

Как Федор и предполагал, лавочник искал в нем своего заступника, выговаривая обиды, просил о примирении и о краже соболя уже более не поминал. «Теперь он не упрекнет меня! Отбил ему Егор охоту! Ай да Егорий!»

Приняв вид очень озабоченный, Гао спросил, как живут переселенцы.

– У нас Тереха и Пахом, братки с бородами, – говорил Барабанов, – знаешь, которые муку брали?

– Знаю, знаю.

– Ну вот, чуть не помирают. Цинга их свалила.

Торговец изумился.

– Ну конечно! И сами виноваты. Ведь вот ни у нас, ни у Егора нет цинги. Старик у Кузнецовых прихварывал, да вылечился.

Гао Да-пу о чем-то поговорил с братом.

– Ладно, – обратился он к Федору. – Мужики Пахом и Тереха болеют. Пошли больным людям муку, крупу, у меня чеснок, лук есть. Мужик будет лук кушать, и цинга пройдет. Мы совсем не плохие! Что теперь Егор скажет, а? Зачем его так дрался? Мы правильно торгуем. Людей жалеем, любим. И скажи: денег не надо. Совсем даром! – в волнении и даже со слезой в голосе воскликнул торгаш. – Моя сам русский!

Работник принес луку, чесноку и муки. Несмотря на весеннюю пору, у Гао еще были запасы в амбарах.

– Федор, вот мука. Тимошкиной больной бабе тоже дай. Баба пропадет – русскому человеку тут, на Амуре, жить трудно.

Торговцы приготовили к отправке в Уральское целую грудку припасов.

– Только смотри, Федор, это дело не казенное, надо хорошо делать.

– Как это не казенное? – насторожился Барабанов.

– Не знаешь, что ли? Казенное дело такое. Солдаты плот гоняй, там корова, конь для переселенцев. Солдат говорит: «Наша бедный люди: денег нету, давай корову деревню продадим!» Пойдут на берег – корову продают. Деньги есть – водку купят, гуляют. Потом еще одну казенную корову продадут. Еще другую корову убьют, мясо казаку продадут в станицу и сами кушают тоже. Потом плот разобьют, совсем нарочно сломают. Пишут большую бумагу, такую длинную... Так пишут: наша Амур ходила, был шибко ветер, волна кругом ходи, плот ломай, корова утонули, кони пропали, наша не виновата. Это русска казенна дело... Русский начальник в большом городе живет – думай: «Черт знает, как много плотов посылали – все пропало! Переселенцы как-то сами жить могут без корова, что-нибудь кушать тайга нашли». Начальник так думает. Его понимает: солдат машинка есть.

– Что такое машинка?

– Как что? Ну, его правда нету, обмани мало-мало.

– Это мошенник, а не машинка.

– Все равно машинка. Пароходе середка тоже машинка есть. Ветер не работает, люди не работают, его как-то сам ходи! Мало-мало обмани есть! Все равно машинка! Люди тоже такой есть. Начальник машинка тоже есть. Думай: «Разве моя дурак, тоже надо мало-мало мука, корова украли, богатым буду, а переселенцы там как-нибудь не пропадут». Вот такой казенна дело!

– Откуда ты об казне так понимаешь? – обиделся Федор не столько за начальников, сколько за себя, что лавочник смеет подозревать и его в таких же делах.

– Моя, Федор, грамотный. Все понимает, не дурак. Начальников не ругаю. Русские начальники шибко хорошие. Один-два люди плохой, а другой хороший, – поспешил Гао тут же похвалить русские власти, чтобы избавить себя от всяких неприятностей. – Русский царь – самый умный, сильный, хороший: его ума – два фунта. Моя царское дело понимаю. Его птица есть настоящая царская птица, у нее две головы есть, ума шибко много. Когда советоваться надо, царь ее спросит, птица скажет. Русский царь шибко сердитый, людей военных у него много, пушки есть большие, сколько хочешь людей могут убить. Наш пекинский царь тоже есть. Пекинский царь, как бог, силы много.

– Слышь, а вот у меня поясница тоже ломит, ноги мозжат... Как ты полагаешь, не дашь ли и мне луку-то?

– Можно!

– И муки. Ребята тоже прихварывают.

Но уловка Федору не удалась. Торговец отпустил ему муки, леденцов, луку, водки, но все записал в долговую книгу.

Как ни обидно было Федору брать в долг то, что другим давали даром, но он ни словом не обмолвился.

– Федор, помни, – говорил торговец, – тут только Гао помогает. С нами ссориться нельзя. Если мы помогать не будем – пропадешь. Так всем скажи.

– Это тебя поколотили как следует, вот ты теперь и стараешься, – ответил несколько обиженный Федор. – Все-таки ты, Ваня, русского человека не знаешь! – расставаясь, сказал торговцу Барабанов.

– Ну как не знаю! – самоуверенно ответил Гао Да-пу. – Моя теперь сам русский. Разница нету.

Засветло Федор вернулся в Уральское с твердым намерением передать больным в целости и сохранности все продукты, посланные торговцами.

Глава тридцать третья

Больной, вспухший Тереха лежал на лавке.

– А где Пахом? – спросил Барабанов.

– В стайке, – ответила бледная Аксиныя, перебиравшая какие-то грязные тряпки.

– Не хотели должать, да, видно, придется, – сказал Тереха. – Надо куда-то ехать.

Вошел Пахом. Барабанов заговорил с ним:

– Ты, сказывают, в Бельго собрался. Не езд, я тебе и муки и крупы привез, луку. Лавочник прислал. Узнал, что ты хвораешь, и прислал. Без денег, даром...

И Федор стал передавать Бормотовым подробности своего разговора с Гао.

Пахом заробел.

– Нет, не надо нам, – вдруг сказал он, выслушав рассказ Федора, – бог с ним... Уж как-нибудь пробьемся.

– Чудак! Ведь он даром, как помощь голодающим.

– Нет, не надо.

– Не бери, Пахом, – подхватил Тереха. – Не бери! Как-нибудь цингу перетерпим. И не езд... дорога плохая.

– Их обманывали, обманывали... – как бы извиняясь за мужиков, заговорила Аксиныя.

Федор рассердился:

– Да ведь ты только что в лавку собирался. Как же так? Сам не лечишься, поднять себя не можешь и другим лечить не даешься? Что ты за человек? Возьми в толк! Мне-то как быть теперь? Куда эту муку? Я для тебя старался, вез, к пасхе тебе желал угождение сделать.

– Убей – не возьму! – стоял на своем Пахом. – Прощения просим.

– Быть не может, чтобы даром! – с уверенностью молвил Тереха.

– Вот тебе крест! Не веришь – съезди в Бельго... Не хочешь даром брать – пусть цену назначит. Мне какое дело? Человек просил передать.

– Не поедem в Бельго: делать там нечего.

– Да ты не бойся.

– Вот луковку возьму. За луковку ничего не станет, – ухмыльнулся Пахом и с видимым удовольствием взял пару луковиц. – А муки не надо.

– Гао обижается, что помощи не принимаем.

– Нам такой помощи не надо. Мы без нее проживем, – твердо ответил Пахом. – Все равно теперь уж скоро весна. Не знаю, сплав вовремя придет, нет ли... Парень-то кормит нас, мясо таскает, – кивнул отец на Илюшку.

– Вот тварь, какой нравный у нас Пахом! – выходя, бормотал Федор. – Никак на его не угодишь, что ни делай, а он как раз поперек угадает.

* * *

С тех пор как отец и дядя заболели и перестали вырубать лес, Илюшка целыми днями пропадал в тайге. Казалось, он даже был доволен тем, что мужики заболели.

Ни у кого ничего не расспрашивая, он совершенствовался в охоте. В верховьях Додьги он убил кабана, сделал нарты и привез на себе мясо.

Сильный и выносливый, он ел сырое мясо, сырую рыбу, глодал какую-то кору в тайге и цинге не поддавался.

Илюшка давно поглядывал на Дельдику. Впервые увидев ее, он, словно изумившись, долго смотрел ей вслед. Встретив ее другой раз при ребятах, он поймал девочку и натер ей уши снегом. Маленькая гольдка закричала, рассердилась и полезла царапаться. Илюшке стало стыдно драться с девчонкой – он убежал.

– Она тебе морду маленько покорябала, – насмехались ребята.

Русские девчонки прибежали к Анге жаловаться:

– Тетя, вашу Дуньку мальчишки обижают.

– Тебя обижали? – спросила Анга.

Дельдика молчала. Ее острые черные глаза смотрели твердо и открыто.

Однажды Илюшка наловил рябчиков. Аксинья велела несколько штук отнести Анге. Бердышовой дома не было: она строила балаган в тайге. Илюшка отдал рябчиков Дельдике и засмотрелся на нее. Гольдка вдруг засуетилась, достала крупных кустовых орехов и угостила ими Илюшку.

На другой день Санка, не желая уступить товарищу в озорстве, поймал Дельдику на улице и опустил ей ледяшку за ворот. Подбежал Илюшка и сильно ударил Санку по уху. С тех пор все смеялись над Илюшкой и дразнили его гольдячкой.

– Илья Бормотов за Дунькой ухлестывает!

– У-у-у, косоглазая! – без зла и даже как бы с лаской в голосе говорил Илья о Дельдике.

Он опять наловил рябчиков и отнес их Бердышовой. На этот раз Анга была дома. Парень отдал дичь и присел на лавку, ожидая, не заговорят ли с ним. Однако ни Анга, ни Дельдика не выказывали ему никакого внимания. Бердышова всхлипывала, тяжело дышала и куда-то собиралась. У нее были испуганные глаза. Дельдика помогала ей одеваться.

Илюшка, видя, что тут не до него, грустил и побрел домой.

Глава тридцать четвертая

– Не жалею невода! Еще невод сделаем, – говорила, обращаясь к Улугу, его жена Гохча. – У меня такой чирей на шее! Сильно болит, стыдно в люди показываться. С шишкой, что ли, на праздник ехать, чтобы люди смеялись? К русской лекарке меня свези, пусть полечит. Все соседки к ней ездят, все знают старуху. Одни мы не знаем, совсем стыдно.

– Может быть, бельговцы не захотят мириться, – нерешительно возражал муж. – Только даром будешь лечиться. И так пройдет.

– Ой-ой, как болит! Все равно поедем... Такой большой чирей! – жаловалась Гохча. – Ай-ай, как сильно хвораю! А про невод не поминай! Хоть бы был хороший! А то совсем старый. Совсем его не жалко!.. Ай-ай, как сильно хвораю!.. Ничего ты не знаешь, по-русски говорить не умеешь... Все от русских чего-нибудь узнают. Что ты за человек? И хорошо, что невод у тебя отобрали! А то новый бы никогда не завел.

«Крепкий и очень хороший был невод», – думает Улугу.

– Гохча к русским собирается, – смеялись соседи. – Хочет, чтобы Улугу по-русски выучился.

– Не езди, бабу не вози, – пугал соседа старик Денгура, – тебе худо будет: тот мужик, который тебя летом поколотил, он сын русской шаманки, он опять обидит. Русские – плохие люди. Кто к ним ездит, еще хуже заболает.

– Чего не езди? Езди! Не бойся! – восклицал Писотька. – Старуха хорошо лечит. Мне парнишку поставила. Самый лучший баба-шаман. Когда Егорка невод отбирал, долго смотрел на тебя?

– Нет, однако, недолго. Один раз меня толкнул, потом ругался.

– Ну, не узнает! Один раз ударил? Тогда не узнает.

– Ты бы его бил, тогда бы он узнал, – усмехнулся сын Писотьки Данда, и все засмеялись.

Толстогубый, с широким мясистым носом, высокий и широкоплечий Данда с годами все более становился похожим на китайца. Ростом и силой он даже превосходил самого здорового из них – работника Шина.

Данда вел все торговые дела Писотьки. Это был парень смелый, дерзкий на язык, про-смешник, а в ссорах и в торговых делах мстительный и жестокий. Должники боялись его не меньше, чем бельговских лавочников.

Богатство Писотьки сколочено было с помощью Данды. Это он рискнул разорить ловушку Бердышова за то, что Федор украл соболя. Он горячо любил Писотьку, которому, как все предполагали, не был сыном.

– Тебя Егорка никогда не узнает, – продолжал Данда с загадочным видом, и все заранее покатывались со смеху. – Для русских все мы на одно лицо. Только у кого длинные носы, тех они друг от друга отличают. Длинноносых понимают, – при общем смехе и веселье схватил он Улугу за плоский, едва выдававшийся нос. Такие шутки над бедным стариком прощались Данде.

– А ты зачем мне поперек слово говоришь? – вдруг с обидой обратился Денгура к Писотьке. – Конечно, русские плохие люди, воришки. Все украдут... На берегу ничего нельзя оставить – все утащут, а лечить совсем не умеют: от них все болезни.

– Тяп-тяп, – передразнил старика Данда. – Знаю, тебе не нравится, что мы с русскими знакомы. Чего, охота опять, как при маньчжурах, старостой быть?

Насмешка была злая и попала в цель. Старик обиделся и умолк.

– Охота тебе чужим служить? Твое время никогда больше не вернется. Теперь надо по-другому жить. Эй, Улугу, Улугу! – вдруг тонким голосом закричал Данда. – Ты по-русски не знаешь, как будешь жену лечить!

На другой день Улугу повез жену в Уральское.

– Лечить-то они хорошо умеют, – ворчал Улугу, – а вот разве хорошо невод отбирать? Тот старик вместе со старухой живет, я его встречу, что с ним буду говорить? Смешно! Неужели русские, у кого широкие, правильные лица, тех друг от друга не отличают, а у кого лица узкие и носы длинные, только тех узнают? Смешно! Неужели такие дураки?

Кузнецовы только что отобедали, когда Улугу с женой вошли в землянку. Щуплый и жалкий, стоял гольд у порога, переминаясь с ноги на ногу. Дарья заговорила с ним. Она уже знала несколько гольдских слов. Гольдов усадили на лавку.

Улугу время от времени озирался на Егора. Убедившись, что тот не обращает на него внимания и, может быть, в самом деле, как уверял Данда, не умеет отличать гольдские лица друг от друга, Улугу успокоился.

Егор взял пилу и ушел из землянки. Следом за ним вышли мальчики.

– Тятя, а ты у этого гольда летось невод отнял, – сказал Васька, подымаясь за отцом на бугор.

Кузнецов уж и сам подумал, что где-то видел этого гольда.

– Что же, что отнял, – строго ответил он. – За дело отнял.

Спустя час Егор вернулся в землянку. Лечение окончилось, и бабка прихорашивала гольдку. Она отмывала ей грязь со щек. Муж внимательно смотрел на нее, сидя на лавке.

Егор остановился у порога, глядя на Улугу. Он вспомнил осеннее утро, косу над обрывом, ветер, волны. Улугу заметил на себе пристальный взор. Он почувствовал, что русский его узнал. Сердце Улугу замерло. Не желая выдать испуга, он, в свою очередь, пристально и как бы с подозрением стал смотреть на Егора.

Мужик в раздумье повесил голову. Мать его лечила и мыла гольдку. Сам гольд доверчиво вошел в дом, где жили люди, отнявшие у него невод. «А невод ему – что нам пашня».

Стыдно стало Егору, что в свое время, не зная тут ни людей, ни обычаев, сгоряча отобрал невод. Он хотел бы теперь его вернуть, но не решался заговорить об этом. «К случаю придется – отдам, – подумал Егор, но тут же подумал, что надо себя перебороть и честно сказать все. – Может быть, гольд тогда не разобрал, кто его обидел, не знает, что это я».

Егору пришло на ум, что нужно угостить гольда. Он послал мать к Федору одолжить водки.

– Удивил, Егор Кондратьевич! – восклицал, прибежав с бутылкой, Барабанов. – Я бы другому, убей, не дал, а тебе можно.

После первой чарки гольд развеселился. По-русски он не понимал, и говорить с ним было не о чем.

Барабанов начал знаками объяснять, что пора Мылкам мириться с Бельго.

– А то хуже будет. Ой-ой-ой, как худо! Скажи своим, что исправник придет.

Тут Федор пальцем показал себе на лоб, потом плюнул на ладонь и, сжав кулак, замахнулся.

– Исправник, понимаешь?

– Отоли! Отоли!⁴⁸ – испуганно вскричал Улугу.

Он понял, что речь идет о кокарде и мордобое. Он вскочил с лавки и тоже показал себе на лоб, потом плюнул на руку и тоже замахнулся кулаком.

– Исправник, отоли!

– Вот тут Бельго, а тут Мылки, – показывал Федор ладонью на столе. – Надо мириться, дружно жить. Араки пить надо, – щелкнул он себя по шее.

Когда Улугу, собираясь домой, вышел с женой из землянки, Егор вынес невод и поклонился гостю.

Гольд на миг остолбенел. Он ссутулился и заморгал. Краска выступила на его смуглом лице.

Потом он выхватил невод из рук Егора и бросил его в нарты. Сам прыгнул следом и, не прощаясь, не взглянув на Егора, помчался в Мылки.

Улугу с женой приехали через несколько дней снова. Они привезли Кузнецовым мяса и рыбы. Знаками гольд объяснял Егору, что дома все сказал, велел мириться и что жене лучше. Он все время кланялся и хитро улыбался.

– Гляди, привезли кабанины, – с уважением говорил про гольдов Кондрат, – будет чем кормить ребятишек.

Похоже было, что мир заключен прочный.

Бабка дала жене Улугу свежей мороженой капусты и несколько картофелин.

Улугу стал часто ездить в Уральское.

Понемногу Кузнецов и Улугу сдружились. Когда начались теплые дни, Егор как-то показал гольду соху.

– Вот это, брат ты мой калинка, называется соха! Соха! Понял?

⁴⁸ Отоли – понимаю (нанайск.).

– Соха, – повторял гольд.

Он теперь знал слова «соха», «картошка» и многие другие.

Понемногу гольд учился говорить по-русски.

Федор, встречая Улугу, каждый раз торопил его с примирением.

– А, исправник, отоли! Понимает! Смотри, брат... Скажи Денгуре, что исправник, брат, все отоли. Все понимает! Ой-ой, худо будет!.. Так и скажи.

С Федором гольд предпочитал объясняться знаками.

– Отоли, отоли! – Улугу, показывая себе пальцем на лоб, быстро плевал на руку и потом замахивался кулаком.

– Исправник-то отоли! – восклицал Федор.

Глава тридцать пятая

Как из бездонной пропасти, Иван выбрался с конями на релку. Внизу стлалась густая мгла. Лда амурского не было видно: казалось, что там провал. Тускло светила луна, и зеленоватый свет ее кругами расходился по туману. Лишь кое-где, как майские светляки, сквозь мглу просвечивали торосники.

Иван затрусил в распадок. Иззябший и уставший, поглядывал он на огонек своей избы.

«Однако, добрался, – подумал он, слезая с коня, – сам жив, лошади целы, ружье, меха, серебро привез и опять же не без золотишка». Нагрузившись тюками, Иван вошел в избу. Сморщенный, жаркий воздух охватил его. У нар собрались бабы-переселенки. Сначала он ничего не понял. И вдруг заметил, что посреди избы к потолку подвешена зыбка.

– Вот и тятка приехал! – радостно воскликнула Наталья Кузнецова.

В тот же миг слабо закричал ребенок. Бабы обступили Ивана со всех сторон.

– Гляди-ко... На-козь тебе дочь-то, – приговаривала Наталья, поднимая младенца.

«Вот бабы, чем радуют!» – подумал Иван, удрученный тем, что родилась дочь, а не сын. Но едва глянул он на крошечное личико и увидел в нем бердышовские черты, как доброта и жалость прилипли к сердцу.

– Ах ты! – покачал он головой, еще не решаясь тронуть ребенка.

– Чего боишься? Бери, твое, – заговорили бабы.

Анга застонала.

– Что с ней?

– Болеет, – сказала бабка Дарья. – На снегу, в лесу рожала-то, что с ней сделаешь! Девчонка прибежала, кричит в голос: «Тетка помирает!..»

Дельдика, вытянув шею, молча и серьезно смотрела на Ивана, желая, видимо, узнать, понравится ли ему девочка и что он станет с ней делать.

– Пошли в тайгу, в самую чащу, – продолжала старуха, – а у нее там балаган налаженный. Она родила и лежит без памяти. Видишь, по своему обычаю, значит, рожала.

Иван подсел на край нар, взял жену за руку и что-то сказал ей. Анга всхлипнула. На потном лице ее появилась плаксивая улыбка. Иван погладил ее горячую руку, перебрал пальцы в толстых серебряных кольцах.

– Не помрет, – молвила старуха.

Наутро Анге полегчало, Иван выпарился в печке, выкатался в снегу и, красный, как вареный рак, завтракал калужьей похлебкой.

Пришли мужики.

– Как дочь назовешь?

– У нас тетка Татьяна была, не шибко красивая, но ума палата. Татьяной назову. Ну а вы как пасху справляли?

– Водки не было, – отвечал Тимошка. – Хуже нет, трезвый праздник. А ты спирту привез?

– Нету спирта. В Николаевске и спирт выпили, и духи. Матросы платят рубль за флакон и пьют. Китайцы сверху везут туда ханжу. Находятся и русские мужики, что за сотни верст везут в город бутылку водки, только чтобы нажиться. У кого с лета остался спирт, те... там харчи шибко дорогие. Людей не хватает. Казна и купцы большие деньги платят. Город строят, пароходы собирают. Там каторжане, солдаты, матросы.

За чернобурок Иван отдал Егору сорок рублей.

– А Галдафу мне восемь целковых не пожалел, – угрюмо сказал Егор, забирая деньги. Все засмеялись.

– Я твои шкурки продал в Николаевске американцам. У них там магазин. Чего только нету! Товару, что стены трещат. Я всегда к ним заезжаю, другой раз ночью у них... Оружье у них шибко хорошее. – Иван показал новенький винчестер.

В те времена винчестер с магазинным затвором был редкостью, самой последней новинкой, однако мужики особенно не удивлялись устройству американского ружья, полагая, что здесь, возможно, вообще заведены такие винтовки.

– Ты уж из него стрелял кого-то, – заглянул Федор в дуло.

– Как же, испробовал, – усмехнулся Иван, и глаза его заиграли.

– Паря, с американцами сдружишься, они тебя до добра не доведут...

– Это баловство одно, а не ружье, – сказал дед Кондрат. – В нашу пору таких не было, а били метче. Люди были здоровее, глаз имели верный, глаза у них не тряслись, руки не тряслись, воровали меньше.

При виде иностранного ружья Егор невольно вспомнил Маркела Хабарова – тому ружья запретили делать, а самого поставили сплавщиком на плоты.

* * *

Солнце просвечивало далеко сквозь голоствольную чашу; как метлы на белых черенах, стояли желтые березы.

– Ручьи играют... забереги есть, – сказал Тимоха.

– Я уж поплавал по дороге.

– Вчера вон те пеньки выворотил, – с гордостью показал Егор вздыбленные, дымившиеся корневища. – Таял землю огнем, а потом уж их легко драть.

– Пойдемте к Пахому, – звал Федор.

Он рассказал Бердышову про случай с мукой, как Бормотовы отказались от помощи.

В землянке Бормотовых на столе и на лавках лежали куски рубленого кабаньего мяса.

– Парень у нас охотничает, – рассказывал Пахом. – Ружье ему отдали. Сами не можем...

– Ходить-то?

– Чего ходить-то! И прицела взять не можем, дрожь в руках. Хоть зверь в избу заходи, ничего не сделаем!

– А ты, Илюшка, и рад, что ружье тебе теперь дали? И слава богу, что отцы свалились?

– Рад-то он, верно, рад. Только, видишь, порох-то мы извели, – продолжал бородатый дядя Тереха. – Ты бы хоть немного одолжил.

– Это можно.

– А ты думаешь, пароходом доставят провиант?

– А почему у лавочника не возьмешь?

– Злодеи они. Девку от отца с матерью отнять хотели. А потом муку присылают. Такой тебе зря муки не пошлет. Девка-то тихая, ладная девка, все услужить хочет...

– Федор-то говорит: «Не трусь!» А нам, видишь, не боязно, да зачем же от злодеев хлеб-то принимать?

– А парень кабана заporол нынче, – перебил брата Пахом. – Мясо есть, даст бог, не околеет.

– Как же ты заколол зверя? – обратился Иван к Илюшке, молча сидевшему в углу.

Парень вдруг ухмыльнулся, надел шапку и ушел.

– Что это с ним?

– Сейчас покажет, – слабо сказал отец.

Илюшка принес самодельную деревянную пику.

Мужики засмеялись:

– Вот дубина ладная!

Они, казалось, не придавали никакой цены Илюшкиной охоте и смотрели на его пику как на пустую забаву, чудачество.

Иван оглядел палку и покачал головой. Он понимал, какую храбрость и силу нужно иметь, чтобы убить такой штукой кабана.

– Он ее под вид гольдяцкой геды произвел, – объяснял Пахом, – только без железа.

– Как же ты колот?

– Пырнул... Как дал ему вот под это место!

– А он как дал бы тебе клыками... Что тогда?

Илюшкино лицо вытянулось, нижняя губа вывернулась, брови полезли на лоб, парень затряс головой, словно удивляясь, что могло бы с ним случиться. Предположение, что кабан мог ударить его клыками, показалось ему смешным.

– Давно бы ружье надо Илюшке отдать, – сказал Егор, – пока порох был. А то зря спалили.

– Кто же знал, что у него такая способность?

– Мы с матерью все ругали его, что в тайгу бежит. Признали уж, когда пороха не стало.

– Кто же обучил тебя копьё сделать?

– А про него я в гольдяцкой сказке слыхал. Санка рассказывал. Они с гольдами на охоту ходили. Я за выворотень спрятался, кабан-то набежал.

– В первый-то раз в ухо угодил? – с живостью расспрашивал Иван.

– Свежинкой поделимся, – говорил Пахом.

– Вечером приходи, – сказал Бердышов. – Выпьем.

– На радостях-то...

– Попа нет, вот беда.

– Сами окрестим.

Пахом послал Бердышовым кабанины. Иван прислал ему пороха и кулек муки.

В сумерках мужики пили ханшин.

– Поздравляем, Анна Григорьевна, – кланялся Пахом.

Иван качал младенца и что-то бормотал то по-русски, то по-гольдски.

Мужики допоздна играли в карты.

Эх, бродни мои, бродни с напуском! —

подпевал Иван. – Первые два года мужиков кормит казна. Они в это время в карты играют – так тут заведено. Вам амурские законы надо знать.

– Теперь такого правила нету, – ответил Егор. – Нынче шибко не помогают – сам себя прокорми.

– Беда, копейку продул. С вами играть – без штанов останешься!

Эх, бродни мои, бродни с напуском! —

крыл Иван Тимошкину семерку.

– С тебя копейку выиграл. Слышишь, моя дочь голос подает? Что, тятюку надо? Девка у нас на бабушку Бердышиху походит. Я, на нее глядя, своих нерчинских стал вспоминать, а то было совсем забыл.

Эх, бродни любят чистоту,
А поселенцы – карты!..

Глава тридцать шестая

– Ванча, беда! – воскликнул Улугу. – Смотри...

– Ой, отец! – завизжала Дельдика и опрометью кинулась в дверь.

– Гохча, Гохча! – звал Улугу. – Поедем скорее отсюда, бельговские едут. А ты, Ваня, говорил – они мириться не едут потому, что дорога плохая. Нет, дорога-то хорошая, была бы охота мириться!

– Ты что боишься? У меня никто не тронет. Я тебя с ними помирю. Еще как славно помиримся.

Нарты огибали торосник. Видно было, что собаки мчались теперь прямо к поселю. Дельдика, взмахнувши руками, скрылась под берегом, словно провалилась в сугробы.

– Вас если силком не помирить, век будете ссориться, пока не передеретесь, не убьете кого-нибудь.

У крыльца послышался собачий визг. Иван вышел встретить гостей, и вскоре в избу один за другим стали заходить бельговцы.

Улугу сидел ни жив ни мертв.

Удога, Чумбока, Хогота, Кальдука, Ногдима, Гапчи и другие бельговцы обнимали и целовали Ангу, поздравляли ее и Ивана.

Чумбока несколько смутился, завидев Улугу, но тотчас же оправился, подбежал и хлопнул его по руке:

– Здорово! Как сюда попал?

Хогота тоже было шагнул к Улугу, но остановился в нерешительности, как бы не в силах вспомнить, где он видел этого человека. Он вдруг растерялся, лицо его выразило волнение, губы задрожали, старик затрясся и с перекошенным лицом спросил Ивана по-русски:

– Это, однако, мылкийский?

Иван замотал головой и, беззвучно смеясь, заставил Хоготу поздороваться с Улугу.

Савоська вытащил из кармана беличьи бабки, кабаний зуб и все это привесил к зыбке, где спала девочка.

– Чтобы черт не тронул.

Дельдика обносила гостей угощениями. Кальдука заискивающе просил ее налить еще чашечку чаю. Обходя круг гостей, девочка становилась у печки и подолгу с любовью смотрела на отца. Ей было жалко старика за то, что он бедней и хуже всех.

– Ты, Ваня, расскажи нам, как там, в Николаевске-то, – дымил трубкой Хогота. – Какая новость? Ты теперь наш купец: как приедешь, должен сказать, что видал.

Иван знал, что туземцы любознательны, и если уж хочешь с ними торговать, то надо им что-то рассказывать... Китайские купцы, возвращаясь с родины, коротали с ними по несколько вечеров подряд, рассказывали всякие небылицы про богдыхана, про его войско, про Китай, про весь свет, а заодно ввертывали про падение цен на меха и наговаривали что-нибудь на русских, своих соперников. Теперь Ивану надо было что-то выдумывать, чтобы и в этом не уступать китайцам...

Наутро Бердышов роздал гольдам серебро.

– Целковенькие! – позванивал рублями Чумбока.
– Это, Ваня, никогда не забудем! Давно у нас целковых не было.
– Китаец никогда серебром не платит!
– Эти деньги никому не дадим, бабам кольца делать будем.
– Шибко большое спасибо, Ваня, что серебра привез.
На дорогу Бердышов дал гольдам по бутылке водки.
– В долг пойдет под соболей.
– В долг! У-у-у! В долг! – радовались бельговцы.
Бердышов обещал ускорить их примирение с мылкинскими.
– Ой-ой, вспомнил! – вдруг воскликнул Чумбока. – Вспомнил! Вспомнил, чего Денгура-то просил.
– Э-э, нет, теперь поздно, – засмеялся Иван.
– Ваня, зачем нам не сказал, что в Николаевск меха везешь? – сердился Улугу. – Я бы тебе тоже соболей дал.
Улугу и Гохча поспешили в Мылки рассказать новости.
Гольды разъехались. Иван выбросил Савоськины талисманы, а гольдскую посуду велел убрать в амбар.
– Хватит этого гольдовства.
На другой день он выволок соху и стал прилаживать сошники.
– Землю надо и мне пахать. Не русский я, что ли? Надо поработать, чтобы не зря на свете жить, хоть бы кусок клина запахать...
В тот же день нагрянули новые гости – Писотька и Данда. Они спешили, ехали не по Амуру, а прямо через тайгу, по полуострову, через чащу березняка.
– Ваня! Ваня! Зачем нам не скажешь, что торговай? Зачем не скажешь, что серебром за соболей платишь, а? – с чувством восклицал Данда.
Писотька жаловался на Денгуру:
– Злой, не любит русских, с ним лучше не торговать.
Гольды предложили Ивану на серебро большую партию соболей, приготовленную для продажи в Сан-Син. Писотька ставил условием, чтоб заодно Иван купил его старую лисью шубу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.